

Эли Берте

ЖЕВОДАНСКИЙ ЗВЕРЬ



Эли Берте

ЖЕВОДАНСКИЙ ЗВЕРЬ



Annotation

Франция, вторая половина XVIII века. В провинции Жевадан появляется страшное существо, прозванное жителями Зверем, оно безжалостно убивает женщин и детей. Счет идет уже на сотни жертв. Зверь кажется неуловимым, уходя от многочисленных облав, его не берут пули, он исчезает так же внезапно как появляется, и только немногие выжившие способны описать его внешность.

- [Эли Берге](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [Глава двадцать четвертая](#)

- [Глава двадцать пятая](#)
 - [Глава двадцать шестая](#)
-

Эли Берте

Жеводанский зверь

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Глава первая

Лангонь, крошечный городишко в бывшем Жеводане, составляющем ныне границу департаментов Лозера и Ардеша, расположен среди возвышенных гор и лесов, которые делают доступ к нему очень трудным. Хотя этот городок был очень оспариваемым постом в ту эпоху, когда религиозные войны опустошали Севеннские горы, а особенно во время возмущения камизаров после отмены Нантского эдикта, его положение в стране, неплодородной, лишенной ресурсов и торговли, не допускало какое-нибудь развитие. Даже в наше время Лангонь показался бы жалким селением повсюду, кроме департамента, лишенного больших центров народонаселения и где главный город имеет менее важности, нежели некоторые деревни в окрестностях Парижа.

В один из дней начала осени 1764 года, небольшое число жителей, которых полевые работы оставили в Лангони, казались чрезвычайно взволнованными. Бальи, сопровождаемый барабанщиком, ходил по городу, зачитывая своим подданным прокламацию, возбуждавшую живой интерес. Закутанный в черный плащ, в огромном парике и четырехугольной шапке, он шел со всей возможной важностью со свернутой бумагой в руке. На каждой площади, на каждом перекрестке он останавливался, барабанщик начинал барабанить, потом бальи, развернув бумагу, посреди глубочайшего молчания читал гнусавым голосом официальный акт, который ему поручено было довести до сведения жителей. Чтение это происходило на двух языках: сначала по-французски, потом на местном наречии – предосторожность необходимая, потому что французский язык не был тогда очень распространен в этой провинции и бальи рисковал бы не быть понятым одним из ста своих слушателей.

В чем же состояла эта торжественная прокламация, которая взволновала жителей Лангони, как ранее уже взволновала все города и все деревни этой провинции?

Уже несколько месяцев край опустошало таинственное животное, которое население считало чудовищным волком и называло жеводанским зверем. Он пожрал уже очень много людей – мужчин,

женщин и детей. Ежедневно приходило известие о новом несчастье; поселяне не смели выходить иначе как вооруженные и целой толпой, чтобы заниматься своими заботами, но, несмотря на предосторожности, несчастья непрерывно увеличивались. Приказано было устроить охоту, и все окрестные охотники соединились, чтобы захватить или убить этого таинственного зверя; лес, в котором он чаще всего рыскал, был тщательно осмотрен. Столько же хитрый, сколько и беспощадный, зверь сумел непонятым образом укрыться от облавы, а этим же вечером, ещё несколько молодых пастухов и одиноких странников были растерзаны в этом же лесу, только что оставленным охотниками.

Такое положение дела возбуждало всеобщие жалобы. Ужас, царствовавший в провинции, был так велик, что власти, наконец, серьезно встали за это. В прокламации, прочитанной бальи, назначалось две тысячи ливров премии от Лангедокских штатов тому, кто убьет жеводанского зверя. К этой сумме синдики Менда и Вивье прибавляли пятьсот ливров. Кроме того, он приглашал всех доброжелательных людей, вооруженных или нет, явиться на другой день в замок Меркоар, находившийся в нескольких лье от города, чтобы участвовать в новой охоте, которой будет распоряжаться Ларош-Буассо, начальник над волчьей ловлей и один из жеводанских баронов.

Бальи, обойдя, как мы сказали, площади и перекрестки Лангони, что продолжалось недолго, начал читать в последний раз свою прокламацию в конце главной улицы, перед гостиницей, где непременно должны были останавливаться путешественники, потому что другой здесь не было. Окончив свое дело, бальи отпустил барабанщика, потом, не желая отвечать на вопросы людей, собравшихся вокруг него, между которыми находились почетные жители, удалился домой величественными шагами.

Однако, его уход не заставил разойтись толпу, собравшуюся перед дверью гостиницы, где с жаром продолжали обсуждать событие этого дня.

– Две тысячи пятьсот ливров! – повторял худощавый маленький человек, торговец швейными товарами. – Мендские и лангедонские синдики хорошо поступают, да еще уверяют, что король прибавит к этой сумме четыреста или пятьсот ливров из своей собственной шкатулки... Много нужно отмерить аршин холста и тесёмок, чтобы

заработать столько денег!.. Если жена позволит, я сниму со стены старое ружье моего деда и пойду завтра вместе с другими в замок Меркоар попытать счастья.

– В таком случае зверю стоит только хорошо держаться, сосед Гильяр, – сказал с насмешкой поверенный в делах лангоньского аббатства, – я охотно побьюсь об заклад, что мадам Гильяр рискнет своим мужем, если вы расположены сами рискнуть собой... Если уж вы так храбры, почему бы вам не отправиться к барону Ларош-Буассо и просто просить у него поставить вас на какой-нибудь хороший пост, где вы могли бы заработать эти деньги?

Гильяр состроил такую жалобную рожу, что присутствующие громко расхохотались.

– Сказать по правде, господин поверенный, – с беспокойством отвечал Гильяр, – ружье-то не совсем в порядке, и я сомневаюсь, успеют ли поправить его до завтра. Притом барон Ларош-Буассо не даст первого места таким ничтожным людишкам как мы; вот увидите, что барон даст огрести эти денежки кому-нибудь из наших богатых дворян.

– А почему ему самому не заработать этих денег? – возразил поверенный с насмешливой улыбкой. – Он самый искусный охотник, самый опытный стрелок во всей провинции; зачем ему уступать другим честь и прибыль этого дела? Несмотря на свою гордость, он не побрезгует двумя тысячами пятьюстами, ручаюсь вам... Сейчас всем известно, что его дела весьма запутанны...

Хорошенькая брюнетка лет тридцати шести, кокетливо одетая, с золотым крестом на шее и перстнями на каждом пальце, перебила поверенного:

– Фи! Фи! мосье Блиндэ, – сказала она скороговоркой, – можете ли вы говорить таким образом при мне о красивом и любезном дворянине, который всегда останавливается в моей гостинице, когда едет в Лангонь? Если барон Ларош-Буассо имеет долги, что же в том дурного? Такие знатные дворяне, как он, разве не принуждены иметь долги, чтобы поддерживать свое звание?.. Но, может быть, без труда можно отгадать причину этих злых толков. Несмотря на ваше желание, он не хотел взять вас в свои поверенные и вверил свои интересы старику Легри. С другой стороны, с тех пор как вы поверенный городского монастыря, вы считаете себя почти принадлежащим к

католическому духовенству, а эти Ларош-Буассо слывут тайными протестантами... Я не знаю, правда ли это, но могу утверждать, что никогда барон не ел у меня скоромного в пятницу; он обыкновенно довольствуется для завтрака яичницей с форелью и бутылкой моего сенперейского вина. Это вельможа учтивый и веселого характера; у него всегда найдется для хозяйки любезное словечко...

– И который всегда готов заплатить за свой завтрак поцелуем; не правда ли, мадам Ришар? – окончил лукавый поверенный.

Хорошенькая трактирщица покраснела до ушей.

– Злой у вас язык, мосье Блиндэ, – возразила она со смущенной улыбкой, – но, ради бога, не говорите так громко, потому что неизвестно, кто может вас услышать. Сказать по правде, барон Ларош-Буассо должен проехать сегодня через Лангонь по дороге в замок Меркоар и, наверно, остановится у меня закусить и дать отдохнуть лошадям... Ваши наговоры могут повредить ему. Вы знаете, – прибавила она, понизив голос, – что поговаривают об его женитьбе на мадмуазель де Баржак, богатой и прелестной владетельнице Меркоара.

– Поговаривают, но я этому не верю, напротив...

Тут собеседники заговорили так тихо, что их невозможно было расслушать, зато спор между другими в группе становился шумнее и оживленнее.

– Что же это, волк или нет? – спросил городской бочар с видом недоумения. – Ведь это должно быть правительству известно, а в прокламации об этом ничего не говорится. Там упоминается только о жеводанском звере... Черт побери! Это обозначение кажется мне не довольно ясно; зверей немало в здешней стороне!

– Замечание Гривэ не совсем лишено смысла, – сказал писарь сельского нотариуса, – по обычаям процедуры, правительству следовало бы яснее определить, какого рода это животное... А в этом-то и затруднение; я два раза был писарем в следствиях по этому делу, а и теперь еще буду в затруднении сказать, человек или зверь виновник этих ужасов.

– Как это? Объяснитесь, мосье Флоризель! – закричали со всех сторон.

Писарь, по-видимому, очень гордился произведенным им впечатлением и обвел своих слушателей самоуверенным взором.

– Послушайте, – продолжал он, – первый раз это случилось с Гильомом Патюро, сыном комбевилльского мызника. Гильом, которому было шестнадцать лет, возвращался один с мендской ярмарки с десятью экю в кармане, когда вечером, в десять часов, в то время как он проходил по Вилларескому лесу, на него напал какой-то зверь. На другое утро несчастного Гильома нашли на дне оврага полурастерзанным. Судья, распорядившись следствием, показал, что на теле были следы когтей и зубов; но когти были дальше, а зубы, напротив, ближе, чем в каком бы то ни было животном наших лесов. Притом, хотя одежда мальчика была почти цела, деньги, бывшие при нем, пропали... а так как никакое лютное животное не может съесть монеты в три и шесть ливров, я говорю, что это довольно необыкновенное обстоятельство!

Все присутствующее были того же мнения, но Блиндэ, прервавший свой разговор с мадам Ришар, чтобы послушать рассказ писаря Флоризеля, презрительно покачал головой.

– Хорошо! Так вот как вы думаете, простодушный и легковверный молодой человек! – возразил он. – Когда будете поопытнее в судебных делах, вы узнаете, что проницательный судья должен отыскивать самые простые и естественные объяснения, потому что они всегда справедливы. Так и теперь, разве не может быть, что прохожий осмотрел карманы до вашего прихода? А я побьюсь об заклад, что тот, кто первый нашел тело и донес об этом, принял эту благоразумную предосторожность.

Этот урок, данный старым практиком в присутствии стольких почтенных особ, смутил Флоризеля, однако он продолжал с иронией:

– Вы человек искусный, мосье Блиндэ; жаль, что суд не часто прибегает к вашей опытности; никакой злодей на двух или четырех ногах не мог бы ускользнуть от вас. Но если вы так проницательны, объясните мне также происшествия, которые были предметом другого следствия, где я участвовал. На этот раз протокол поручено было составить матоневскому бальи; дело шло о четырехлетнем ребенке, мать которого, габриакская мызница, оставила его одного в колыбели, пока ходила в поле. Мыза эта стоит одиноко на рубеже леса; когда мать воротилась после отсутствия, продолжавшегося около часа, она нашла ребенка мертвым и растерзанным в нескольких шагах от колыбели. Но самое непонятное во всем этом то, что она поклялась нам, что, выходя,

она заперла дверь дома защелкой и, когда она воротилась, дверь эта была заперта точно таким же образом. Бальи двадцать раз делал ей тот же вопрос и двадцать раз получал тот же ответ. Стало быть, если волк опустошает страну, то этот волк умеет отворять и запирасть двери... Что вы скажете на это, господин Блиндэ?

Любопытство было возбуждено в самой крайней степени; слушатели обернулись к Блиндэ, чтобы услышать его мнение насчет этого затруднительного обстоятельства. Блиндэ почесал себе за ухом свех своего огромного парика и сказал с важностью:

– Я не думаю, чтобы у волка достало инстинкта отворить дверь, запертую защелкой, хотя мы все видели, что собаки и кошки делали это. Стало быть, я не буду вам говорить, что хищный зверь, привлеченный криками ребенка, встал на дыбы и, прислонившись лапой к двери, нечаянно поднял защелку. Я думаю скорее, что мызница ошиблась, и для извинения этой неосмотрительности...

– Еще раз повторяю, она утверждала нам клятвенно, что не может упрекать себя ни в какой небрежности; но положим, что она оставила дверь отпертой, как же эта дверь очутилась запертой, когда она воротилась?

– Да достаточно было порыва ветра...

– Пусть рассудят эти господа и дамы, – сказал писарь, обращаясь к слушателям, которые действительно, казалось, не находили удовлетворительными объяснения Блиндэ, – я, несмотря на мое уважение к просвещению и опытности мосье Блиндэ, остаюсь при своем мнении, что жеводанский зверь совсем не то, что думают.

Это было сказано тоном оракула, который произвел большое впечатление на присутствующих. Наступило минутное молчание.

– По вашему мнению, что же это такое, мосье Флоризель? – спросила хорошенькая трактирщица. – Барон Ларош-Буассо уверяет, что это волк, а он, кажется, должен знать в этом толк.

– Я слышал, что это рысь... этот зверь видит через стены, – сказал бочар.

– А я думаю, что это лев, вырвавшийся из зверинца Монпелье, – прибавил торговец швейными товарами.

– А я полагаю скорее, – возразил Блиндэ с притворным хладнокровием, – что это слон. Слон, вы знаете, может делать своим

хоботом разные штуки; таким образом, объясняется, что этот зверь мог отворить и затворить дверь, как уверяет мосье Флоризель.

Общий хохот принял эти слова. Только одна мадам Ришар приняла за серьезное эту шутку.

– А если бы и слон, – сказала она наивно, – барон Ларош-Буассо такой искусный охотник, он успеет с ним справиться, ручаюсь вам!

Между тем Флоризель обиделся сарказмом Блиндэ; он отвечал, закусив себе губы:

– Каждый вправе приписывать несчастья страны рыси, льву, даже слону, как предполагает мосье Блиндэ со своей обыкновенной тонкостью; но даже если бы мне пришлось одному иметь это мнение, я утверждаю, что мнимый жеводанский зверь...

– Это – волк! – сказал грубый голос из последних рядов группы. – Я это знаю, потому что видел его не позже как вчера вечером.

Новый собеседник, высокий и сильный крестьянин, пришел только в эту минуту из соседнего села. Он держал в одной руке свой кафтан и деревянные башмаки, а в другой длинную палку, к концу которой был прикреплен старый нож в виде грубого копья. За ним шла огромная собака с красным высунувшимся языком, с ошейником с острыми зубцами, которая была надежным спутником в дороге.

Флоризель, раздраженный, что его прервали в ту самую минуту, когда он собирался выразить свое личное мнение о биче, опустошавшем страну, спросил презрительным тоном, окидывая путешественника с ног до головы:

– Вы, видели жеводанского зверя? А кто вы такой, приятель, что вмешались в наш разговор так бесцеремонно?

– Я Жан Годар, – с уверенностью отвечал крестьянин, – пастух мадмуазель де Баржак. Меня послала моя госпожа к господину бальи просить добрых лангоньских жителей непременно явиться завтра на охоту, потому что надо спешить. Вчера на закате солнца зверь бросился на Жаннету, которая гнала индеек к ферме, и зверь уже кинулся на бедную девушку, когда я прибежал на ее крик. Вот эта моя собака бросилась на волка, что довольно странно, потому что все другие собаки разбегаются, увидев его, но мой зубастый Медор не оробел, и мы вдвоем освободили Жаннету. Она обезумела от страха, но отделалась только несколькими царапинами.

Такое точное свидетельство прекратило все предположения; писарь Флоризель сконфузился.

– А вы уверены, – спросил он, – что этот зверь был волк?

– Уверен ли! – отвечал Жан Годар, – я его видел, как вижу вас; я даже вырвал у него пригоршню шерсти, пока он боролся с моим храбрым Медором... Да, это волк, но такой огромный, как наш осленок. Цвета он серого, и я никак не мог проткнуть его ножом. Он тащил Жаннету, которая, однако, весьма здоровая девушка, как я тащил бы годовалого ребенка, а Медора отбросил ударом головы шагов за двадцать. Право, не знаю, как бы мы с ним справились, если бы работники с фермы не прибежали к нам на помощь, и это заставило волка удалиться в лес... Однако извините, честная компания, – продолжал крестьянин, – я должен исполнить поручение к господину бальи и спешу воротиться в замок; я так думаю, что сегодня вечером опасно будет в Меркоарском лесу, куда убежал волк!

Жан Годар засвистал своей собаке и ушел так поспешно, что не слышал посреди шума нового голоса, который говорил с испугом:

– Зверь в Меркоарском лесу! Да защитит нас Святая Дева! А ведь нам надо проезжать этот лес по дороге к мадмуазель де Баржак!

Предшествовавший разговор происходил на местном наречии, а это последнее замечание, напротив, было сказано по-французски. Удивленные этой странностью, разговаривавшие обернулись и заметили двух путешественников на лошадках, приблизившихся к группе, не будучи примеченными, и слышавших все, что было говорено.

Один из путешественников был бенедиктинец в белом и черном костюме своего ордена. Капюшон, откинутый назад, показывал волосы, обрезанные в виде венца, и умную голову, оживленную блестящими и кроткими глазами. Ему было не более сорока лет, но начало полноты, следствие сидячей жизни, а может быть, также склонности хорошо поесть – грешок духовных лиц того времени – округлило его формы и вредило совершенной правильности его румяного лица. Его тонкая одежда и упряжь лошака показывали не простого монаха; и действительно, серебряный крест, висевший на его груди на широкой ленте, был знаком высокого духовного звания.

Товарищ его, молодой человек лет двадцати пяти, со строгостью, не лишенной изящества, имел длинные белокурые волосы без пудры и

без завивки вопреки обычаям того времени. При нем не было шпаги; но шпага тогда не отличала уже достаточным образом дворян, потому что самые смиренные чиновники считали вправду завладевать этим знаком благородного звания. Черты его были прекрасны, выразительны, а во взгляде, когда он оживлялся, не было недостатка в смелости. Гибкий и хорошо сложенный, он должен был быть очень ловок во всех телесных упражнениях. Однако незнакомец, казалось, не сознавал этих внутренних достоинств. Деликатность его лица заставляла думать, что учение и размышление более занимали его свободное время, нежели игры и удовольствия, свойственные юности. Что-то скромное и сдержанное обнаруживало в нем юношу, еще недавно вырвавшегося от дисциплины сурового воспитания. Но можно было угадать в нем по некоторым резким и как бы невольным движениям, по нахмуриванию бровей, по интонациям голоса энергию и ум, которые не могут не обнаружиться при первом удобном случае.

Этот молодой всадник подражал с покорностью – происходившей, без сомнения, от продолжительной привычки – всем движениям монаха, которому он оказывал привязанность и уважение. Он остановился, когда остановился бенедиктинец, и слушал так же, как и он, жуткое известие, привезенное в Лангонь Жаном Годаром. Но он, казалось, нисколько не разделял испуга своего спутника, и ироническая улыбка, не будучи презрительной, играла на его губах, над которыми начинали пробиваться усы.

Как только добрые лангоньские граждане взглянули на путешественников, шляпы и шапки исчезли как бы по волшебству, почтительная тишина распространилась в толпе, только что шумной и оживленной.

Хорошенькая трактирщица мадам Ришар первая обрела присутствие духа.

– О! Отец Бонавантюр, настоятель Фронтенакского аббатства! – сказала она, сделав бенедиктинцу самый любезный поклон. – И мосье Леоне, племянник его преподобия...

Тут она сделала новый поклон молодому человеку, который отвечал ей тем же, покраснев.

– Добро пожаловать в наш город, почтенный отец, удостойте нас благословить.

– Благословляю и вас, дочь моя, и всех христиан, слышащих нас, – рассеянно отвечал бенедиктинец. – Но, боже мой! Мадам Ришар, я сейчас слышал, что это ужасное животное, жеводанский зверь...

– Уж наверно, – перебила трактирщица самым ласковым тоном, – вы не проедете Лангонь, не отдохнув у меня? Ваше присутствие принесет счастье моему бедному дому. Если, как я думаю, вы едете в Меркоар, вам непременно надо будет остановиться где-нибудь по дороге, и лучше уж здесь.

– Мне хотелось бы, дочь моя, – отвечал бенедиктинец, – но вы слышали, что нам нельзя запоздать, а единственная дорога в замок идет через лес.

– Вы непременно приедете в замок до ночи; согласитесь сойти с лошади, и я подам вам полдник, который вам понравится. Вы знаете, что я иногда умею угостить вас по вкусу.

Настоятель, по-видимому, почувствовал сильное искушение.

– Да, да, вы неподражаемы, признаюсь, в приготовлении голубей с шампиньонами и яичницы с форелью, моя милая мадам Ришар, но теперь нам не время предаваться чувственности, может быть, достойной порицания... Что вы скажете, Леоне? – обратился он к племяннику, – остановиться нам у мадам Ришар?

– Я в вашем распоряжении, дядюшка, – скромно отвечал Леоне, – вот уже шесть часов путешествуем мы по горам, а вы очень легко позавтракали в аббатстве; вам непременно нужны пища и отдых. С другой стороны, и лошакам нашим не худо бы отдохнуть.

– Хорошо, – сказал настоятель, аппетит которого боролся против страха, – мы здесь остановимся на минуту... Слышите, мадам Ришар, только на минуту; не заставляйте же нас ждать; нам достаточно малейшей безделицы, чтобы подкрепить наши истощенные силы. Какая жалость, дочь моя, что мы рабы нашего презренного тела!

Хорошенькая трактирщица бросила на присутствующих взгляд, исполненный гордости и радости.

– Положитесь на меня, преподобный отец! – вскричала она. – Какое счастье для моего дома!.. Пожалуйте, пожалуйста, все готово; слава богу, меня не застанут врасплох!

Она схватила за узду лошака, на котором сидел бенедиктинец, и торжественно повела его к гостинице, между тем как Леоне следовал за ними с равнодушными видом.

– Гм! – сказал Блиндэ с насмешкой. – Жалею я тех бедных путешественников, которым придется после этого остановиться у вдовы Ришар. Вместо обеда их будут потчевать рассказами о подвигах отца Бонавантюра.

Но никто не слышал этого замечания насмешника Блиндэ.

Как только любопытные увидели, что путешественники вошли в гостиницу, они разошлись разглашать повсюду, что настоятель Фронтенакского аббатства приехал в Лангонь, что он остановился со своим племянником у мадам Ришар, что они оба едут в замок Меркоар, и в городке пустились в разные предположения, от которых мы избавим слушателя.

Глава вторая

Чтобы понять сильное впечатление, произведенное в Лангони приездом отца Бонавантюра, необходимо знать, что Фронтенакское аббатство, к которому он принадлежал, было тогда самым обширным, самым богатым, самым могущественным духовным учреждением во всей провинции. Это аббатство, находившееся по соседству с Флораком, имело огромные владения, плодоносную, хорошо обрабатываемую почву, многочисленных и преданных крестьян. Кроме того, по милости многих благочестивых вкладов и временных завещаний, оно имело значительное влияние на разные чужие земли. Фронтенакская братия слыла очень ученой, а монастырь уже столько веков был рассадником теологов и ученых историков, из которых многие наделали шума в свете. Аббат их имел звание прелата; он прибавлял к своему имени титул дожа, он участвовал между семью представителями духовенства в Жеводанских штатах, собиравшихся каждый год в Мандэ или Марвежолле под председательством мандского епископа.

В это время фронтенакский аббат, по причине своих лет и своей дряхлости, был не способен сам управлять монастырем, и вся его власть перешла к приору аббатства. Отец Бонавантюр, пользуясь неограниченным доверием своего начальника и фронтенакского капитула, управлял всеми делами общины. Человек ученый, трудолюбивый и набожный, он был гордостью своего монастыря, прежде чем сделался его главой. К этим качествам, так сказать монашеским, приор Бонавантюр присоединил деловитость, понятливость в делах – словом, мирское благоразумие, необходимое в стране, где еще не совсем угасли религиозные распри, где протестантская оппозиция, хотя тайная и сдержанная, часто создавала препятствия католическому духовенству. Посредством благоразумия он успел восторжествовать над тайной ненавистью, завистью, враждой, возбуждаемыми благодеянием Фронтенакского монастыря, и можно сказать, что его искусное и вместе с тем примирительное управление еще увеличивало это благодеяние.

Пусть же судят о гордости и удовольствии мадам Ришар, когда она принимала в своей маленькой гостинице такую могущественную особу с молодым родственником, ум и образованность которого все хвалили наперебой.

Бедная женщина совсем потеряла голову. Проводя своих гостей в маленькую гостиную, смежную с кухней, она обрядилась в белый передник и бегала от очага к очагу, браня своих служанок. Впрочем, все было, как будто заранее приготовлено для приема знаменитых гостей. Маленькая гостиная отличалась изумительной опрятностью – качество редкое тогда в гостиницах южной Франции. Стол был уже накрыт скатертью, белой как снег, на которой стояли корзины с великолепными фруктами, кружки с аппетитными сливками, пирамида красной земляники, холодная дичь. Эта приятная картина могла бы, кажется, отвлечь приора от его беспокойства насчет жеводанского зверя, однако, бросив ласковый взгляд на стол, приор Бонавантюр сказал трактирщице тоном сожаления:

– Снимите эту дичь, дочь моя; хотя мы с Леоне могли бы сослаться на привилегию путешественников, но не забудем, что сегодня постный день. Мы удовольствуемся яичницей с форелью и фруктами, у которых весьма аппетитный вид.

Мадам Ришар повиновалась и отнесла осужденные кушанья. Верная обещаниям, она спешила приготовить завтрак, и через несколько минут знаменитая яичница явилась в гостиную на оловянном блюде, блиставшем как серебро. Приор, подвязав салфетку под подбородок, поспешил дать волю своему аппетиту, а Леоне, которому движение и резкий воздух гор освежили желудок, подражал ему. Несколько рюмок превосходного вина окончательно подкрепили душу и тело путешественников, так что дядя и племянник, в особенности же первый, совсем не торопились уже отъезжать.

Трактирщица беспрестанно суетилась около них; она сама прислуживала таким важным гостям и старалась между тем ловко выпытать от них о цели их пугешествия.

– Это чудо, истинное чудо, – говорила она, – видеть в Лангони приора Фронтенакского; но, без сомнения, отец Бонавантюр со своим племянником едут в Меркоар присутствовать на большой охоте, которая должна происходить завтра?

– Похож ли я на охотника? – спросил приор веселым тоном. – А Леоне, похож ли он на тех ветреников, которые скачут по двенадцати часов сряду по горам и лесам, чтобы видеть, как бедного зверя терзают собаки? На этот раз, без сомнения, охота будет иметь более благородную и более полезную цель, потому что дело идет о том, чтобы освободить страну от свирепого животного, опустошающего ее; но нам с Леоне вовсе некстати отличиться в подобном деле; племянник мой за всю жизнь свою не дотрагивался до оружия. А я... впрочем, дочь моя, это не секрет, я еду в Меркоар помогать мадмуазель де Баржак, питомице нашего монастыря, в хлопотах, которые наделает ей завтрашнее многочисленное собрание. В замок наедут охотники, из которых, может быть, некоторые будут слишком смелы в своих речах или непочтительны в своем обращении. Мое присутствие, конечно, будет останавливать этих шумных гостей, и для этого-то я предпринял это тягостное путешествие.

Может быть, у бенедиктинца били другие причины, кроме тех, какие он заблагорассудил объяснить, но он говорил с непринужденностью и естественностью, которые не оставляли никакого сомнения. Мадам Ришар лукаво улыбнулась.

– Если справедливо то, что рассказывают, преподобный отец, – отвечала она, – ваше дело будет не трудно, потому что мадмуазель де Баржак сама умеет заставить уважать себя. Я не намерена дурно говорить о благородной девице, находящейся под опекой Фронтенакского аббатства, но говорят, будто эта молодая девица характера довольно независимого и вовсе не имеет робости бедных женщин... Право, я не осмелюсь даже повторить при вас половину того, что говорят о ней.

Бенедиктинец перестал есть и холодно взглянул на трактирщицу.

– Объяснитесь, мадам Ришар, – сказал он повелительно, – я вам приказываю... я непременно хочу знать все, что говорят о мадмуазель де Баржак.

– Ах, боже мой! – отвечала трактирщица, оробев и наливая вина своим гостям. – Это, наверно, клеветы; люди так злы! Притом на честь и репутацию вашей питомицы не нападают; она девица гордая, всем это известно, влюбленным и ухаживающим за ней не очень удастся... Но говорят о ее живом обращении, о ее резкости, о ее капризах, которые доходят иногда до сумасбродства; уверяют, будто она

одевается в мужское платье и рыскает повсюду верхом, что у нее рука проворная для наказания тех, кто ее оскорбляет, и что даже в минуты нетерпения она просто ругается... да наш торговец сеном, который, сказать по правде, гугенот, уверяет, что слышал, как она ругалась.

Быстрая краска покрыла щеки Леоне.

– Добрая женщина, – сказал он со сдержанным гневом, – избавьте нас от этих недостойных клевет и умеете лучше уважать знатную девицу...

Он вдруг остановился, приметив, что дядя наблюдает за ним украдкой, и потупил глаза.

– Повторяю вам, – смиренно возразила мадам Ришар, – что я пересказываю толки, которые ходят по всей стране, а я совсем им не верю. Мадмуазель де Баржак, тем не менее, слывет добрейшей особой, щедрой, благотворительной к несчастным и делающей самое лучшее употребление из своего богатства. О ней рассказывают черты поистине превосходные; обвиняют только ее характер, странный и запальчивый.

Приор не показал ни удивления, ни гнева, узнав не совсем благоприятное мнение публики о богатой девушке, находившейся под опекой аббатства. Спокойно опорожнив свой стакан, он сказал:

– Довольно, дочь моя; остерегайтесь повторять эти нелепые толки, потому что это значило бы грешить против христианской любви и справедливости. Всем известно, что мадмуазель де Баржак была ужасно пренебрегаема в своем детстве. Воспитанная отцом, безрассудным охотником, видевшая только мужчин в старом замке, затерянном среди гор и лесов, она выросла так, что никто не заботился образовать ее сердце и ум, никто не подумал даже внушить ей самые простые понятия об обязанностях ее пола. Только в час смерти отец ее раскаялся в том полном небрежении, в каком оставлял ее, и поручил нам надзирать за этой бедной девушкой, направить ее на путь света и на путь небесный. Эта обязанность была не легкая. Кристина де Баржак, несмотря на ее превосходное сердце, привыкла к непослушанию, что много доставляет нам хлопот. Однако, благодаря настойчивости наших усилий, благодаря преданности благочестивых и умных особ, которыми ее окружили, мы, наконец, восторжествуем над ее непокорным характером, над ее нетерпением, не подчиняющимся никаким правилам и никакому обузданию... Вот почему, дочь моя, надо быть снисходительным к ней; скоро, без сомнения, она сделается

кроткой и скромной женщиной, какие встречаются на свете, и было бы несправедливо обвинять ее в проступке ее родителей.

Мадам Ришар обещала сообразоваться с этими наставлениями. Пока она старалась извиняться в излишней смелости своих слов, несколько путешественников верхом остановились перед воротами гостиницы. В ту же минуту прибежала запыхавшаяся служанка и шепнула несколько слов хозяйке, которая побледнела.

– Святая Дева! – с испугом прошептала хорошенькая трактирщица, – что он скажет? А я и забыла о нем!

Она тотчас вышла со служанкой, без сомнения, принять новых посетителей.

Скоро звук шпор раздался в первой комнате, потом послышался звучный поцелуй и мужской голос, говоривший по-французски:

– Да, это я, моя красоточка... Черт побери! Мои слуги, проехавшие здесь сегодня утром, верно, уведомили вас о моем приезде. Все ли у вас готово?

– Извините меня, барон, я вас не ждала уже, – отвечала трактирщица в смертельном смущении, – я все приготовила для вашего приема, но...

– Хорошо, хорошо! Вы знаете, моя красавица, что для меня довольно малейшей безделицы, приготовленной вашими белыми ручками... Прикажите дать что-нибудь закусить моим охотникам, а в маленькую гостиную пусть мне подадут мою яичницу с форелью и бутылку вина. Вы посидите со мной, моя красоточка, потому что ваше свеженькое личико возбуждает аппетит и веселость.

В это время тот, кто говорил, хотел войти в гостиную, но его удержали.

– Барон, – продолжала трактирщица почти с рыданием, – я вам сказала, что я вас уже не ждала. Другие путешественники...

– А! а! У вас здесь есть другие путешественники? Очень хорошо; я могу условиться с ними, если только это дворяне и добрые малые.

Вдруг, отворив дверь, незнакомец вошел в комнату, где находились приор Бонавантюр и Леоне.

Бесцеремонный господин был красив и крепкого сложения, надменной наружности, с закрученными усами, со смелыми ухватками, лет тридцати. На нем был богатый мундир начальника над волчьей ловлей, из голубого бархата с серебряными галунами, белые

панталоны, высокие сапоги, парик и треугольная шляпа. Охотничий нож, эфес которого был из чеканного серебра, дополнял этот костюм, выдававший гордый стан и замечательные формы новоприезжего. Он держал в руке хлыст и махал им с уверенностью, как будто был готов употребить его против всех.

Барон Ларош-Буассо – так звали этого господина – считался, как мы сказали, между восемью боронами, имевшими право заседать в Лангедокских или Жеводанских штатах. Фамилия его была младшей отраслью старинного дома Варина, угасшего уже давно, но когда-то одного из самых знаменитых в провинции. Графы Варина в царствование последних Валуа приняли реформатскую религию и находились до отмены Нантского эдикта начальниками протестантства в этой части Севеннских гор. Во время восстания реформатов, прозванных камизарами, в начале восемнадцатого столетия, прадед настоящего барона Варина долго побеждал маршалов Бервика и Виллара. Однако, побежденный в этой неравной борьбе, оставленный своими, гугенотский партизан принужден был скрываться. Предание говорило, что он жил несколько лет в гроте, где умер мучеником своей веры. Туземцы показывают еще и ныне этот грот, замечательный своей обширностью и великолепными сталактитами; он называется «Грот Варина», именем своего прежнего обитателя.

Но его потомки не простирали так далеко привязанности к своим религиозным убеждениям. Испугавшись строгих мер, принятых вследствие мятежа, они для вида отказались от своей веры, чтобы сохранить имущество и аристократические привилегии. Только уверяли, что это отречение не было искренно у многих между ними и что они остались протестантами в глубине сердца. Отец настоящего барона никогда не отличался усердием к католицизму, а сам барон слыл скептиком и насмешником. Он выказывал большое пристрастие к новым идеям и хвастался безверием, по тогдашней моде. Притом он вел жизнь сумасбродную, расточительную, роскошную, к великому ущербу его отцовского наследства, уже очень расстроенного, и подражал во всем той необдуманной знати, проступки которой приготавливали великую революцию.

Приор Бонавантюр давно знал барона Ларош-Буассо, охотничье искусство которого заставило короля сделать его начальником волчьей охоты в Жеводанской провинции. Они несколько раз встречались в

собрании штатов, где приор отличался своим благоразумием и умеренностью, а барон – своим легкомыслием и задорливостью; из этого происходила неприязнь, еще увеличиваемая обстоятельствами, о которых мы узнаем скоро. Однако или приор забыл в эту минуту прошлые несогласия, или хотел только сохранить наружный вид, он встал, приметив барона, и вежливо ему поклонился. Леоне, из уважения к своему дяде, также поклонился, хотя с заметным отвращением.

Барон де Ларош-Буассо не обратил внимания на эти знаки уважения. Он стоял на пороге двери, нахмутив брови, со шляпой на голове. Без сомнения, он также узнал фронтенакского приора, но не рассудил за благо показать этого, и обернувшись к мадам Ришар, которая стояла позади него вне себя и дрожа, сказал ей грубо:

– Э! Черт побери! Красавица, я начинаю понимать ваше жеманство. Вы отдали мой завтрак этим бенедиктинцам!

Вдова рассыпалась в извинениях и сетованиях; слава богу, не в провизии у нее был недостаток! Можно еще было предложить барону стол достойный его. Только яичница с форелью, приготовленная для барона...

– Пришлась по вкусу этим добрым бенедиктинцам, – закончил Ларош-Буассо, – и вы отдали им предпочтение. Чудесно, моя прелестная хозяйка! Но если бы они были дворяне, а не обитатели монастыря, я мог бы помешать их пищеварению весьма неприятным для них образом, уверяю вас!

Эта угроза вызвала яркую краску на лице Леоне, но взгляда дяди было достаточно, чтобы заставить его тотчас опустить глаза. Приор Бонавантюр, до сих пор сидевший спокойно и с улыбкой, наконец, заговорил:

– Полноте, барон, – сказал он с несколько иронической вежливостью, – будьте снисходительны к этой женщине. Вам уже сказали, что яичница с форелью не одна составляла провизию в этом доме, и, если верить некоторым слухам, вам ничто не помешает сделать честь окорокам и холодной дичи, которых вам можно подать здесь в день поста.

Этот намек на тайное верование его фамилии, по-видимому, должен был бы довести до последней крайности раздражение барона,

однако он с усилием сдержал свой гнев и, громко расхохотавшись, сказал хозяйке:

– Бедная Ришар, как вы сконфузились!.. Ну, чтобы об этом не было более речи. Я охотник и, следовательно, неразборчив в своих вкусах... Принесите мне что хотите, моя красавица, только бы мне недолго ждать, потому что я тороплюсь.

Трактирщица, обрадовавшись этому перевороту, убежала, объявив, что барону сейчас подадут завтрак. Он же, бросив на стул шляпу и хлыст, занял ту сторону стола, которая оставалась пустой, между тем как приор Бонавантюр и Леоне принялись заканчивать свой завтрак.

Глава третья

Наступила минута неловкого молчания. Очевидно, барон де Ларош-Буассо испытывал теперь сильное желание разговориться с приором и его племянником, но гордость мешала ему первому начать разговор. Со своей стороны, приор, угадывая это намерение, осторожно держался в оборонительном положении. Барон, скрестив ноги, начал барабанить по столу; наконец он спросил резким тоном:

– Надеюсь, преподобный отец, что вы не сердитесь на меня за мою запальчивость. Ничто так не располагает к досаде, как пустой желудок. Виновата во всем наша ветреная хозяйка, которая без всякого стыда отдала вам завтрак, приготовленный для меня.

Приор, внимательно очищая прекрасную грушу, отвечал, что он не знал этого обстоятельства, но что, во всяком случае, он настолько добрый христианин, чтобы извинить движение гнева.

– Я очень этому рад, преподобный отец, хотя между нами существуют некоторые другие причины к взаимному неудовольствию, и я был бы рад, если эта встреча доставит нам случай покончить со старой враждой... Какое ваше мнение на этот счет, господин приор?

Бонавантюр отвечал с прежней флегмой и прежним смирением, что он всегда готов сделать то, что согласуется с его обязанностью, для того чтобы заслужить благорасположение барона. Тот казался не очень доволен этими неопределенными и осторожными словами. Он отложил объяснение, которое собирался было начать, и рассеяно спросил:

– Конечно, вы едете в Меркоар к мадмуазель де Баржак?

– Туда, барон; а вы?

– Вы это знаете, вся страна это знает. Я, как храбрый паладин, еду истреблять чудовище, опустошающее земли прелестной владительницы замка.

– А как вы думаете, барон, – спросил приор с заметным интересом, – сможете вы справиться с этим свирепым зверем?

– Я в этом уверен, – отвечал Ларош-Буассо с самоуверенностью охотника, – этот волк, по последним известиям, укрылся в

Меркоарском лесу. Завтра он будет окружен, выгнан и убит непременно до вечера, можете положиться на это.

– Очень хорошо, но это будет завтра, а сегодня могут ли мирные путешественники, по вашему мнению, проехать лес безопасно?

На этот раз в словах приора проглядывал такой страх, что барон, может быть, не мог устоять от лукавого желания помучить его.

– Гм! – сказал он холодно. – Этот зверь колоссальной величины и неимоверно смелый... его надо остерегаться!

Приор тяжело вздохнул и взглянул на своего племянника, который остался спокоен. В эту минуту мадам Ришар вошла со своими служанками, которые несли завтрак барону; разговаривать сделалось невозможно. Но скоро Ларош-Буассо, как бы желая с нетерпением продолжить разговор, отпустил хозяйку и служанок, сухо уверив, что ему не нужно ничего. Приор, пугаясь все более, по мере того как приближался час отъезда, продолжал ласковым тоном:

– Так как мы также едем в Меркоар, барон, не можете ли вы оказать нам честь ехать вместе с вами? Ваша храбрость известна, притом ваши люди составляют ваш конвой. Позвольте же нам ехать вместе с вами, и, конечно, мадмуазель де Баржак, состоящая у нас под опекой, будет вам признательна за ваше одолжение.

Эта прямая просьба, казалось, стоила несколько усилий доброму приору; но барон не очень спешил принять предложение. Он сослался на необходимость путешествовать очень скоро, потому что в этот же вечер он должен заняться разными распоряжениями для завтрашней охоты.

– Лошаки наши недурны, – возразил приор, тайные опасения которого раздражило препятствие, – и ваши лошади не могут идти скорее по ужасным дорогам в горах. Право, барон, великодушно ли с вашей стороны отказывать нам в одолжении, которое так мало будет вам стоить?

Ларош-Буассо улыбнулся со странным видом, потом выпил разом несколько стаканов вина и, подкрепившись без сомнения благородным напитком, сказал более открытым тоном;

– Может быть, я буду готов служить вам, господин приор, но, по крайней мере, надо мне знать сперва, друзья вы мне или враги.

– Ваши враги, барон? У вас нет врагов между фронтенакскими братьями.

– Но есть ли там у меня друзья – это другой вопрос, не правда ли, достойный приор?.. Будем откровенны, и если случай или, пожалуй, по – вашему Провидение, свело нас здесь, сумеем воспользоваться оба этим благоприятным обстоятельством. Я думаю, – продолжал Ларош-Буассо, обернувшись к Леоне, – что я могу свободно говорить перед этим молодым человеком.

– Это мой племянник, – поспешно отвечал бенедиктинец, – это мой секретарь, мой поверенный, мой alter ego.

– Прекрасно. Впрочем, я не имею привычки делать таинственными мои намерения... Послушайте и будьте откровенны со мной. Вы не забыли, преподобный отец, мои законные неудовольствия вашим аббатством, особенно вами, как главой монастыря, пользующегося полной властью?

– Мною, барон?

– Не прерывайте меня, пожалуйста... Эти неприятности уже давнишние и перешли ко мне от моей фамилии. Я знаю, что на меня смотрят как на ветреника, думающего только о том, как вести веселую жизнь. Воображают, будто я неспособен размышлять; полагают, что я равнодушен к интересам и достоинству моего имени. Скоро, может быть, заметят, что это вовсе не справедливо; как бы ни велики были препятствия, я сумею их разрушить, если будут иметь неблагоприятные последствия вывести меня из терпения!

Говоря, таким образом, он нахмурил брови и грозно сжал кулаки; но Бонавантюр оставался бесстрастен. Барон продолжал более спокойным тоном:

– Если вы хотите, преподобный отец, мы начнем с событий, случившихся уже восемнадцать лет тому назад. Отец мой был жив тогда, так же как и дядя мой, граф де Варина, владелец великолепного поместья, имя которого он носил. Я должен признаться, что между моим отцом, бароном де Ларош-Буассо, и старшим братом его, графом де Варина, никогда не существовало большого сочувствия. Отец мой был, как я, веселый дворянин, не очень сберегавший свое состояние, любивший удовольствия и хороший стол. Варина, напротив, имел мрачный характер, болезненный темперамент; особенно в последнее время своей жизни он сделался скрягой и ханжой. После смерти своей жены, вместо того чтобы жить в своем поместье, он проводил все время в Фронтенакском аббатстве, где, как говорят, вы, мой

преподобный отец, тогда еще простой монах, имели большое влияние на его ослабевший ум. Однако отношения братьев никогда не были неприязненными; при всяком случае они выказывали друг другу уважение, которое близкие родственники в благородном семействе обязаны иметь один к другому. В это время ни отец мой, ни я не могли предполагать, чтобы нам когда-нибудь могло достаться наследство графа. У него был четырехлетний сын, которого звали кавалер де Варина, и который должен был после него наследовать его имя и поместье. Но этот ребенок умер, и менее чем через полгода после того сам граф скончался в Фронтенакском аббатстве. Узнав об этом печальном событии, отец мой, несмотря на холодность, существовавшую между ним и его братом, сильно почувствовал этот удар и поспешил в аббатство отдать графу последний долг. Потом он хотел предъявить свои права на фамильное имение, достававшееся ему как ближайшему родственнику и законному наследнику покойного графа. Но каково было его негодование, когда ему показали завещание, по которому дядя отдавал Фронтенакскому аббатству свои земли и свои замки! Это была возмутительная несправедливость; очевидно, в этом поступке были обман и хитрость. Воспользовались слабостью ума графа при его последних минутах, чтобы ограбить его родных, употребили лукавство и насилие, может быть, чтобы вырвать у него этот безумный поступок. Отец мой, бывший характера горячего и вспыльчивого, рассердился, очень грубо обошелся с вашим аббатом и капитулом, потом уехал из Фронтенака, клянясь, что обратится к правосудию. Действительно, он затеял процесс перед бордоским парламентом, чтобы добиться уничтожения этого нелепого завещания, но тут-то выказалось высокое влияние, которым пользовались ваши бенедиктинцы в вашей провинции. Дело аббата фронтенакского сделалось делом всего духовенства; знатные духовные особы, даже епископы, заступились за него. Против нас подняли старинное обвинение в протестантстве, которое появляется каждый раз, как мы хотим предъявить наши права. Вы в особенности, преподобный отец, если я хорошо помню, потому что тогда я был очень молод, были самым деятельным, самым умным агентом в процессе вашего аббата; благодаря вашим усилиям, просьбе моего отца было отказано, он был осужден на уплату значительных издержек, а монастырь оставили во

владении нашим фамильным именем. Скажите, преподобный отец, происшествия, кратко пересказанные мной, не строго ли справедливы?

Глухая ненависть, злобные намеки, заключавшиеся в этом рассказе, ни в чем не изменили ясности приора; он слушал спокойно, скрестив руки на груди и с улыбкой на губах.

– Факты, если не оценка их, совершенно верны, барон, – отвечал он, – не буду отрицать даже, что я лично участвовал в проигрыше процесса барона де Ларош-Буассо, вашего отца, и если поступил дурно, я отдам в этом отчет Богу и моей совести. Только вы забыли упомянуть о небольшом обстоятельстве, которое может совершенно изменить сущность вопроса. Дарственная запись, сделанная нашему преподобнейшему аббату покойным вашим дядей благочестивой памяти, неокончательна; она считается только временным залогом. Приписка к духовному завещанию графа де Варина сохраняется в архиве нашего монастыря, и по непременной воле завещателя приписка эта будет раскрыта после назначенного срока, который наступает через несколько месяцев. Итак, через несколько месяцев сделается известна настоящая воля вашего родственника; до тех пор вы не должны обвинять его память. С другой стороны, мы никогда не считали принадлежащим нам имение Варина: мы только управляли им благоразумно и возвратим его кому следует в тот день, когда окончательное завещание предпишет нам наш долг.

– Эта приписка – только недостойная хитрость! – запальчиво вскричал барон. – Я знаю, что она не изменит смысла первого завещания. Я угадал, отец приор, ловкие проделки, по которым ваша община хочет присвоить себе спокойное пользование поместьем Варина. Боясь, без сомнения, чтобы прямая и дарственная запись на это богатое поместье не возбудила общего негодования, вы постарались придать общую форму, чтобы избежать гнусности подобного завещания, сделанного в ущерб законным наследникам. Вы думали, что приличнее выиграть время, чтобы мало-помалу приучить общее мнение к этому оскорбительному грабежу. Пока эта приписка не доставит вам вполне владение именем моего дяди, вы притворно говорите, что только храните его как залог, и почти уже шестнадцать лет никто не мешал вашему насильственному завладению. Вы надеетесь, что после этой продолжительной отсрочки все забудут ваше виновное завладение, и вы будете в состоянии без шума, спокойно,

окончательно прибавить наше наследство к обширным владениям вашего аббатства. Но, может быть, этого не будет, господин приор; не скрываю, что я возвращусь к этому прежнему делу, как только представится случай. Отец мой умер, разоренный вашими интригами и ябедами, но я еще существую и сумею потребовать прав моей фамилии. Настанет минута, когда приписка к завещанию будет распечатана, и, если она удовлетворит вашим хитростям, вы можете быть уверены, что я не останусь праздным. Времена переменялись за шестнадцать лет; век идет вперед, католическое духовенство не имеет уже прежнего неограниченного владычества. Поговаривают, что из Франции прогонят самую богатую, самую могущественную из религиозных корпораций – иезуитскую. По милости философии и успехов просвещения ветер начинает обращаться против вас. Берегитесь же; на этот раз вашего кредита, может быть, не будет достаточно, чтобы дать восторжествовать беззаконию.

Ларош-Буассо выражался с чрезвычайной пылкостью; сам Леоне казался даже поражен законностью его жалоб. Молодой человек, облокотясь о стол, смотрел на дядю с видом болезненного удивления, как будто его честная душа не могла поверить недостойным поступкам, в которых обвиняли фронтенакскую общину, и ожидал оправдания, но приор Бонавантюр продолжал оставаться бесстрастным; он улыбался, поправляя белой и полной рукою складки своей бенедиктинской рясы.

– Вам недолго придется ждать случая, который вы ищете, барон. Я уже вам говорил, что время, назначенное для оформления приписки к духовному завещанию вашего дяди, скоро настанет. Вы будете действовать тогда по внушениям ваших интересов и вашей вражды, а аббатство Фронтенакское заставит уважать, без боязни и без слабости, волю графа Варина, какова бы она ни была.

Уверенность приора была искренна и естественна; барон, без сомнения, несколько оробел, потому что продолжал гораздо тише:

– Не будем заходить слишком далеко, преподобный отец; я надеюсь еще, что не дойду до этих крайностей. Моя единственная цель, когда я пробудил воспоминание об этом старом споре, состояла в том, чтобы показать несправедливости, от которых я пострадал, и права, которые я могу иметь на вознаграждение со стороны вашей

общины. Если это вознаграждение будет мне дано, я торжественно обязуюсь не мешать более аббатству владеть поместьем Варина.

– Вознаграждение, барон? Я вас не понимаю.

– Я думаю, напротив, что вы понимаете меня очень хорошо, преподобный отец; но слушайте. Вследствие процесса, который мы поддерживали против вашего аббатства, мое состояние – это всем известно – значительно расстроено. Земли мои заложены, доходы уступлены отчасти, и без пособий, может быть корыстных, Легри, моего поверенного, мне было бы очень трудно достойно носить мое имя. А я вижу только два способа избавиться от этого тягостного положения: или я воспользуюсь обстоятельствами, чтобы потребовать, во что бы то ни стало, поместье Варина, которое у меня отняли, или поправлю мое состояние выгодным супружеством. Этому-то последнему намерению буду я вас просить, преподобный отец, способствовать... Понимаете ли вы меня, наконец?

– Нет еще, барон.

– Обыкновенно вы выказываете более проницательности, – возразил Ларош-Буассо сухо, – но я объяснюсь очень ясно. Ваше аббатство, так охотно принимающее богатые наследства, показывает также особенное пристрастие к богатым наследницам. У вас теперь под опекой одна богатая девица, о которой вы заботитесь с ревнивым попечением. Вы окружили ее шпионами, вы подсматриваете за самыми невинными ее поступками, вы пугаетесь всех приближающихся к ней. Я не могу разобрать цели интриг, которыми окружают Кристину де Баржак, но не думаю, однако, что из нее не замышляют сделать монахиню, чтобы наградить ее богатым поместьем какой-нибудь женский монастырь.

Бенедиктинец несколько уже минут, казалось, переносил не так терпеливо довольно оскорбительные выражения барона; легкий румянец покрыл его щеки.

– Господин барон, – отвечал он слегка дрожащим голосом, – несмотря на мое желание оставаться в границах умеренности, я не могу сносить долее ваших оскорбительных предположений против святой обители, которой я служу. Итак, если этот разговор должен продолжиться, прошу вас говорить с меньшей колкостью и с большей справедливостью. Фронтенакский аббат и капитул никогда не имели в мыслях обречь мадмуазель де Баржак монастырской жизни, и они

будут упорствовать в этом намерении, если только их питомица сама не выкажет положительного, настойчивого признания, что невероятно. Вы знаете – в самом деле, ведь вы знакомы с ней, – как нам трудно надзирать за этой самовольной, неукротимой молодой девушкой, непослушной никаким советам. Мендские урсулилки пробовали показывать ей первые правила учения, но успехи ее были посредственны, и она вышла из этого монастыря через два года, почти сведя с ума бедных сестер своим непослушанием и непомерной живостью. После ее возвращения в замок Меркоар мы поместили возле нее доброго и честного дворянина и старую монахиню, терпение, преданность и высокая добродетель которой известны нам давно. И тот и другая писали нам уже более двадцати раз, упрашивая снять с них данное им поручение. Вы видите, барон, что девушке такого характера мы не можем предписывать нашу волю. Если мадмуазель де Баржак намерена остаться в свете и выйти замуж, мы и не подумаем противоречить ее выбору... если только он не будет недостойн ее и благородного дома, из которого она произошла.

– Правда ли это? – вскричал Ларош-Буассо с живостью. – Неужели вы не будете сопротивляться, если жених не будет иметь несчастья не понравиться вам и другим сановникам вашего аббатства? Положим, что я возымел бы мысль усмирить эту маленькую львицу, что я успел бы произвести на нее благоприятное впечатление, решил бы на ней жениться, несмотря на ее свирепый нрав, отвечайте мне откровенно: в таком случае не старались бы вы помешать всеми средствами подобному браку?

Этот прямой вопрос, казалось, очень смутил приора; сам Леоне с беспокойством ожидал его ответа.

– Как, барон, – спросил Бонавантюр, – неужели вы привлекли к себе особенное внимание мадмуазель де Баржак? Благородная девица была до сих пор непреклонна ко всем, кто осмелился ухаживать за ней...

– Она, без сомнения, была бы такой же и для меня, если б я сделал ошибку и осыпал ее теми сентиментальными фразами, которых она терпеть не может. Нет, я никогда не говорил ей ни одного слова о любви; но в тех случаях, когда моя охота приводила меня в Меркоар, мадмуазель де Баржак находила более удовольствия в моем обществе, нежели с другими дворянами округа. Это, без сомнения, не много, но

со стороны молодой девушки столь не похожей на обыкновенный тип, это может подать некоторую надежду. Поэтому, если б я не был уверен, что моим планам будут идти наперекор, я не потерял бы мужества. Умоляю вас сказать мне, что я должен думать; еще раз, друзья вы мне или враги?

– Я опять буду отвечать вам, что фронтенакские бенедиктинцы не враги никому. Не предписывается ли нам любовь к ближнему, даже к тем, кто мог бы оскорбить нас?

– Вы не увернетесь от меня таким образом, господин приор... Будете ли вы, например, отпираться, что ваше путешествие не имеет главной целью уничтожить мои успехи заслужить привязанность мадмуазель де Баржак? Не узнали ли вы о предпочтении, которое оказывает мне ваша питомица, и, узнав о моем скором прибытии в замок Меркоар, не отправились ли вы немедленно в дорогу, как советник и настоящий глава вашей общины, для того, чтобы расстроить вашим присутствием все мои попытки? Несмотря на вашу хитрость, несколько мирскую, преподобный отец, я доверяю вашей искренности; отвечайте мне просто: нет, и я поверю вам, не колеблясь.

Побуждаемый таким образом, Бонавантюр не мог уже уклониться от ответа.

– Не отпираюсь, – отвечал он, – что мое присутствие в Меркоаре показалось необходимым для того, чтобы остановить притязания женихов, которых богатство и красота мадмуазель де Баржак притягивают к ней беспрестанно. Мы исполняем отеческий долг к этой молодой девушке; можем ли мы оставить ее без покровительства и советов среди шумного общества, которое соберется в ее собственном доме?

– Очень хорошо, – сказал барон сухим тоном вставая, – вот, наконец, вы высказались, преподобный отец. Итак, вы неблагоприятно смотрите на мои угождения вашей питомице и всеми силами будете сопротивляться моим намерениям?

– Я имел уже честь уверить вас, барон де Ларош-Буассо, что мадмуазель де Баржак останется совершенно свободной в своем выборе. Но фронтенакские бенедиктинцы, без всякого сомнения, воспользуются правом, принадлежащим им, подавать советы и делать увещевания.

– Все лучше и лучше! – перебил барон с иронией, прохаживаясь большими шагами и брэнча своими серебряными шпорами. – К несчастью для вас, преподобный отец, уверяют, что ваши увещания не очень слушает эта непослушная девушка. Не скажете ли вы мне, по крайней мере, причину предубеждения вашего против меня?

– Э, барон! – вскричал Бонавантюр, выведенный из терпения этой настойчивостью. – Нужно ли отыскивать другие причины, кроме вашей беспорядочной жизни, вашего расстроенного состояния и в особенности вашей тайной привязанности к протестантской ереси?

– Мое разорение – дело ваших рук, – с энергией возразил Ларош-Буассо, – жизнь моя такова, как жизнь всех дворян, чувствующих свое благородство. Что же касается до того старого обвинения в протестантстве, которое беспрестанно бросают мне в лицо, как когда-то бросали в лицо предкам моим и набожного католика графа де Варина, я мог бы спросить, на чем оно основано; но положим, что оно и справедливо; не лучше ли, преподобный отец, оставаться протестантом в глубине сердца, чем не иметь никакой религии, как множество других?

– И не с вами ли это точно так же, барон? – строго сказал бенедиктинец. – Уверяют, что та и другая церковь... Но перестанем говорить об этом, – остановил он сам себя с усилием, – я не должен изведывать совесть без особенного на то приглашения. Бог будет судить всех нас!

Опять замолчали; барон продолжал прохаживаться по комнате; наконец он снова остановился перед приором.

– Итак, вы не принимаете способа, которым я предлагал вам загладить вопиющую несправедливость? – спросил он со сдержанным гневом. – Я желал загладить прошлое и заключить с вами мир, залогом которого была бы мадмуазель де Баржак; вы предпочитаете войну; итак, я буду вести ее с вами – горячую, ожесточенную, клянусь вам... Для начала объявляю вам: я женюсь на вашей питомице назло вам!

Приор отвечал улыбкой на этот вызов. Но Леоне, до сих пор безмолвный, если не равнодушный свидетель этого объяснения, вскричал, вставая, как будто повиновался непреодолимому чувству:

– Как! Барон, вы уверены, что мадмуазель де Баржак вас любит?

Ларош-Буассо вдруг обернулся. Сам приор казался изумлен, но не раздражен смелостью своего племянника.

– Что с вами сделалось, дружок? – спросил барон, насмешливо окидывая глазами юношу с ног до головы. – Разве этими делами занимаются в обителях? Эти вещи вы и знать не должны; лучше прочитайте ваш служебник, и, без сомнения, господин приор наложит на вас наказание за то, что вы без позволения вмешались в мирской разговор.

– Милостивый государь, – возразил Леоне, – я не принадлежу к духовному званию; я такой же мирянин, как и вы, и не допущу...

Он замолчал, как бы испугавшись своей смелости.

– Чего вы не допустите, мой милый юноша? – спросил Ларош-Буассо с оскорбительной иронией. – Чтобы мадмуазель де Баржак выказала предпочтение ко мне? Я не вижу, в чем это обстоятельство может вас касаться, и каким образом вы можете его не допустить.

– Это не то, – пролепетал Леоне, в котором гнев боролся с замешательством, – я хочу сказать, что оскорбительные выражения, в которых вы относились о моем почтенном дяде и об уважаемых фронтенакских бенедиктинцах...

– А! а! Мое прелестное дитя, вы намерены сделаться защитником этих бенедиктинцев и потребовать от меня удовлетворения за мое суждение о них? Это прекрасно, потому что я не расположен отказываться от моих слов и раскаиваться... Я скажу даже всем и каждому, что фронтенакские бенедиктинцы, без всякого исключения, лицемеры, интриганы, жадные, что они отняли у меня мое наследство и что надеются, без сомнения, употребить свою невинную питомицу как орудие для приобретения новых богатств, нового влияния. Но я буду бодрствовать, я сумею расстроить их тайные проделки. Я люблю мадмуазель де Баржак и, может быть, любим ею; мы увидим, кто осмелится пойти наперекор моим намерениям!..

– Вы любите ее? – вскричал Леоне со сверкающими глазами – Вы ее любите, когда сердце у вас обветшало, а душа поблекла...

– Я вижу, мой добрый молодой человек, что вам внушили ужас к таким мирянам, как я; к счастью, от правил до примера далеко!.. Да говори, кто что хочет – я люблю эту гордую и мужественную девушку. Это женщина необыкновенная, я нахожу в ней особенную привлекательность... Но, черт побери! – перебил он презрительно. – Вам какое дело до этого? Да и сам я не знаю, зачем отвечаю на нескромные вопросы ребенка с горячей головой!

– Милостивый государь! – закричал Леоне угрожающим тоном. – Я не могу сносить долее ваших дерзостей и...

– Ну, что же вы сделаете, мой храбрый рыцарь? – отвечал Ларош-Буассо, громко расхохотавшись. – Вызовете меня на дуэль? Вот было бы мило! К вашим услугам! Ну, обнажайте шпагу... я готов принять вас...

Он стал в позицию и делал вид, будто парирует своим хлыстом мнимые удары.

– Как! Вы не подходите? – продолжал он, все смеясь. – Но, прости Господи, вы, кажется, забыли вашу рапиру, пылкий рыцарь ризницы!.. Куда же девалась ваша рапира?

– Я могу, по крайней мере, сражаться с вами тем оружием, которое вы выбрали сами! – вскричал Леоне вне себя.

Он схватил свой хлыст, лежавший на стуле, и побежал с поднятой рукой к барону.

Во время этого жаркого спора приор сохранял совершенно необъяснимое спокойствие, точно хотел изучить, до чего дойдет законное негодование Леоне, измерить степень мужества и энергии этого молодого человека, которого он видел с детства столь кротким и тихим. Может быть, это исследование давало не совсем неблагоприятный результат, потому что Бонавантюр улыбался при каждом возражении своего юного сподвижника; однако, когда он увидел, что оба противника готовы начать драку, он бросился между ними с живостью, вовсе ему несвойственной, закричав:

– Полно, Леоне! Разве вы забыли уже наши уроки или вы принимаете нравы и свирепые страсти модных дуэлянтов? Разве рассудок и религия позволяют подобные распри? А вы, барон, – обратился он к Ларош-Буассо, стоявшему в оборонительном положении, – неужели вы, не краснея позволяете себе вызывать на дуэль безвредного юношу?

С первых слов дяди Леоне, стыдясь своей запальчивости, выронил хлыст и воротился на свое место. С унынием закрыл он лицо обеими руками и ничего не отвечал. Барон, со своей стороны, изменился в лице и продолжал небрежным тоном:

– Кой черт! Вы правы на этот раз, господин приор, я должен был бы принять с презрением оскорбление вашего племянника! Однако, – прибавил он с презрительным превосходством, – молодой человек

пылок; может быть, им нелегко будет управлять, когда у него покажется борода... но оставим это; время проходит, я должен отправиться в путь... Так как вы отвергли мое предложение примириться, каждый из нас будет действовать по-своему, и победа останется за более сильным или более хитрым.

Он растворил дверь кухни и закричал:

– На лошадей, мои люди... все на лошадей!

В первой комнате началась большая суматоха, как будто спешили повиноваться приказаниям господина.

– Итак, барон, – спросил приор со смирением, вовсе не похожим на выказанную им твердость, – вы не позволите нам воспользоваться вашим конвоем, чтобы благополучно доехать до Меркоара? Несмотря на несогласия, существующие между нами, я не сомневаюсь, что вы впоследствии очень бы огорчились, если бы какое-нибудь несчастье...

– Вы меня предполагаете слишком великодушным или слишком сострадательным, – возразил Ларош-Буассо насмешливым тоном. – Ей-богу! Если зверь вас растерзает, как вы думаете, дурную услугу окажет он мне? Из всего Фронтенакского аббатства вы один способны расстроить мои планы. Я должен всего бояться из-за вашей проницательности, вашей бдительности, вашей неутомимой деятельности. Поэтому не стану же я сам пренебрегать благоприятной возможностью, представляющейся мне. Мы ведем войну, господин приор, и все способы хороши, чтобы получить победу... Притом, – прибавил он, взглянув на Леоне, погруженного в свои мысли, – разве у вас нет неустрашимого защитника, очень способного справиться со знаменитым жеводанским зверем? Он защитит вас, и его пылкое мужество может еще лучше устремиться против волка, чем против дворянина... Сегодня вечером мы встретимся в замке Меркоар, куда вы приедете здоровыми и невредимыми... чего я вам желаю. Итак, прощайте!

Он надел шляпу и вышел, насвистывая охотничью арию. Чрез несколько минут послышался топот удалявшихся лошадей.

Приор Бонавантюр, подстрекаемый опасением запоздать в опасном лесу, который он должен был проезжать, поспешил также спросить своих лошаков; он надеялся следовать за бароном издали и таким образом находиться под его защитой вопреки его воле. Но такое множество путешественников произвело суматоху в доме, и лошаки не

были готовы, потом надо было выслушать горячую признательность мадам Ришар за честь, которой приор удостоил её, остановившись у нее, и ее сетования о ссоре ее с Ларош-Буассо, который рассердился на нее и уехал, не подумав расплатиться, о чем, впрочем, прекрасная вдовушка заботилась мало. Много времени было потеряно таким образом, когда Бонавантюр и Леоне выехали, наконец, из Лангони среди поклонов и коленопреклонений жителей городка; они не видели уже ни барона, ни его людей так далеко, как только могло простираться зрение.

Глава четвертая

Прошел уже целый час, как фронтенакский приор и племянник его выехали из Ленгони, и кроме довольно затруднительной дороги, ничто не возмутило их путешествия. Они не видели, правда, несмотря на все свое внимание, всадников, уехавших прежде них, но слышали иногда звуки труб в отдалении, и редкие прохожие, с которыми они встречались, уверяли их, что охотники не более как за четверть лье впереди. Приор беспрестанно понукал своего лошака, надеясь при каждом повороте дороги приметить, наконец, блестящие костюмы барона и его егерей. Леоне машинально подражал ему; но эти подстрекания не производили большого действия на упрямых животных, так что, по всей вероятности, расстояние не уменьшалось, а увеличивалось беспрестанно между двумя путешественниками и всадниками, ехавшими на прытких лошадях.

После многих поворотов путешественники доехали до высокой известковой площадки, обширного невозделанного пространства, окруженного высокими горами. Долина эта была безлюдна, обнажена, лишена зелени, там и сям только несколько каштановых деревьев, полуразбитых грозой, сила которой ужасна в этих местах, разнообразили своими желтеющими листьями однообразие серой почвы. Площадка кончалась лесистым ущельем, через которое проходила дорога; но хотя она имела добрых полмили пространства, и ничто не могло стеснять взора, охотников не было видно.

Впрочем, дорога не представляла никаких затруднений; гладкая открытая почва, даже без кустарника, не могла заставить бояться внезапного нападения хищных зверей. Притом глубокая тишина царствовала в этом огромном цирке; погода была прекрасная, и солнце, бывшее еще высоко над горизонтом, подавало надежду, что лес можно проехать до ночи. Приор, казалось, наконец, терпеливо начал переносить свое положение; он перестал мучить своего лошака, запыхавшегося не от своего повиновения, а от сопротивления подстреканиям своего всадника, и знаком поздравил Леоне к себе.

С тех пор, как выехали из города, молодой человек не произнес ни слова; наклонив голову на грудь, он казался погружен в свои

размышления. Однако он поспешил повиноваться и поехал рядом с приором, что позволяла теперь ширина дороги.

– Я думаю, дитя мое, – сказал приор, – что нам не надо стараться догнать этого гордого дворянина... Может быть, нам надо было бы взять в Лангони провожатых, но мы уехали так скоро... Впрочем, мы теперь только в двух лье от замка; остается час езды. Но дорога пойдет гораздо хуже в Манадьере.

И он с озабоченным видом указал на ущелье, оканчивавшее долину.

Леоне отвечал рассеянным знаком. Имея характер кроткий и общительный, он был воспитан в большой недоверчивости к самому себе и в глубочайшем уважении к тем, кто имел над ним власть. Обыкновенно сдержанный и молчаливый, он не заговаривал сам, а ожидал, чтобы его спросили. Однако его молчаливость после сцены в гостинице сделалась так упорна, что приор начал удивляться.

– Что с вами, милый Леоне? – спросил он дружеским тоном, между тем как оба лошака шли рядом. – Не больны ли вы или, может быть, также боитесь этого проклятого зверя, от которого, да сохранил нас Бог!

– Ни то ни другое, дядюшка; я только думал...

– О чем же, дитя мое?

– Ни о чем, мой преподобный отец.

И прекрасный юноша глубоко вздохнул. Бонавантюр наблюдал за ним украдкой.

– Леоне, – сказал он с важностью, – я должен и похвалить вас, и побранить: похвалить за благородный энтузиазм, с которым вы заступились за меня и за ваших покровителей, фронтенакских бенедиктинцев; побранить за то, что вы увлеклись запальчивостью до такой степени, что вызвали на дуэль дворянина, вина которого не может извинить вашей.

– Как? – спросил Леоне с дурно сдерживаемым нетерпением. – Неужели надо было холодно перенести дерзкие слова Ларош-Буассо? Неужели надо было молча выслушать его хвостовскую клевету о мадмуазель де Баржак?

– Какое вам дело до мадмуазель де Баржак, мой милый?

Леоне наклонился вперед, как бы для того, чтобы подтянуть подпругу, но на самом деле – чтобы скрыть краску своих щек.

– Дядюшка, – пролепетал он, – я думал... мадмуазель де Баржак находится под опекой аббатства, вашей; мы получим гостеприимство в ее доме, неужели же я должен был позволить говорить о ней с таким оскорбительным легкомыслием? Но признаюсь, – прибавил он, одушевляясь, – каждое слово этого гнусного барона действовало на мой мозг, как пары опьяняющего напитка. Не знаю, какие-то неизвестные инстинкты открывались во мне; я чувствовал непреодолимое желание броситься на него и ударить его в лицо... Если б у меня была шпага, я напал бы на него тотчас, несмотря на ваше присутствие; но у меня не было шпаги, я не дворянин, я только смиренный и мирный воспитанник фронтенакских бенедиктинцев и должен был проглотить обиду...

Леоне, дав волю долго сдерживаемому волнению, пролил обильные слезы. Приор казался не очень удивлен этим внезапным умилением; он, может быть, знал лучше самого племянника, что происходило в этой наивной душе. Однако он продолжал со смесью кротости и строгости:

– Как, Леоне, вы плачете? Этого ли должен я ожидать от молодого человека, столь благоразумного и твердого в своей вере, от моего возлюбленного воспитанника, от сына моей сестры? Откуда происходят эти безумные страсти, так вдруг обнаружившиеся? Не говорил ли я вам сто раз, Леоне, что разумные существа, созданные по образу и подобию Божию, не должны никогда прибегать ни к силе, ни к насилию – оружию зверей? Христианин должен обращаться к уму, к убеждению; не подражайте в этом буйной молодежи нашего времени, и в особенности таким развратникам, каков этот барон де Ларош-Буассо, всегда готовый противопоставить свою шпагу рассудку, истине и справедливости. Если впоследствии, что, впрочем, невозможно, вы будете иметь преимущества звания и богатства, которые цените так высоко, вспомните, что гнев и ненависть – пороки постыдные, недостойные вас.

Леоне отер глаза.

– Простите мне, дядюшка, этот припадок слабости, – сказал он, придавая твердость своему голосу, – я и сам не могу понять, как я мог увлечься... Но так как мы заговорили о моем положении в свете, позвольте мне, наконец, попросить объяснений, о которых уважение

мне мешало расспрашивать до сих пор и которые, однако, каждый час становятся необходимее для моего спокойствия.

– Минута довольно дурно выбрана для объяснения, – сказал бенедиктинец, осматриваясь вокруг, – если, однако, у вас есть что-нибудь на сердце, дитя мое, не медлите более рассказать мне об этом.

– Может быть, мой добрый дядюшка, я должен был бы ранее открыть вам состояние моей души, вам, моему наставнику и лучшему другу. С некоторого времени мрачная грусть овладела мной; мечты честолюбия, удовольствия и мирской славы преследуют меня день и ночь. Это беспокойство ума, которое иногда становится истинной тоской, имеет, без сомнения, причиной глубокую неизвестность, в которой я нахожусь относительно ожидающей меня будущности. Мысль моя блуждает в пустоте и заблуждается за недостатком проложенного пути... Выслушайте же меня, мой возлюбленный родственник, и умоляю вас, не отвергайте просьбы, с которой я обращаюсь к вам, Я рано лишился отца и матери, которых никогда не знал; но ни в самых заботливых попечениях, ни в самой снисходительной нежности у меня не было недостатка. Да благословит вас Бог, достойный мой дядюшка, за неизменную привязанность, которую вы оказывали бедному сироте! Вы приняли меня в ваше мирное монастырское убежище, вы образовали мое сердце и мой ум, вы учили меня и словом и примером. Каждый из добрейших фронтенакских бенедиктинцев, ваших друзей и братьев, помогал вам в этом благотворительном призвании; самые ученые и самые благоразумные старались передать мне их науку и благоразумие. Поэтому я всех вас включил в общие чувства уважения и признательности; я считаю себя вашим сыном и спрашиваю себя, буду ли иметь когда-нибудь силы оставить вас. Однако, преподобный отец, с некоторого времени, или случайно, или умышленно, вы как будто употребляете все ваши усилия, чтобы отдалить меня от монастыря, где прошла моя юность; вы прерываете мои занятия, вы не пренебрегаете никаким случаем ввести меня в свет. Вот сегодня, например, вы требуете, чтобы я присутствовал при шумных и бурных сценах большой охоты... Эти требования, эти новые идеи и новые инстинкты, пробуждаемые ими, причина того нравственного расстройств, в котором вы меня видите. Против моей воли меня увлекают пылкие движения, как вы видели сейчас, с бароном де Ларош-Буассо, и

энергия их пугает меня самого... От вас зависит положить конец этим безумным увлечениям. Если действительно я должен отказаться от света, я уверен, что преодолею их с вашими советами и вашими поощрениями. Умоляю вас, мой добрый дядюшка и преподобный отец, позвольте мне воротиться в аббатство как можно скорее, надеть одежду послушника и постричься после обыкновенного искуса; я желаю жить там и умереть посреди друзей, которые были и будут всегда для меня дороги.

Бонавантюр ожидал, без сомнения, этого предложения, потому что не обнаружил никакого удивления, зато многочисленные морщины собрались на его широком и плешивом лбу.

– Леоне, – спросил он с задумчивым видом, – хорошо ли вы обдумали? Искренне ли это призвание к монастырской жизни?

– Я... я так думаю.

– А я читаю в вашей душе, как в открытой книге, и уверен в противном. Эти пылкие движения, о которых вы мне говорите, ясно доказывают, что вы родились не для монастыря. Неужели вы думаете, что под монастырским одеянием эта гордая душа, эта кипучая кровь, эти раздражительные нервы вдруг успокоятся? Нет, эта одежда будет сжигать вас, как одежда Несусса... Притом, сын мой, причины, которые вы узнаете после, запрещают вам монастырскую жизнь.

– Что вы говорите, дядюшка? – вскричал Леоне вне себя от удивления, – неужели мне будет отказано в утешении, обещанном всем уязвленным душам?..

– Но ваша душа не уязвлена, а если б и так, то рана не может быть серьезна в ваши лета. Не спрашивайте меня; но вы не можете и думать о пострижении – ни в Фронтенаке, ни в каком-либо другом монастыре... по крайней мере, до тех пор, пока обстоятельства не переменятся, и вы не поймете сами хорошенько важность подобной жертвы.

Леоне был в смущении.

– Отец мой, – возразил он, – я терпеливо буду ждать, когда вы заблагорассудите объяснить мне этот странный отказ; но если вы отвергнете меня из монастыря, тогда, боже мой! какова будет моя участь? Я всегда думал, видя, с каким старанием вы предостерегали меня против волнений и бурь светской жизни, что ваше тайное желание было внушить мне отвращение к ней...

– Если так, дитя мое, преподобные фронтенакские отцы и я перешли за цель, которой мы хотели достигнуть. Нашим единственным желанием было сделать из вас человека образованного, гордого, честного христианина, который был бы образцом в обществе... Но, Леоне, – прибавил бенедиктинец с оттенком строгости, – я проник истинную причину этого мнимого призвания, так внезапно явившегося в вас. Она происходит из оскорбленной гордости, от подавленного честолюбия... Вы начинаете усматривать блистательную сцену света и, как все молодые люди, чувствуете потребность играть там значительную роль, приобрести славу, исчерпать все его радости. А посреди всех этих стремлений вас поражает ваше бессилие, ваше смирение; вы говорите себе, что пути, ведущие к высокому общественному положению, закрыты перед вами, бедным плебеем, племянником простого монаха... Отвечайте откровенно, Леоне, правда ли это?

– Любезный дядюшка, можете ли вы думать...

– Может быть, есть еще другие причины, – отвечал приор, бросив на него один из тех взглядов, которые как будто доходили до глубины души молодого человека, – но причина, объясненная мною, самая главная, самая неоспоримая. Ну, Леоне, я не хотел бы подать вам безумные надежды, но знайте, что будущность хранит для вас довольно выгод для удовлетворения умеренного честолюбия. Имейте доверие к самому себе и идите смело вперед, опираясь на рассудок и правосудие... Бог сделает остальное!

Так как эти слова, несмотря на сдержанность, сопровождавшую их, могли сделать слишком сильное впечатление на его племянника, приор прибавил:

– Еще раз, Леоне: не позволяйте вашим мыслям неблагоприятно стремиться за нелепыми химерами и старайтесь хорошенько понять меня... Я умер для света, и мне нечего более искать на земле. Но вы мой воспитанник, мой друг, мой приемный сын; вы росли на моих глазах; я сам развил в вас ваши добрые наклонности; я знаю, сколько заключается в вашем сердце добродетели среди несовершенства нашей человеческой натуры. Честолюбие, которого не имею для себя, я имею для вас. Я оживаю в моем возлюбленном ученике. Я задумал много планов для вашего земного счастья, для вашего возвышения, и этим планам фронтенакские бенедиктинцы, которые вас обожают, будут

помогать всем своим влиянием. Наши усилия, наша энергия, наш вес будут употреблены на то, чтобы упрочить вам славную и счастливую участь.

Эти объяснения возбудили в Леоне какую-то недоверчивость; вместо того чтобы поблагодарить дядю, он оставался в каком-то мрачном принуждении.

– Мне приятно было бы думать, – сказал он, наконец, – что планы, о которых идет речь, не могут подать повод к неприятным толкам, и что эти интриги, в которых барон де Ларош-Буассо обвинял фронтенакских бенедиктинцев...

– А! Вот действие ядовитых слов этого барона! – перебил Бонавантюр с горестным удивлением. – Но вам ли, Леоне, обращать против ваших друзей и благодетелей эту ядовитую стрелу?

В тоне приора было столько упрека, что Леоне проворно соскочил со своего лошака, подбежал к дяде и, взяв его за руку, покрыл ее поцелуями и слезами.

– Простите меня, простите меня! – сказал он голосом, прерывавшимся от рыданий. – Если б вы знали, как я страдаю! Мне кажется, что Господь оставляет меня!

Искренность этой горести тронула приора.

– Я охотно извиняю, – отвечал он, улыбаясь с кротостью, – припадок безумия... Бедный Леоне! Неужели вы думаете, что я не угадываю причины этой странной перемены в расположении вашего духа, когда-то столь спокойного и ровного, причину этой угрюмой печали или той вспыльчивости, которая вдруг разразится как буря души... Но минута не благоприятна для рассуждения о подобных предметах!.. Мы в другой раз поговорим об этом... Садитесь на лошака, Леоне, и будем продолжать наше путешествие.

Молодой человек повиновался со своей обыкновенной покорностью, и они ехали несколько минут рядом.

– Дитя мое, – начал скоро бенедиктинец благосклонным тоном, – хотя я простил ваш поступок, я хочу наложить на вас наказание... Мы найдем в Меркоаре барона де Ларош-Буассо, и я с удовольствием увидел бы, если б вы избегали всяких новых споров с ним. Я имею особенные причины желать, чтобы между вами не было ни ненависти, ни гнева, и вы, конечно, раскаялись бы впоследствии, если б не последовали моим советам... Ну, Леоне, что вы будете отвечать мне?

– Я могу оставить без внимания оскорбления, обращенные ко мне, дядюшка; но должен ли я позволить оскорблять в моем присутствии особу, имеющую право на мою привязанность, на мое уважение?

– Мне нужно ваше безусловное обещание, и если вы исполните его верно, я буду судить, что вы искренно сожалеете о вашей непонятной запальчивости.

– Хорошо, дядюшка, я даю вам это обещание; но, боже мой, каким испытаниям подвергаете вы меня беспрестанно!

– Испытаниям? Леоне, я вас не понимаю.

– Я едва ли понимаю сам себя... Моя бедная голова – хаос, где все сталкивается и все путается... Ах, дядюшка, мой добрый дядюшка! Зачем вы потребовали, чтобы я ехал в Меркоар?

– Во-первых, мой милый, потому что я не мог бы найти дорожного спутника более верного и более приятного, как вы. С другой стороны, желая показать вам свет, в который вы должны вступить, я воспользовался этим благоприятным случаем, чтобы ввести вас в дом, где будет находиться избранное жеводанское дворянство. Наконец, у меня была еще другая причина: я заметил, любезный Леоне, что вы производите странное влияние на мадмуазель де Баржак. Эта самовластная девушка при вас возвращает некоторую робость и скромность, приличные женщине хорошего происхождения, будто ваш кроткий, нежный характер, исполненный чувства и рассудка, действует на эту надменную, пылкую и независимую натуру.

Это впечатление обнаружилось несколько лет тому назад. Помните, Леоне, первое посещение наше мадмуазель де Баржак в монастыре Мендских урсулинок? Уже шесть месяцев непослушная пансионерка жила в монастыре, а бедные монахини не могли еще научить ее азбуке; она рвала свое шитье и вышивание, бранила своих наставниц. Она пришла в приемную с растрепанными волосами, в разорванном платье, но прелестная, как возмутившийся ангел. Она нетерпеливо приняла мои увещания и свирепо хранила молчание; пока, в отчаянии от этой закоренелости, я разговаривал поодаль с настоятельницей, вы подошли к Кристине де Баржак. Хотя вы сами были дитя, однако, по-видимому, сожалели об огорчениях этого неукротимого ребенка. Она сначала слушала вас с удивлением, потом с охотой. Мы не могли слышать ваш разговор, но не переставали наблюдать за вами обоими. Тут лежала книга; раскрыв ее наудачу, вы

начали объяснять механизм и состояние слов внимательной ученице. Скоро она схватила книгу в свою очередь, с минуту колебалась, запнулась; вам надо бы дать ей новые объяснения. Наконец она опять взяла книгу и на этот раз, о чудо! прочла без ошибки целую страницу. Чего наставницы не могли добиться за шесть месяцев усилий, вы достигли за несколько минут. Я был вне себя от восторга, а настоятельница плакала от радости, и сама ученица остолбенела от своего удивительного успеха.

– Это правда, дядюшка, это правда, – отвечал Леоне с чрезвычайным волнением, – но к чему вызывать подобные воспоминания?

– С того времени, – продолжал бенедиктинец, – я имел многочисленные примеры вашего влияния на нее. При каждом моем посещении замка я замечал в ней благоприятную перемену, когда вы сопровождали меня. При вас она скромна, добра, воздерживается от вспыльчивости, которая приводит в отчаяние ее прислугу и друзей; наконец, она более походит на то, чем мы хотели бы, чтобы она была. Признаюсь вам откровенно, любезный Леоне, я действую для интересов нашей питомицы, везя вас к ней. Неблагодарная девушка не всегда почтительна ко мне и к другим фронтенакским бенедиктинцам – потому только, что наш долг подавать ей советы, порицать ее проступки и ее запальчивый характер. А я был бы в отчаянии, если бы при настоящих обстоятельствах мадмуазель де Баржак подала о себе неблагоприятное мнение.

Вы слышали, какие неприятные слухи ходят о ней между здешними жителями. Я надеялся, сын мой, что вы поможете мне одним вашим присутствием держать нашу воспитанницу в границах строгого приличия посреди знатных людей, которые стекутся в Меркоар.

– Но вы, дядюшка, столь благоразумный и столь осторожный, – вскричал Леоне с отчаянием, – неужели никогда не подумали об опасности, какую могут иметь на меня подобные опыты? Но вы ошиблись: влияния, которое вы приписываете мне, не существует; обстоятельства, о которых вы говорите, – действие случая. Мадмуазель де Баржак, девушка знатная и богатая, никогда не обращала на меня внимания. Она никому не показывает столько холодности, как ко мне; видя меня, она чувствует только какое-то стеснение. Чтобы

понравиться такой живой, пылкой девушке, надо походить на блистательного и легкомысленного барона де Ларош-Буассо, который так угрюмо хвалился сейчас предпочтением, которое она ему оказывает... Я для нее ничто, говорю я вам! Дядюшка, заклинаю вас, не удерживайте меня долго в Меркоаре и, когда мы оставим замок, из сострадания ко мне, позвольте мне никогда туда не возвращаться!

Эти слова были как бы вырваны ужасной мукой; это был крик сердца, который на этот раз не мог не быть понятным. Притом, как, без сомнения, слушатели уже увидели, приор не ждал признаний, все более и более ясных, своего племянника, чтобы разобрать тайные чувства этой чистосердечной души. Он собирался уже обратиться к Леоне или с утешениями, или с упреками, когда взгляд, брошенный вокруг, придал другое течение его мыслям. Путешественники подъехали к мрачному ущелью между двух гор, покрытых деревьями до вершин. Дорога становилась трудной, неровной; огромные скалы едва давали место для проезда одного всадника. Солнце, низко спустившееся во время предыдущего разговора, позлащало еще вершины самых высоких утесов, но уже давно не проникало в это глубокое ущелье, где начал сгущаться мрак. Так далеко, как только могло простираться зрение, виднелись только деревья с темной зеленью; точно огромный, бесконечный лес обвивал своей лиственной сеткой холмы, долины и горы.

Эта внезапная перемена местности, дикий вид этой пустыни, а более всего уверенность, что в этих местах страшный жеводанский зверь производил опустошения, произвели сильное впечатление на дядю и племянника. Приор поэтому отвечал только с легким изменением в голосе:

– Я мог бы сказать многое о словах, вырвавшихся у вас, дитя мое, но в эту минуту у меня недостает необходимой свободы духа, и мы после возобновим этот разговор. Мы приближаемся к тому месту, где еще вчера зверь растерзал несколько жертв... Не будем говорить более, и старайтесь ехать как можно ближе ко мне. Да защитят нас Бог и Святая Дева!

Леоне не разделял страха своего дяди; но, может быть, он сам был не прочь отложить объяснение, вызванное им. В сердце юноши есть всегда стыдливость, заставляющая его колебаться обнаружить первые

тайны своей любви. Поэтому молодой человек вовсе не огорчился этим отлагательством и с покорностью повиновался желанию приора.

Они ехали несколько минут очень скоро, но чем более продвигались, тем более сгущалась вокруг них темнота. Лес был из сосен, дубов и буков. Эти густые и частые деревья не позволили бы даже в полдень и в светлый день читать под их покровом, и в этот час вечера глаз не мог ничего различить в их мрачной глубине; хворост и терновник бросали на дорогу свои колючие гирлянды. Вершины гор, скал – все, что могло бы служить приметам, исчезло. Однако путешественникам было известно, что этот лес пересекался многочисленными дорогами, и что ошибка при настоящих обстоятельствах была бы небезопасна.

Они сначала руководились колеями, проведенными телегами, запряженными быками, отправлявшимися в Меркоар; это был верный признак, что они ехали по дороге в замок. Но скоро этот спасительный признак исчез, почва переменилась, сделалась сухой, каменистой и слишком жесткой для того, чтобы сохранять следы колес. Напрасно они ждали какой-нибудь прогалины, какой-нибудь возвышенности, какого-нибудь предмета, знакомого их глазам, который позволил бы им удостовериться, по какому направлению они едут. Мрак покрывал все своим унылым однообразием, и оба всадника видели один другого как неопределенные и фантастические силуэты.

Наконец они доехали до того места, где дорога разделялась надвое, и Леоне остановил своего лошака. Приор, читавший молитвы, может быть, для того, чтобы забыть свой тайный ужас, также удержал своего лошака.

– Дядюшка, – сказал молодой человек с замешательством, – я думал, что мы доехали, наконец, до креста святого Павла, но я ошибся... Мы, без сомнения, проехали крест, не заметив его... Вы знаете это место, где мы теперь? Я не помню, чтобы я бывал здесь когда-нибудь.

– И я также, дитя мое, – отвечал приор плачевным голосом. – Святая Дева! Уж не заблудились ли мы?

– Во всяком случае, мы заблудились немного; но мне хотелось бы добраться до вершин гор. Там должно быть еще светло. Что вы скажете, дядюшка, не взять ли нам по этой дороге налево, которая,

кажется, ведет на вершину Монадьерской горы? Если передо мной будет открытое пространство, я сумею найти замок.

– Поручаю себя вам, мой милый, – робко отвечал Бонавантюр, – сознаюсь охотно, что в эту минуту ваши советы будут лучше моих... Надеюсь, – прибавил он, усиливаясь шутить, – что не всегда так будет впредь.

Сам Леоне казался в большой нерешимости, когда отдаленный звук рога раздался налево среди тишины.

– Сюда, дядюшка, сюда! – вскричал Леоне. – Мы, конечно, найдем людей в той стороне. Притом мы доберемся до горы и положительно узнаем дорогу... Итак, в путь! Не надо, чтобы ночь застигла нас в этой непроходимой чаще.

Приор бесстрастно повиновался; но ожидание Леоне было обмануто. Новая дорога, сначала приподнимавшаяся, круто спустилась вниз, к той лесной глубине, которую хотели избежать.

Заблудившиеся путешественники должны были опять остановиться и совещаться. Во время этой короткой остановки рог раздался снова, но на этот раз с противоположной стороны.

– Непонятно, – сказал бенедиктинец с беспокойством, – теперь звук раздался справа от нас!

– В горах есть акустические эффекты, – отвечал Леоне, задумавшись, – расположение местности и этот густой туман могут причинять необыкновенно обманчивые мечты; человек, держащий рог, без сомнения, не там где он кажется. Мы слышим его то здесь, то там, а он, может быть, находится только в двухстах шагах перед нами!

– В таком случае, дитя мое, почему бы нам не испробовать позвать его к нам на помощь?

– Попробуем, дядюшка.

Оба, соединив свои голоса, громко вскрикнули несколько раз и замолчали, чтобы послушать, будет ли ответ на их призыв. Но крики их как будто были поглощены этой тяжелой, неподвижной атмосферой. Отдаленное эхо, как бы играя, повторило звуки их голосов, потом все смолкло.

Приор решительно отказался от власти, которую лета и опытность давали ему над его молодым спутником.

– Что мы будем делать, Леоне? – спросил он.

– Право, дядюшка, я не знаю; мне кажется, однако, будто я вижу следы животных на земле. Может быть, эта дорога ведет к какому-нибудь жилищу... Будем же продолжать путь.

– Хорошо, – сказал Бонавантюр, – не всегда ли мы под перстом Божиим!

Эта настойчивость путешественников скоро получила свою награду. Дорога пошла в гору, и воздух сделался не так сыр. Хотя деревья еще составляли густой свод над головами всадников, однако около них становилось все светлее, звуки рога становились яснее и ближе. Они начали уже думать, что выйдут, наконец, из затруднительного и, может быть, опасного положения, в котором они находились, когда неожиданный случай обратил их неопределенные опасения в справедливый страх.

Они ехали осторожно, когда свирепый вой раздался из непроходимой чащи на некотором расстоянии. Лошаки остановились неподвижно, подняв уши и дрожа всеми членами, как делают робкие животные, чувствуя приближение хищного зверя.

Приор и племянник переглянулись.

– Жеводанский зверь! – сказал бенедиктинец, побледнев. – Да простит нам Господь наши согрешения... мы погибли!

Леоне отыскивал глазами предмет, из которого мог бы сделать себе оружие, потому что мог противопоставить только свой хлыст опасному противнику, возвещавшему о себе таким образом.

– Ободритесь, дядюшка, – отвечал он, – этот волк, если только действительно это он, не осмелится, может быть, напасть на двух человек верхом... Если б у меня была хоть хорошая дубина...

Рев прекратился; теперь слышались в терновнике только шаги большого тела, проворно прокладывавшего себе дорогу; но чаща была так густа, темнота так глубока, а туман так плотен, что ничего нельзя было рассмотреть.

Вдруг вой послышался снова; на этот раз зверь казался только в нескольких шагах от путешественников.

Это испытание было слишком сильно для бедного бенедиктинца; воображая уже, что члены его трещат под зубами чудовища, он начал испускать крики отчаяния. Леоне, напротив, искал врага глазами, готовый отразить нападение как мог; но мужество его не могло принести ему никакой пользы. Лошаки, испуганные до

головокружения этим воем, раздавшимся так близко, поднялись на дыбы, повернули и убежали каждый в свою сторону. Лошак приора унес своего всадника, который ухватился за его гриву и продолжал кричать. Лошак Леоне, не находя перед собой пустого пространства, бросился слепо в кусты и с неистовством прыгал между ползучих растений и колючек.

Молодой человек держался на лошаке несколько минут, несмотря на его неистовые прыжки. Но его искусство в верховой езде не помешало ему наткнуться на низкую ветвь бука и слететь с седла именно в ту сторону, откуда слышался последний вой.

Падение было жестоко, и Леоне лежал оглушенный, без движения, ничком. Тотчас тихое ворчанье раздалось в ушах его, тяжелое тело упало на него, и он чувствовал, как острые зубы вонзились в его плечо, а когти вцепились в тело сквозь одежду.

Боль, неизбежность опасности заставили Леоне опомниться; он старался повернуться и высвободить руки, чтобы оттолкнуть свирепого зверя, который пожирал его живьем; но колючие растения запутывали его своими узлами, листья ослепляли его, тяжесть, лежавшая на нем, парализовала его движения. Он успел, однако, повернуться на бок и одной рукой оттолкнуть чудовище, которого не мог видеть. Но рука его встретила не голову хищного зверя; это было скорее какие-то жесткие, нечесанные, взъерошенные волосы, принадлежавшие человеческой голове.

В эту страшную минуту, когда инстинкт самосохранения преобладал над рассудком, Леоне не искал объяснения этого непонятого обстоятельства. Он продолжал бороться против царапанья и укусов своего неизвестного противника и судорожно вертелся, сам не зная, что делает.

Наконец борьба прекратилась, когда несчастный молодой человек, истощенный, запыхавшийся, почти лишившийся чувств от страдания и страха, становился уже не способен к сопротивлению. Когти и зубы перестали его рвать, и он почувствовал облегчение от тяжести. Оживленный этой внезапной переменой, он успел приподняться и, облокотясь на землю, осмотрелся кругом диким взглядом.

Все следы его грозного противника исчезли; слышался еще шум в соседних кустах, но ничего нельзя было видеть. Притом внимание Леоне было отвлечено другим шумом, раздававшимся на дороге и

приближавшимся с быстротой. Это были звуки рога, теперь совершенно внятные, сильный лай, а главное – голос приора, звавшего Леоне с беспокойством.

Леоне не мог отвечать; он оставался все в том же положении, еще сомневаясь в своем собственном существовании. Наконец он смутно заметил в тумане двух человек, одного пешком, а другого верхом, которые как будто отыскивали его, и он слышал, как дядя его звал:

– Леоне, где вы? Леоне, ради бога, живы ли вы еще? Отвечайте мне поскорее.

Бедный молодой человек успел, наконец, преодолеть свою ужасную слабость.

– Сюда, дядюшка, с этой стороны!

– Ах, мы, наконец, его нашли! – вскричал бенедиктинец, соскочив с лошака. – Ну, мой милый, ранены вы?

– Кажется, нет, дядюшка.

– Слава богу! Слава богу!

Бонавантюр хотел помочь Леоне встать, но его спутник сказал ему на туземном наречии:

– Берегитесь, преподобный отец! Зверь, должно быть, недалеко, потому что моя собака ворчит... Полно, Кастор! Не отходи – ты, может быть, нам понадобишься.

Но его опасения не могли остановить приора, обрадовавшегося, что он нашел своего приемного сына. Он переступал через препятствия, не обращая внимания на свою бенедиктинскую рясу; он сжимал в объятиях бедного Леоне, который бесстрастно принимал его ласки.

Только когда молодой человек с помощью дяди добрался до дороги, можно было составить себе верное понятие о его плачевном состоянии. Шляпа его была смята, платье разорвано, руки и лицо омочены кровью. На левом плече виднелась широкая рана, как будто кусок тела был вырван когтями или зубами.

Испуганный Бонавантюр поспешил перевязать рану носовым платком. Его спутник помогал ему в этом сострадательном деле.

– Господи помилуй! – с ужасом говорил этот человек на туземном наречии. – Чуть-чуть было вы не попались; еще минута, и вы были бы растерзаны!

Тот, кто говорил таким образом и кто так кстати помог путешественникам, был – как слушатели, без сомнения, угадали – Жан Годар, меркоарский пастух. Оставив Лангонь, он отправился по проселочной дороге, годной только для пешеходов. Войдя в ту часть леса, где зверь производил свои опустошения, он вздумал затрубить в пастушеский рог, чтобы предохранить себя от нападения свирепого животного. Он услышал зов дяди и племянника и, угадав, что, верно, кто-нибудь заблудился в тумане, имел человеколюбие отправиться их отыскивать. Крики, раздавшиеся в минуту катастрофы, привлекли его внимание, и он чуть было не был сбит с ног приором, которого нес лошак. Они успели, однако, приблизиться друг к другу и после краткого объяснения бросились на помощь к Леоне, которого по справедливости предполагали в большой опасности.

Впрочем, бедный молодой человек, так чудесно спасенный, не мог задавать никаких вопросов. Присутствие духа медленно возвращалось к нему.

– Дядюшка, – сказал он, наконец, изменившимся голосом, – видели вы его? Конечно, он пробежал мимо вас?

– Кто? – с удивлением спросил приор.

– Этот человек... этот негодяй, который ранил меня.

– Человек! Вы грезите?.. Без сомнения, несчастный юноша получил сильный удар в голову... Рассудите, милый Леоне, вы имели дело не с человеком, а с чудовищем, которое называется жеводанским зверем.

– Жеводанским зверем! Уверены ли вы в этом, милый дядюшка? – спросил Леоне, идеи которого пробуждались мало-помалу. – Право, я не смею утверждать, я едва понимаю, где я... однако, я не могу поверить, чтобы меня так отделал хищный зверь.

– Боже милосердый! Кто же? – сказал пастух. – Если б вы могли видеть, какая рана у вас на плече, вы не имели бы никакого сомнения на этот счет. Какие зубы! Жалости достойно... Но, господа, нельзя же здесь дрогнуть; ночь приближается, а зверь чертовски упрям; если ему придет фантазия опять напасть на нас, пожалуй, мы с ним не сладим. В этом лесу ничего хорошего не дождешься после заката солнца.

– Этот добрый человек прав, – сказал вдруг приор, который, успокоившись насчет своего племянника, начал пугаться за себя. – Поедем немедленно!.. Какое гибельное и зловещее место! Не надо

оставаться здесь долее; тебе нужна быстрая помощь, Леоне, дитя мое... Мужайся же, и постараемся как можно скорее добраться до замка.

Лошака Леоне найти было нетрудно. После падения всадника он сам упал и до того запутался в кустах, что не мог встать. С трудом Жан Годар мог поставить его на ноги и поспешил привести к Леоне. Но с первых шагов можно было узнать, что раненый неспособен был ехать верхом: голова его качалась направо и налево, больная рука не могла держать поводьев. Тогда Жан Годар без церемоний вскочил на лошака и, обхватив одной рукой племянника приора, другой схватил поводья, закричав:

– В путь! В путь! Когда выедем из леса, мы устроимся как можно лучше, но теперь не время нежиться. Вот Кастор наострил уши и огрызается... В путь! Ты, Кастор, держись твердо... Через четверть часа мы будем вне опасности.

Он погнал лошака, и Бонавантюр поехал за ним, между тем как собака шла последней, ворча и часто поворачивая голову.

Глава пятая

Замок Меркоар, в котором жила Кристина де Баржак, возвышался почти посреди того самого огромного леса, где фронтенакский приор и его племянник подвергались таким большим опасностям. Он был выстроен в эпоху, когда вообще во Франции перестали укреплять жилища сельских дворян; но никогда Жеводанская провинция не была довольно спокойна, по милости религиозного антагонизма и ненависти, порождаемой им, для того, чтобы сделать бесполезными некоторые предосторожности. Поэтому жилища меркоарских помещиков имели средневековый вид, Замок был выстроен на возвышенности над дереушкой в тридцать домов. Огромные башни с аспидными кровлями стояли по четырем углам; замок был окружен рвами, стенами и снабжен подъемным мостом. Правда, во рвах не было воды, в стенах были многочисленные проломы, а подъемный мост оставался неподвижным за неимением цепей. Но надо было подойти очень близко, чтобы заметить эти опустошения времени; издали замок со своими острыми зубцами, мрачной массой вулканических камней и высокими серыми стенами имел величественный вид, внушавший мысли о важности его владельцев.

В тот день, когда происходили события, рассказанные нами, окрестности этого жилища, обыкновенно уединенные и безмолвные, представляли большое одушевление. Все дороги, сходящиеся в Меркоаре, были наполнены путешественниками, в одиночку или группами, одни пешком, другие верхом, спешившими присутствовать на завтрашней охоте на волка. Между ними виднелись дворяне, соседние охотники на прекрасных лошадях и хорошо вооруженные, за ними пешие егеря вели своры собак. Некоторые из этих дворян везли на своей лошади жену или сестру, которые скрывали свой смелый способ сидеть на лошади посредством широкой драпировки, тогда называвшейся верховым передником. Но женщин было мало или оттого, что они боялись опасностей путешествия, или потому, что не хотели подвергаться вспышкам и резким выходкам эксцентрической владельницы замка. Только несколько неустрашимых деревенских жительниц, соскучившись в своих замках и горевших нетерпением

нарушить смертельное однообразие жизни, осмелились явиться в это собрание, где утомление было вероятнее удовольствия.

Путешественники, миновав подъемный мост, въехали на двор замка, где ничто не возвещало слишком изящного и желанного гостеприимства. Этот двор, отведенный для сельских занятий, был загроможден изломанными тележками и бочками, кучами навоза, и среди всего этого прыгали, кудахтали куры, голуби и утки. Разрушенные строения, окружавшие этот двор, давно уже были брошены; судя по разбитым окнам без стекол, они теперь служили сеновалами.

На этом-то первом дворе всадники сходили с лошадей и останавливались пешеходы, не получившие особенного приглашения от владельницы замка. Два работника с фермы, одевшись для этого случая в ливреи с галунами, принимали на этом дворе приезжавших. Они снимали дам с лошадей, брали чемоданы и дорожные мешки, ставили лошадей в конюшни. Гостей низшего звания провожали в обширную низкую залу, где на столах разложены были хлеб, вино, сыр и каштаны. Садись, пили и ели без церемонии, и тем лучше можно было наслаждаться этим изобильным угощением, что гостям, насытившись, стоило только растворить соседнюю дверь, чтобы очутиться на сеннике, будущей спальне. Гостей же благородного звания лакей провожал на второй двор, вокруг которого высились здания, занимаемые владельницей замка.

Эта часть замка содержалась гораздо лучше; там царствовали совершенный порядок и необыкновенная чистота. Корпус и два флигеля составляли три стороны этого квадратного двора, среди которого был хорошенький фонтан. Четвертую сторону составляли железная решетка и ворота с гербом фамилии де Баржак. Ворота эти вели в обширный парк, прежде отделенный от леса стеной и рвом; но время употребило стену на то, чтобы наполнить ров, и давно уже одна решетка защищала замок против несколько смешанного общества, посещавшего меркоарский лес, общества особенно шумного в длинные зимние ночи.

На одном углу второго двора небольшое каменное крыльцо вело в приемные комнаты. На этом крыльце старый господин высокого роста, худощавый и прямой, с важным видом исполнял обязанности церемониймейстера. Он был весь в черном, в жабо, манжетах и с

косицей; шляпу он держал под мышкой и одной рукой со смешной важностью опирался на эфес длинной шпаги. Это был кавалер де Меньяк, дворянин хорошей фамилии, но младший брат и, следовательно, очень бедный. Храбрый кавалер, прослужив с отличием в кавалерской армии, вел бы очень плохую жизнь, если бы фронтенакский приор, знавший его давно, не вздумал поместить его управляющим и почетным конюхом питомицы монастыря. В настоящих обстоятельствах де Меньяк казался проникнут важностью своих обязанностей. Его длинное лицо выражало смесь достоинства и замешательства. Как только подходили гости, он делал три шага навстречу к ним, целовал руки дамам, низко кланялся мужчинам, потом провожал их в большую столовую, где уже находилось многочисленное общество. Там говорил он комплимент, придуманный заранее, всегда один и тот же, в котором извинялся за отсутствие хозяйки, «которая была занята, – говорил он, – но скоро придет».

– А пока, – прибавлял кавалер, – моя благородная госпожа приглашает вас через меня располагать всем принадлежащим ей как вашей собственностью. Дом ее и слуги в вашем распоряжении.

Потом кавалер де Меньяк кланялся опять и возвращался на свое место на крыльцо. Но, может быть, ему казалось, что он недостаточно вознаграждал своей преувеличенной вежливостью наружное равнодушие своей госпожи такому множеству гостей, потому что, оставшись один, он глубоко вздыхал и бросал тоскливый взгляд на ту часть замка, где окна оставались закрытыми.

Гости, со своей стороны, могли бы обидеться, что Кристина де Баржак поручила своему конюшему принимать их, но веселые охотники и деревенские соседи, приехавшие каждую минуту, не обращали на это большого внимания. Они привыкли к фантазиям хорошенькой владельницы замка, и никто не думал этим обижаться. Притом яркий огонь горел в камине, стол был заставлен холодной говядиной, кушаньями всякого рода, отборными винами; приготовлены были прекрасные кресла; проворные слуги ходили взад и вперед, удовлетворяя всем требованиям; на что же могли жаловаться гости? Поэтому гости, не обращая внимания на недостаток церемонии приема, весело садились за гостеприимный стол и принимали буквально приглашение кавалера поступать как дома.

Какие же «важные дела» задерживали хозяйку? В небольшом садике, служившем манежем, вместе со своей гувернанткой Маглоар и старым Мориссо, бывшим егерем ее отца, она обучала небольшую лошадь степной породы, на которой хотела ехать завтра на охоту.

Кристина де Баржак, которой было тогда восемнадцать лет, была стройной и гибкой, как горная сосна. В каждом ее движении была грация, точно так же, как сила и гибкость. Лицо смелого очертания, рост, красные и презрительные губы, черные глаза в виде миндалин составляли в совокупности замечательную красоту. Однако эта красота не имела еще определенного характера, цвет лица, немножко смуглый от загара, не показывал женственной деликатности, а глаза не умели опускаться под веками, оттененными длинными ресницами. Это был шаловливый, избалованный, самовольный ребенок в привлекательном виде молодой девушки. Жесты ее были тверды, часто повелительны, малейшее противоречие проводило легкие морщины на ее белом и чистом лбу.

Наряд, который был на ней в эту минуту и который был ее любимым костюмом, придавал еще более мужественный вид ее наружности. На ней было зеленое шелковое платье, похожее фасоном на наши современные амазонки. На великолепных черных волосах, которые она не позволяла пудрить, несмотря на требования моды, была надета шелковая сетка и небольшая треугольная шляпка с белыми перьями и золотым галуном. Этот полумужской костюм, прекрасно согласовавшийся с деятельной жизнью, с решительными манерами Кристины де Баржак, заставлял говорить тамошних жителей, что она одевалась по-мужски, и действительно, если бы не юбка, длинный шлейф которой мог приподниматься к поясу, ее приняли бы за бойкого маленького дворянчика, который скорее готов был сделаться мушкетером, нежели семинаристом.

Мы уже знаем несколько обстоятельств, имевшие влияние на Кристину и сделавшие ее столь непохожей на других молодых девушек ее возраста. Лишившись рано матери, она постоянно жила с мужчинами в этом уединенном замке. Отец ее и дядя, искусные охотники, но очень несведущие и порядочно грубые, принимали у себя только охотников; они находили какое-то глупое удовольствие видеть, что девушка принимала свободный тон, развязные манеры, от которых теперь не могла освободиться. На веселых обедах, следовавших за

охотой, приносили маленькую Кристину, и эти пьяные гости находили удовольствие заставляя ее повторять ругательства, бывшие в моде, научать ее бойким движениям и слышать, как она напевает вакхическую песню. Отец ее, очень желавший иметь сына, когда родилась Кристина, не помнил себя от радости при этих шуточках; дядя ее, еще более неблагоприятный, научал новым шуткам. Однако и тот и другой обожали это невинное существо; они не думали, что, может быть, развращали ее юное воображение, они видели в ней игрушку, которой забавлялись с пагубной непредусмотрительностью.

Таково было первое воспитание Кристины. По милости инстинктов подражания, свойственных человеческой натуре, она переняла вкусы, нравы, язык окружавших ее. Она думала только о том, как бы бегать, прыгать, ездить верхом. Когда дядя ее умер после охоты на болоте, отец перестал поощрять этот причудливый и шумный нрав. Однако незадолго до своей смерти де Баржак как будто, наконец, увидел всю опасность своего поведения и раскаялся в преступном легкомыслии. Чтобы загладить вину, он завещал опеку над дочерью фронтенакским бенедиктинцам, которых считал наиболее достойными подобного поручения. К несчастью, было уже поздно изгладить следы первого порочного воспитания: Кристине было двенадцать лет, а в этом возрасте уже трудно принять новые идеи, преодолеть некоторые склонности, некоторые привычки. Поэтому старания добрых бенедиктинцев в то время, о котором мы говорим, были еще несовершенно, и благородной девице недоставало кротости.

В эту минуту, как мы сказали, мадмуазель де Баржак, не обращая внимания на многочисленных гостей, приехавших в замок, обучала маленького Бюша, свою любимую лошадь. Это было не очень легко. Бюш, хорошенькая вороная лошадка с быстрыми глазами, казалась, несмотря на свой маленький рост, такой же своевольной, такой же капризной, как и ее госпожа. На Бюше сидел Мориссо, который, несмотря на свои семьдесят лет, вообразил себя еще превосходным всадником. Кристина с хлыстом в руке стояла посреди манежа и командовала. Иногда лошадь с удивительной кротостью слушалась всадника, но иногда лягала и становилась на дыбы. Тогда мадмуазель де Баржак хлопала хлыстом, сердилась то на лошадь, то на всадника. Часто также, выйдя из терпения, она приказывала Мориссо сойти с лошади, и хотя у Бюша была только уздечка и легкая попона,

она проворно вскакивала на него, приказывала ему исполнять указанный маневр, потом сходила с лошади, бралась за свой хлыст и говорила Мориссо:

– Черт побери, старый бездельник! Неужели ты не стыдишься своей неловкости? Бюш горяч, но не зол, и ты не умеешь с ним обходиться. Ты приступаешь к нему вдруг, вместо того чтобы дать ему время подумать о том, чего ты ждешь от него... Черт побери! Самый рассудительный из вас двоих не тот, который считается таким!

Каждый раз, как из ее хорошенького ротика вырывались неприличные выражения, жалобный голос вскрикивал за ней:

– Святая Дева! Мадмуазель де Баржак, вы опять ругаетесь, несмотря на ваше обещание!.. Что скажут бенедиктинцы, увидев, что я воспитываю вас так дурно? По меньшей мере, я буду отлучена от церкви.

– Хорошо, хорошо, сестра Маглоар! – возражала Кристина презрительно. – Не беспокойся о том, что скажут или сделают эти проклятые святоши.

– Проклятые святоши! Но ведь это нечестивость, святотатство... Ах, милое дитя, вы, верно, хотите погубить вашу душу! Да простит вам Бог ваше прегрешение!

Сестра Маглоар, говорившая таким образом, сидела в углу манежа. Защищаемая кадками с цветами от прыжков капризного Бюша, она вязала, по своей привычке, шерстяной чулок. Гувернантка мадмуазель де Баржак носила в замке свой костюм урсулинки. Это была женщина лет пятидесяти, обращение которой показывало, что она жила прежде в свете. Она слыла очень образованной, но ее выбрали в наставницы Кристине, особенно, за ее неизменное терпение и глубокую набожность, которая побуждала ее безропотно переносить несправедливости, жестокости и даже оскорбления. Мы должны сказать, что эти добродетели сестры Маглоар подвергались часто жестоким испытаниям. Урсулинка разделяла с кавалером де Меньяком управление замком, и они постоянно старались склонить их воспитанницу к дисциплине приличий. Дома урсулинка имела верх, она читала длинные нравоучения и прибегала к патетическим мерам, чтобы удерживать Кристину в границах приличия. Вне дома суровый и флегматический кавалер де Меньяк всюду провожал свою молодую госпожу, и пешком и верхом. Менее красноречивый и, в особенности,

менее болтливый, чем сестра Маглоар, он сопровождал каждое свое наставление правилом кратким и непреложным, как аксиома; но, раз приняв решение, он дал бы себя прибить, разорвать на куски скорее, чем уступить, и его холодное упорство обыкновенно лучше удавалось с запальчивой молодой девушкой, чем бесконечные поучения урсулилки.

Однако мадмуазель де Баржак, как можно легко себе представить, переносила с крайним трудом этот двойной надзор. Сердце у нее было доброе, несмотря на ее дурное воспитание, и она имела довольно природного смысла, чтобы признавать превосходство цели, к которой они стремились; но эти неотступные нравоучения раздражали ее гордость. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела своих слишком ревностных покровителей, но ей нравилось обманывать их надзор какой-нибудь веселой шалостью, мучить их тысячами способов. Это поведение приводило в отчаяние честного кавалера и бедную урсулилку, и хотя во всем остальном жизнь их была довольно приятная в замке, много раз уже они готовы были отказаться от обязанности, которая производила такие отрицательные результаты.

Пока мадмуазель де Баржак смотрела на быстрые эволюции Бюша, урсулилке доносили все, что происходило в другой части замка. На пороге соседней двери время от времени являлась камеристка в живописном туземном костюме. Она говорила несколько слов печальной урсулилке и тотчас уходила. Эта проворная посланница была отправлена кавалером доносить гувернантке о приехавших благородных гостях и просить ее напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства.

Урсулинка сама только этого и желала; она хотела несколько раз укоротить урок в манеже, но ее упрямая ученица не слушалась ее просьб, а урсулинка, боясь раздражить ее своей настойчивостью, ожидала благоприятного случая уговорить ее.

Этот случай скоро представился. Лошадь выказывала усталость, а старый конюх, более мужественный, чем сильный, по причине своих преклонных лет, был весь в поту. Кристина велела Мориссо отдохнуть, потом села на скамейку возле своей гувернантки и, сняв шляпку, начала небрежно приглаживать свои растрепанные черные волосы.

– Дитя мое, – сказала урсулинка, воспользовавшись удобной минутой, – не пора ли нам идти домой? Вас гости ожидают в гостиной;

вы обязаны показать внимание к дворянам, приехавшим освободить ваши земли от ужасного зверя, опустошающего их.

– Сколько шума из-за волка! – возразила молодая девушка, пожимая плечами. – Я помню, как отец мой и дядя Гилер убили шесть волков на одной охоте, и, как ни была мала, я присутствовала при этом в ущельях Лозера, тогда заваленных снегом... Ах, сестра Маглоар! – продолжала она с умилением, довольно редким в ней. – Ты не знала моего отца и моего доброго дядю Гилера; какие это были люди, и какие охотники! Если бы они еще были живы, они не прибежали бы к этим хвастливым дворянчикам, которые делают больше шума, чем дела. Они сели бы на лошадей и со своими егерями и двенадцатью ретивыми собаками скоро расправились бы с этим проклятым зверем, столь жадным к человеческому телу. Но времена переменились! Бедный отец! Бедный дядя Гилер!

И она отвернулась, как бы затем, чтобы скрыть слезу.

– Я знаю, дитя мое, – холодно возразила урсулинка, – что де Баржаки были благородные вельможи и опытные охотники; хотя они жестоко пренебрегли некоторыми обязанностями относительно вас, но, тем не менее, вы должны быть признательны добрым соседям, которые помогают вам в настоящих обстоятельствах, и вы хорошо бы сделали, если бы пошли сами.

– Э, черт побери! Разве кавалер де Меньяк не там? Верно, позаботились, чтобы у них ни в чем не было недостатка, я надеюсь?

– Без сомнения; но некоторые важные особы могут обидеться вашим продолжительным отсутствием... Например, граф де Лаффрена...

– Дайте ему зеркало; он не соскучится, пока будет любоваться своим лицом в зеркале, если б даже ему пришлось провести всю ночь в этом приятном занятии.

– Маркиз де Бреннвиль.

– Пусть его отведут в конуру, ему нравится общество собак.

– Барон и баронесса де Флорак.

– Пусть посадят их за стол и постоянно наполняют их рюмки и тарелки. Ручаюсь вам, что они не приметят моего отсутствия, если только вина и кушанья будут им по вкусу.

– Однако, мадмуазель де Баржак, – продолжала урсулинка, несколько рассердившись, – с минуты на минуту могут приехать гости,

которым вы должны показать внимание и уважение.

– А! Вижу, о ком пошла речь, сестра Маглоар; ты, верно, ждешь этих проклятых... я хочу сказать, этих бенедиктинцев из аббатства?

– Вам следует почтительно говорить о ваших благодетелях, о ваших наставниках, – с колкостью возразила гувернантка, – Да, сударыня, для них приготовлены комнаты.

– Да черт же их...

– Мадмуазель де Баржак!

Кристина закусила губы и топнула ножкой, обутой в сафьянный сапог. Сестра Маглоар вздохнула и подняла глаза к небу. Это значило, что она готовится прочесть длинное нравоучение своей воспитаннице, когда молодая камеристка доложила о приезде барона де Ларош-Буассо. Это известие вдруг изменило идеи мадмуазель де Баржак.

– Ларош-Буассо! – вскричала она. – Ах, тем лучше! Он такой веселый! Мы здесь будем забавляться, как... в прошлые времена... Ты права, сестра Маглоар, – продолжила она, поспешно вставая, – я хочу воротиться домой.

Но гувернантка не разделяла уважения Кристины к барону и не вставала со своего места.

– Право, я не понимаю вашего предпочтения к барону, – возразила она, – это, говорят, мот, развратник, даже, может быть, враг нашей святой религии.

– Это славный охотник, чудесный наездник, веселый собеседник, об остальном я не спрашивалась, – беззаботно возразила мадмуазель де Баржак, – притом он не надоедает мне пошлостями и комплиментами, как другие... Хочешь, я тебе скажу, сестра Маглоар, откуда происходят твои предубеждения против него? Оттого, что он мне нравится. Ты всегда такова к тем, кто мне нравится, но, черт побери, я буду поступать по-своему!

И она подошла к своему конюху, который, держа лошадь за узду, отдыхал.

– Надо кончить, Мориссо, – сказала она, – но так как ты устал, я сама кончу урок.

Она без усилий прыгнула на спину ретивой лошади, которая начала грациозно прыгать, как бы изъявляя свою радость. Прекрасная амазонка заставляла ее несколько минут повторять самые трудные

эволюции, переменять аллюр и вдруг останавливаться после скачки в галоп. На-конец, довольная послушанием своей лошади, она сделала старому конюху таинственный знак.

– Теперь последнее правило грамматики, – сказала она, улыбаясь.

– Вам угодно, чтобы я принес...

– Шш! – сказала лукавая девушка.

И она указала на сестру Маглоар, которая опять принялась за свою работу.

Мориссо понял ее мысль и в свою очередь лукаво улыбнулся, потому что он не любил урсулилки, читавшей ему беспрестанно нравоучения. Он пошел за пистолетами, лежавшими недалеко, и молча подал их своей барышне. Та начала галопировать вокруг манежа и, проезжая мимо урсулилки, положила один из пистолетов между ушами Бюша и выстрелила.

При этом неожиданном звуке сестра Маглоар вздрогнула, жалобно закричав: «Господи Иисусе!» – между тем как безжалостная девушка громко хохотала.

– Ну, милая сестра, – вскричала она, – неужели я никогда не приучу тебя к стрельбе?.. Но, клянусь моей душой, кажется, и Бюш слегка вздрогнул!.. Я не потерплю этого, мосье Бюш! Я опять выстрелю, и если ты пошевелишься... Не бойся на этот раз, сестра Маглоар; опасности нет, ты это знаешь.

Она выстрелила из другого пистолета. Пламя пороха коснулось гривы Бюша, но лошадь как будто не заметила этого, и ничто не возмутило правильности ее шага.

– Ну, вот и прекрасно! – сказала Кристина с торжеством.

Она сошла с лошади. Пока она гладила рукой блестящую и гладкую шею лошади, конюх подошел взять поводья.

– Я грубо обошлась с тобой, мой бедный Мориссо, – сказала мадмуазель де Баржак дружеским тоном, – я виновата, прости меня... Бюш прекрасно обучен; вот тебе несколько луидоров, выпей за мое здоровье.

Старый слуга рассыпался в изъявлениях благодарности, когда эта странная девушка повернулась к нему спиной и подошла к сестре Маглоар. Тогда только она заметила, что урсулинка была вся в слезах.

Удивление и горечь тотчас заменили радостное выражение ее лица. Она бросилась на шею своей гувернантки и сказала ей с волнением:

– Что с тобою, милая сестра? Неужели ты так дурно принимаешь шутку? Прости меня... я исправлюсь... Поцелуй меня; я хочу, чтобы ты меня поцеловала!

– Мадмуазель де Баржак, – сказала урсулинка, тихо отталкивая ее, – вы жестоки ко мне; я потеряла терпение и мужество. Вы меня не любите, вы меня ненавидите!

– Совсем нет, я люблю тебя, – возразила Кристина со своей обыкновенной пылкостью, – да, я люблю тебя, моя милая; но ты добра, а я зла. Раз сто хотела я отказаться от этих проклятых шалостей, и не знаю, какой черт... Полно, не сердись на меня на этот раз... Я исправлюсь, клянусь тебе... Ну, конечно? Поцелуй меня!

Она схватила обеими руками бледное и морщинистое лицо урсулинки и поцеловала ее несколько раз. Сестра Маглоар не могла удержаться, чтобы не улыбнуться сквозь слезы, видя, как откровенно Кристина признается в своих проступках.

– Ах, мадмуазель де Баржак! – сказала она. – Вы употребляете во зло мое снисхождение, мою слабость... Но я думаю иногда...

– Ты опять принимаешься за то же? Ведь ты меня простила... Слушай, в награду себе, ты увидишь, как я буду вежлива и любезна со всеми этими людьми в парадной гостиной. Ты сама меня не узнаешь. Обещаю тебе приятно улыбаться даже... твоим бенедиктинцам. Ты, кажется, мне сказала, что ждешь Жерома, эконома монастырского?

– Нет; по всей вероятности, сам господин приор захочет присутствовать при этом торжественном случае.

– Приор! Он строг меньше других, однако я люблю его больше, как ты думаешь, – продолжала она с притворным равнодушием, – он приедет один?

– Может быть, по обыкновению он возьмет с собой своего племянника, этого доброго мосье Леоне.

– Леоне! – повторила Кристина, вздрогнув. – Пойдем, пойдем, милая сестра! – прибавила она тотчас с живостью. – Если ты дашь охладеть моим добрым намерениям, я не ручаюсь ни за что.

Она хотела тащить урсулинку.

– Я иду, дитя мое, – сказала сестра Маглоар, свертывая свою работу, – но вы не можете явиться в этом костюме к благородным гостям, находящимся в замке. Ступайте в вашу комнату и позвольте, чтобы вас одели и причесали, как прилично девице вашего звания.

– Вот еще! – сказала мадмуазель де Баржак, состроив гримасу. – Позволить насыпать белой муки на волосы и нарядиться в это длинное платье с фижмами, которое мне прислали из Парижа! Я не хочу. Я не буду уметь ни говорить, ни ходить, ни двигаться. Мне так хорошо, потому что мне ловко; пускай меня берут такой, как я есть.

– Но...

– Черт побери! Зачем же ты, сестра Маглоар, также не переоденешься?

– Я, дитя мое, монахиня, и не могу без особенного позволения моей настоятельницы снять одежду моего ордена.

– Ну а я не хочу снять мою верховую одежду.

И упрямая девушка, надвинув шляпку на ухо, с лукавым видом направилась в залу такими быстрыми шагами, что урсулинка с трудом могла поспеть за ней.

Глава шестая

Наступала ночь, и многочисленные свечи освещали, вместе с огнем в большом камине, залу, в которой находились гости Меркоарского замка. Одни еще ели и пили за столом, на который слуги беспрестанно ставили новые кушанья; другие отдыхали перед камином; третьи, наконец, составляли там и сям одушевленные и веселые группы. Однако когда явилась мадмуазель де Баржак, все поспешили к ней. Кристине хотелось бы войти одной и неприметно, но де Меньяк не хотел лишиться такого превосходного случая исполнить свою обязанность в присутствии блестящего собрания. В дверях залы он схватил за руку свою молодую госпожу и, растопырив руки, с улыбкой на губах, на цыпочках повел Кристину с важностью, медленностью, с заученным уважением, которые должны были вывести из терпения раздражительного, избалованного ребенка.

Однако она перенесла лучше, чем можно было ожидать, комплименты и приторные ласки, которыми осыпали ее наперебой. Она позволяла себя целовать дамам, называвшим ее: «моя милочка, моя красавица»; она не перебивала пошлостей, которые говорили ей старые дворяне времен регентства и любезники марлийские и версальские. Она сказала даже несколько любезных слов некоторым гостям и поблагодарила всех присутствующих с вежливостью за услугу, которую они оказывали ей, освобождая ее земли от страшного жеводанского зверя, словом – она до того не походила сама на себя, что некоторые гости не узнавали странную девушку, о которой рассказывали такие необыкновенные вещи. Но никто не был более поражен этой внезапной переменой, как кавалер де Меньяк и сестра Маглоар; они стояли в нескольких шагах позади своей госпожи и любовались ею с восторгом и восхищением.

– Совершенство, сестра моя! – прошептал кавалер, нюхая табак.

– Ангел, кавалер! – сказала урсулинка, поднимая глаза к небу.

Они были менее довольны тем, что последовало за этим. Ларош-Буассо более всех ухаживал за мадмуазель де Баржак, которая приняла его с дружеской фамильярностью. Скоро, рассеянно взяв стул, она села между бароном и молодым человеком, щегольски одетым, с живым

взором, вкрадчивым обращением, который слыл за поверенного Ларош-Буассо и следовал за ним повсюду.

Молодой человек, который должен играть довольно важную роль в этой истории, звался Легри; он был сын очень богатого прокурора, который уже несколько лет назад сумел втереться в милость барона и давал ему денег взаймы. Без сомнения, Легри-отцу было это выгодно, и носились слухи, что он уже взял в заклад лучшую часть наследственного имения расточительного дворянина. Однако самые дружеские отношения существовали по наружности между Ларош-Буассо и обоими Легри, отцом и сыном. Этот последний, хотя низкого, и даже очень низкого происхождения, хотел втереться в высшее общество. Ларош-Буассо исполнил это желание и познакомил молодого мещанина с некоторыми дворянами, такими же развратными, как он сам, и неразборчивыми в выборе своих собеседников. По милости этого покровительства эти дворяне принимали Легри-сына на равной ноге, а так как он всегда проигрывал несколько луидоров в карты, одевался богато, не очень сердился на насмешки над его происхождением, его терпели в этих аристократических собраниях. Притом барон, глава и предводитель этих собраний, не позволял, насмехаясь иногда над своим протеже, чтобы другие позволяли себе эту же вольность, и никто не был довольно смел, чтобы подвергать себя вражде, которая была опасна, как всем было известно.

Искренно ли было участие Ларош-Буассо к сыну его заимодавца? В этом вообще сомневались. Одни уверяли, что Легри был для барона вроде шпиона, которому поручено наблюдать за его поступками. Другие уверяли, напротив, что Ларош-Буассо, действуя таким образом, имел единственной целью угодить бывшему прокурору и посредством сына выманивал у отца большие суммы. При этом мещанин играл роль друга так, что не оскорблял раздражительную гордость своего покровителя. Он угождал ему до раболепства. Ларош-Буассо не мог сказать ни слова, не мог сделать самого незначительного поступка, чтобы тот не расхвалил его до чрезмерности и не осыпал лестью. Сверх того, Легри был надежным и искусным поверенным во всех возможных поручениях, которые были бы противны деликатности менее преданного товарища. Стало быть, не было ничего невероятного, что подобный друг почти сделался необходим для человека с характером барона, и может быть, Ларош-Буассо имел к

Легри некоторую привязанность, если только барон Ларош-Буассо мог любить кого-нибудь, кроме самого себя.

Оба друга были разлучены несколько дней, но Легри считал бы себя обесславленным, если бы не участвовал в меркоарском собрании, и барон, который думал, что ему понадобится помощь его верного друга, позаботился пригласить его. Они встретились в замке, и Кристина де Баржак, столь любезная к барону, не могла не принять благосклонно Легри, который явился под его покровительством.

Разговор одушевлялся все более и более между этими тремя особами. Но ни кавалер, ни сестра Маглоар не были в восхищении от этого обстоятельства. В особенности Ларош-Буассо, со своей надменной наружностью, самоуверенным обращением, щегольским голубым бархатным мундиром с серебряными галунами, очень им не нравился. Длинное лицо кавалера как будто сделалось еще длиннее, а урсулинка, только что предававшаяся таким чудным мечтам, опять принялась жалобно вздыхать.

Оба незаметно приблизились послушать, что говорилось в этой отдельной группе.

– Мне стыдно думать, – продолжал барон, – что я, охотник такой ничтожный в сравнении с бывшими меркоарскими владельцами, буду распоряжаться охотой на волка в их поместье! Это кажется мне похожим на профанацию, и если бы ваше желание, так же, как и мой долг, не принуждали меня исполнить эту обязанность, я отказался бы из уважения к этим знаменитым охотникам, о которых так много было говорено.

Эта дань, возданная памяти ее родных, произвела сильное впечатление на Кристину де Баржак; ее глаза сверкнули необыкновенным блеском.

– Ах, как хорошо судите вы о моем возлюбленном отце и о моем превосходном дяде Гилере! – вскричала она. – При их жизни хищный зверь никогда не сделался бы опасен в наших лесах, как тот, который причиняет столько несчастий теперь; он был бы убит через двадцать четыре часа после своего первого злодеяния... Но, – продолжала она, преодолев свое волнение, – так как тех, о которых мы говорим, уже нет на свете, чтобы защищать свои владения, они не могут быть заменены более неустрашимым и искусным охотником, чем барон Ларош-Буассо.

Несмотря на приличие этого ответа, кавалер и урсулинка все менее и менее казались довольны своей воспитанницей, особенно же когда она прибавила:

– Впрочем, я, дочь и племянница этих знаменитых охотников, не останусь праздной, когда столько знатных особ оказывают мне услугу. Будьте уверены, господа, что завтра я вместе с вами буду разделять усталость и опасности... если опасности будут, – прибавила она, презрительно улыбаясь.

– Так следует говорить достойной дочери храброго графа де Баржака! – вскричал барон. – Ну, графиня, если вам угодно ехать с нами, позвольте начальнику охоты быть вашим кавалером на целый день и не оставлять вас ни на минуту.

– Очень охотно, барон, – возразила просто Кристина, – я думаю, что лучшее место будет возле вас.

– И я также, – сказал Легри, жеманясь, – я добиваюсь чести быть телохранителем графини де Баржак.

– Как вам угодно, мосье Легри, – равнодушно отвечала Кристина.

Де Меньяк, узнав распоряжение, лишавшее его на завтра обыкновенной должности, закусил губы, покачал головой и пробормотал сквозь зубы, так что его слышала только гувернантка:

– Ну, господа франты, мы еще увидим!

Между тем разговор сделался общим.

– Вы думаете, барон, что мы скоро разделаемся с этим проклятым животным, которое позволило себе поселиться в лесу нашей очаровательной хозяйки? – спросил граф де Лаффрена.

– Я в этом уверен, любезный граф.

– А если мой благородный друг барон утверждает это, – вмешался Легри, – в этом нельзя сомневаться.

– В охоте ни в чем нельзя быть уверенным, – возразила Кристина, – отец мой, бывший авторитетом в этом отношении, имел привычку это говорить.

– Графиня права, – перебил Ларош-Буассо, – никто не может знать заранее, как кончится охота. Однако мы ничем не будем пренебрегать для того, чтобы она имела желанный успех. Я привел Бадино, моего лучшего охотника, и сам намерен завтра осмотреть лес при первых дневных лучах. Не узнали ли о каком-нибудь новом злодействе этого животного после вчерашнего приключения?

– Я не знаю, – возразила Кристина де Баржак, – зверь все находится в Монадъере, в двух лье отсюда... Но, – прибавила она с легким беспокойством, – он может и теперь быть опасен, а я не вижу еще друзей, которых мы ожидаем.

Кавалер и урсулинка с живостью перешептывались между собой. Но прежде чем они успели сообщить свои замечания Кристине, Ларош-Буассо вскричал вдруг с насмешкой:

– Вы заставили меня вспомнить! Я не вижу еще здесь этих бедных фронтенакских бенедиктинцев, которых я оставил в Лангони в гостинице вдовы Ришар... Однако они должны были следовать за нами; уж не съел ли их волк, которого они так боялись?

– Святая Дева! Что он говорит? – прошептала урсулинка, сложив руки.

– Барон, – спросил де Меньяк, – вы говорите о почтенных фронтенакских бенедиктинцах, которые запоздали в дороге?

– Без сомнения! – отвечал Ларош-Буассо небрежным тоном. – Их было двое, молодой и старый; они должны были оставить Лангонь вскоре после меня. Право, смешно, если они заблудились в этом густом тумане и были принуждены ночевать в лесу. Если так, какую ночь проведут эти бедные бенедиктинцы! Они, верно, прочли *pater* и *ave*, чтобы очистить лес от всех ругательств, которыми его осквернили настоящие и прошлые охотники. Я бьюсь об заклад, что завтра, несмотря на их длинную одежду, их найдут в каком-нибудь гнезде сорок или белок!

Легри расхохотался.

– И, верно, волки окружают дерево, на котором они сидят, – сказал он с насмешкой.

Присутствующие расхохотались, но тотчас смолкли, приметив, что хозяйка нахмурила брови.

– Барон, – спросила она с дурно сдерживаемым волнением, – вы знаете этих двух бенедиктинцев, которых вы видели в Лангони, и можете их назвать?

– Кажется, один был Бонавантюр, приор аббатства, – сказал Ларош-Буассо равнодушно, – а другой... другой, если я не ошибаюсь, родственник, слуга, секретарь приора, что-то в этом роде.

– Нет сомнения, – вскричала Кристина, – это Леоне!

– Леоне? Да, в самом деле, кажется, так при мне называли этого молодого человека.

Кристина поспешно встала.

– Кавалер де Меньяк и сестра Маглоар, – сказала она, – распорядитесь, чтобы мои люди тотчас отправились отыскивать наших заблудившихся гостей; пусть осмотрят лес с факелами, пусть кричат, пусть трубят в рога... Нет, я сама лучше поеду верхом; прикажите Мориссо провожать меня на рыжем.

– Прекрасно, дитя мое, у вас доброе сердце! – прошептала урсулинка.

Присутствующие очень удивились перемене в молодой хозяйке.

– Право, графиня, – сказал Ларош-Буассо весело, – я не понимаю вашего великодушия. Что за беда, если эти бенедиктинцы ночуют на дереве? Это будет случаем для них размышлять и молиться, не рискуя ничем, кроме насморка.

– Молчите, барон, – перебила Кристина сухо, – я не могу позволить подобных шуток. Приор Бонавантюр – самый лучший, самый благоразумнейший из бенедиктинцев аббатства, и он всегда был добр ко мне. Племянник его, мосье Леоне, друг моего детства; я не утешусь, если с тем или другим случится несчастье... Как, мосье де Меньяк, вы еще здесь? – обратилась она к своему шталмейстеру.

– Я иду, графиня; но позвольте мне смиренно представить вам, что вам невозможно оставить таких прекрасных и благородных гостей и отправиться с нами в лес; это будет неприлично...

– Неприлично! Неприлично! – повторила гордая молодая девушка. – Вот вы выговорили ваше великое слово, кавалер... А разве мои распоряжения будут оспаривать? Разве я уже здесь не хозяйка? Но если мне отказываются повиноваться, я поеду одна...

– Графиня! – вскричал барон. – Позвольте мне проводить вас. Я часто отыскивал след оленей и косулей, – прибавил он вполголоса, – но никогда бенедиктинцев; это будет охота в новом роде.

– Я также прошу чести провожать мадмуазель де Баржак, – сказал Легри, по обыкновению взяв образцом и примером своего патрона Ларош-Буассо.

– И я также! И я также! – вскричали охотники со всех концов залы.

– Как вам угодно, господа, – сказала хозяйка, – таким образом, меня не будут упрекать, что я бросаю гостей... Но поспешим, становится поздно. Ночь темна, и я боюсь...

– Да будет с вами мир Господень! – раздался вдруг слабый голос в дверях.

Кристина де Баржак и следовавшие за ней остановились. Вошел приор Бонавантюр в довольно жалком виде, поддерживая бедного Леоне, который шел с трудом, завернутый в плащ пастуха.

Меркоарские гости вскрикнули от удивления, а некоторые от радости, потому что ночная прогулка не весьма им нравилась. Графиня де Баржак выказала живейшее удовольствие.

– Ах, мой преподобный отец! Вы ли это, наконец? – вскричала она, подбежав к путешественникам. – Будьте дорогими гостями в Меркоаре, вы и мосье Леоне. Мы начали очень тревожиться и хотели ехать... Но, боже мой! Что с вами случилось?

Кристина заметила расстроенный вид бедного бенедиктинца и бледность, уныние и слабость Леоне.

– Вы скоро это узнаете, дочь моя, – сказал приор, – но позвольте мне прежде посадить этого бедного юношу. Я не знаю, зачем привели нас сюда, помешали этому веселому собранию, вместо того, чтобы отвести нас в нашу комнату... Слава Богу! Он помог нам в минуту опасности!

Говоря, таким образом, он довел племянника до кресла, которое урсулинка поспешила подвинуть. Молодой человек, казалось, не столько страдал, сколько находился в замешательстве, и общее внимание, которого он был предметом, вызвало на его щеки мимолетный румянец. Этот румянец сделался еще заметнее, когда глаза его встретились с глазами графини де Баржак.

– Мосье Леоне, – вскричала Кристина, не будучи в состоянии преодолеть своего нетерпения, – что с вами? Вы ранены?.. Да, да, боже мой! Ваше платье разорвано... вы покрыты кровью!

– Это ничего, почти ничего, – возразил Леоне, усиливаясь улыбнуться, – простая царапина жеводанского зверя.

– Зверь! Зверь! Опять зверь! – вскричала Кристина, топнув ногой с каким-то отчаянием.

– Это чудо, как мы еще живы, дочь моя, – сказал приор, также упавший на кресло со стоном, – этого бедного мальчика чуть не

растерзал зверь.

– Леоне! Мой милый Леоне! Правда ли это? – спросила Кристина.

И все заметили, каким особенным тоном эта странная девушка, так плохо умеющая скрывать свои чувства, произнесла слова: «Мой милый Леоне!»

Молодой человек продолжал слабо улыбаться.

– Дядюшка преувеличивает, – пролепетал он, – завтра, вероятно, все пройдет.

– Этот зверь, – сказал барон презрительным тоном, – о котором столько говорят, решительно наносит более страха, чем вреда, и люди, которых он растерзывает, кажется, находятся в добром здравье.

Леоне не отвечал на это замечание и отвернулся, но приор с живостью сказал:

– А! Барон Ларош-Буассо, это вы? Ну, ваша надежда, когда вы оставили нас одних и безоружных в Меркоарском лесу, отчасти осуществилась... Да простит вам Бог ваш недостаток сострадательности!

– Это значит, без сомнения, что вы мне не прощаете? – спросил барон надменно. – Хорошо; я имею привычку ничего не бояться.

По настоятельным просьбам Кристины де Баржак Бонавантюр вкратце рассказал, как туман стал причиной, что они заблудились в лесу; как лошаки, испуганные внезапным жутким воем, поскакали сломя голову; как, наконец, Леоне был выбит из седла и неминуемо погиб бы, если бы Жан Годар не подоспел со своей собакой.

– Годар будет вознагражден! – вскричала Кристина де Баржак. – Слышите ли вы, кавалер? Я делаю его с этой минуты главным пастухом во всех моих поместьях. Но посмотрим вашу рану, Леоне; сестра Маглоар и я, мы знаем несколько хирургию, мы можем сделать первую перевязку, пока поедут за доктором в город.

– Как! Графиня, вы хотите сами, при всех...

– Полно ребячиться! Уж не принимаете ли вы меня за смешную жеманницу... Я этого требую!

В то же время с непреодолимым самовластием она раскрыла грубый плащ, в который был закутан Леоне. Бархатное платье, как мы знаем, было разорвано, и виднелось белое и нежное плечо юноши; когда сняли окровавленные платки, которыми была сделана первая

перевязка, кровь брызнула снова из широкой и глубокой раны, хотя, может быть, рана была не слишком опасна.

– Ужасная рана! – сказала Кристина, побледнев и преодолевая свое волнение. – Сестра Маглоар, скорее перевязку и холодной воды... Потом принеси мне корпии и нашего фамильного бальзама... Чего мешкают эти глупые служанки?.. Кожа ужасно расцарапана!

– Это? – решительно сказал барон, проскользнувший между любопытными и рассматривавший рану в свою очередь. – Это укусы большого волка? Клянусь честью дворянина, я не могу допустить ничего подобного... Такое животное, как жеводанский зверь, раздробит кости одним ударом челюсти и сделает на коже своими когтями две борозды в два дюйма глубины. А пусть-ка покажут мне здесь знак этих огромных зубов, этих железных когтей, которые сделали уже столько жертв в этом краю! Я ссылаюсь на всех охотников, слышавших меня, на всех, кто мог видеть страшные раны, которыми покрыты собаки после охоты за волком!

Подозрение, заключавшееся в этих словах, возбудило некоторое волнение в Леоне, несмотря на его слабость и страдания.

– Признаюсь, – отвечал он, – что, оглушенный моим падением, запутавшись в терновнике и в шипах, я не мог обернуться, чтобы увидеть...

– А-а-а! – перебил Ларош-Буассо. – Вы уже не так уверены... Притом, что это за волк, который днем сам объявляет о себе воем, прежде чем нападет? Это не может быть жеводанский зверь, который, по всем слухам, имеет привычку бросаться на свою добычу и уносить ее молча. Еще раз я обращаюсь к опытным охотникам, здесь присутствующим, вероятно ли, чтобы свирепое животное...

– Но когда так, барон, – возразил с нетерпением приор, – вы нам скажете, по крайней мере – вы столь опытны в подобных вещах, – какое неизвестное животное испугало наших лошаков и ранило этого несчастного ребенка? Рана существует, она не пригрезилась ему!

– Кто знает! – сказал с насмешкой Ларош-Буассо. – У страха глаза велики... Сломанная ветвь очень могла расцарапать таким образом белое плечико нашего юноши, и если уж надо приписать эту царапину какому-нибудь лесному зверю, я скажу, что это была дикая кошка, куница, волчонок, еще сосущий свою мать, но уж ни в каком случае не такой старый, огромный волк, как жеводанский зверь!

Это мнение, так ясно выраженное, возбудило прения между присутствующими, и они начали перешептываться с жаром. Даже сам приор поколебался в своем убеждении.

– Правда, – сказал он, – что ни я и никто не видел зверя, но мне кажется невозможным...

– Вы слышите, господа? – перебил барон с торжествующим видом. – Сознаются, что никто среди всеобщего страха не видел зверя... Я не требую ничего более. Решительно, преподобный отец и его племянник слишком поспешили представить себя страдальцами, и вся эта прекрасная история, как вы видите, оказывается простым падением с лошака!

Эти исполненные ненависти слова, хотя по наружности небрежные, заслуживали строгого ответа со стороны приора, но Бонавантюр только пожал плечами, бросив на Ларош-Буассо презрительную улыбку.

Между тем Кристина де Баржак не принимала никакого участия в этом разговоре; поглощенная попечениями, которыми окружала раненого, она даже, по-видимому, как будто ничего не слышала. Сама обмыв рану, она наложила перевязку, приготовленную сестрой Маглоар, очень опытной в подобных вещах. По окончании перевязки, Леоне хотел поблагодарить прелестную хозяйку, но или тайное волнение слишком растревожило его, или потеря крови возбудила в его организме пагубное расстройство, язык его запутался с первых слов, глаза закрылись и он лишился чувств.

Это происшествие взволновало все собрание, но никто не испугался так, как Кристина, которая, однако, была так мужественна и так не склонна к слабостям своего пола.

– Праведный Боже! Он умирает! – закричала она, – Неужели у него есть рана еще опаснее этой? Сестра Маглоар... преподобный отец... Помогите! Помогите! Он умирает!

Слуги прибежали в испуге, сами не зная, что они делают.

– Ба! Это только обморок, – спокойно сказал Ларош-Буассо, – спрысните его водой; обыкновенно это заставляет опомниться нежных щеголих.

Но, несмотря на обыкновенное попечение, обморок не проходил.

– Леоне! Мой бедный Леоне! – говорил приор со слезами на глазах.

– Леоне! Друг моего детства... мой возлюбленный брат! – звала Кристина, наклоняясь к нему.

Наконец эти дружеские слова как будто произвели благоприятную реакцию: молодой человек вздохнул и раскрыл глаза.

– Он жив! – вскричала Кристина.

Леоне в самом деле начал узнавать окружающих.

– Теперь надо перенести его в приготовленную для него комнату, – сказала урсулинка, – спокойствие и сон окончательно восстановят его здоровье.

– Да, да! – сказала Кристина де Баржак. – Этот шум, это движение должны тревожить его. Пьер, – обратилась она к сильному лакею, стоявшему возле дверей, – возьми мосье Леоне на руки и отнеси в зеленую комнату... Леонарда тебе посветит... Иди потихоньку; ты видишь, что он ранен!

Пьер повиновался; когда он с осторожностью приподнимал Леоне, тот болезненно вскрикнул. Кристина прыгнула, как пантера, и подняла руку, чтобы ударить неловкого слугу.

– Дурак! Осел! – закричала она. – Ведь я тебе говорила... постой! Я помогу тебе, и беда, если ты еще сделаешь какую-нибудь неловкость!.. Ты, Леонарда, ступай вперед.

Говоря таким образом, она обвила руками стан раненого и положила на свое плечо бледную голову Леоне. Она походила на мать, уносящую своего спящего ребенка.

Этот поступок, столь не согласовавшийся с принятым этикетом, изумил урсулинку и кавалера. Де Меньяк устремился к ней с мужеством отчаяния.

– Графиня, – сказал он, – подумайте, сделайте милость! Это неприлично... Позвольте, я сам...

Кристина не удостоила его ответом, но, обернув голову к своему несчастному советнику, бросила на него такой повелительный, такой угрожающий взгляд, что бедняга окаменел.

– Это похищение! – сказал Ларош-Буассо, плохо скрывавший свою досаду под принужденной веселостью. – Это совершенно похищение!.. Ну, господин приор, что вы думаете о вашей робкой воспитаннице?..

– Не имейте дурных мыслей, господа, – сказал бенедиктинец, обращаясь к присутствующим, – эти бедные дети невинны, как Адам и

Ева, только что созданные!

Он сделал знак сестре Маглоар, и оба они поспешили догнать молодых людей.

Через час гости Меркоарского замка разошлись, и барон Ларош-Буассо задумчиво прохаживался по своей комнате, размышляя о происшествиях этого дня.

– Да, да, – бормотал он, – этот молокосос любит графиню де Баржак! Я подозревал это утром, когда увидел, с каким жаром он говорил о ней; они виделись в детстве, и любовь, которая живет противоположностями и контрастами... Но может ли она любить его? В этом-то и затруднение. Она почти компрометировала себя для него сегодня, и со стороны другой это неблагоразумное поведение было бы значительно, но с этим диким существом, всегда доходящим до крайностей в своих впечатлениях, как и в своих желаниях, можно ли быть уверенным в чем-нибудь? Если, однако, она его любит? Это нелепо, стало быть, это возможно. В таком случае подобная любовь не могла бы избежать пронизательности хитрого приора. А приор благосклонно смотрит на эту рождающуюся короткость, и можно подумать даже, что он покровительствует ей. Неужели он замышляет... Черт побери! Может быть, я напал на след открытий.

Он ускорил шаги, как бы помогая усилиям своего разума.

– Нет более сомнений, – продолжал он, наконец, ударив себя по лбу, – эта политика бенедиктинцев, терпеливая и извилистая, как змея... Этот честолюбивый приор задумал осчастливить своего родственника, отдав ему руку богатой наследницы. Он всемогущ в Фронтенаке, он опытен в людях, он удивительно хитер, он должен употреблять разные проделки, чтобы достигнуть этого результата, и он раздувает взаимную привязанность этих детей... Черт побери! Если так, а это так, я буду иметь дело с сильными противниками и могу выпутаться только мастерским ударом... ударом смелым, быстрым, который бы поразил как гром!

Он сделал еще несколько шагов в молчании; скоро горькая улыбка заиграла на его губах.

– Придет и моя очередь! – продолжал он. – Кристина приняла меня сегодня с удовольствием, дружелюбием, с отличием, которые были замечены всеми и доставили мне много завистников. Отчего весы не склонятся опять на мою сторону? Наступит благоприятный

случай, а он наступит, если я захочу... Да, нечего колебаться, я отниму от них это очаровательное создание, столь обольстительное в своих капризах и причудах... Она оказывает мне неограниченное доверие, она, может быть, даже меня любит... Притом, я сказал, она должна принадлежать мне!

Глава седьмая

На другой день при первых лучах рассвета огромная толпа стеклась в Меркоар. Объявление, оглашенное в провинции, огромная награда, обещанная счастливому охотнику, который убьет жеводанского зверя, а более всего горячее желание освободить страну от чудовища, которое причиняло столько несчастий, были причиной этого необыкновенного стечения. По рассказам историков, более тридцати жеводанских, руэргских и овернских приходов поднялись массой, чтобы присутствовать при этой охоте. Целые толпы непрерывно прибывали под предводительством своих суверенов или даже своих священников; в этих группах виднелись даже женщины и дети. Из этих охотников одни имели ружья, пистолеты, мушкетоны – эти добивались должности стрелков в охоте. Другие, которых было гораздо больше, имели только палки, чтобы срубить хворост, или бычьи рога, трещотки, трубы, барабаны и даже негодные к употреблению котлы – все орудия, могущие производить адский шум; эти люди должны были удовольствоваться более скромными обязанностями загонщиков. Впрочем, охотники той и другой категории, повинясь строгому приказанию Ларош-Буассо, который в качестве начальника волчьей охоты должен был командовать всеми маневрами, хранили молчание в ожидании, когда наступит час действия; никакой крик, никакой звук рога или лай собак не пробуждали хищных зверей в глубине леса.

Можно понять без труда, что такая значительная толпа не нашла убежища ни в меркоарской деревне, ни в замке. Несколько дворян только приглашены были присоединиться к знатным особам, получившим гостеприимство мадмуазель де Баржак. Другие охотники расположились станом или под большими деревьями в аллее, или на эспланаде, находившейся перед замком. Лесничие, егеря в голубых мундирах расхаживали посреди этой пестрой толпы для поддержания порядка. Так как эти люди, по большей части пришедшие издалека, принесли с собой провизию, завтрак был накрыт на площадке, и все завтракали весело и с аппетитом.

Погода была теплая, но туманная, и солнце с трудом пробивалось сквозь туман; формы самых близких гор едва можно было различить; а это обстоятельство могло сделать охоту неудачной в том отношении, что позволило бы, может быть, волку укрываться от глаз стрелков. Однако, ни в чем не отчаявшись, каждый хвалился подвигами, которые намеревался совершить, если б случай поблагоприятствовал ему; все охотники, одушевляемые рассказами об ужасах чудовища, с чрезвычайным нетерпением ждали приказа отправиться в путь.

Но время проходило, а приказание не являлось. Это бездействие тревожило наименее опытных, неспособных понять, что успех атаки зависел от первоначальных операций. Ларош-Буассо уехал с утра с искусными охотниками удостовериться, в Меркоарском ли лесу находится еще зверь, и узнать, в какой части леса укрылся он при наступлении дня. Но ни барон, ни те, кто сопровождал его, еще не являлись, а пока они не возвратятся, невозможно было предпринять что-нибудь, потому что рисковали бы компрометировать результат предприятия.

Наконец к девяти часам, в ту минуту как начинали думать, что охотников растерзал ужасный зверь, небольшая группа из трех или четырех человек, пешком, из которых один вел великолепную собаку, вышла из леса и направилась к толпе. Тотчас все засуетилось: узнали самого начальника волчьей охоты по его блестящему мундиру. Его окружили, его осыпали вопросами. Нашел ли он зверя? В какой части леса спрятался он? Охота должна ли иметь успех? Но барон не имел ни охоты, ни времени отвечать; он удовольствовался тем, что отрывисто отдал приказания егерям и лесничим, которые тотчас стали передавать их охотникам. Как только все были на ногах, Ларош-Буассо, не обращая внимания на поклоны и знаки уважения, которые ему оказывали, быстро отправился к замку.

В эту минуту благородные меркоарские гости сидели за завтраком. Большие столы были расставлены в столовой и в зале; охотники, уже в охотничьих костюмах, одни стоя, другие сидя, шумно отдавали честь завтраку. Кристина де Баржак, все в своей амазонке, беспрестанно переходила от одного стола к другому, к великому отчаянию кавалера де Меньяка и сестры Маглоар, которые не успевали следовать за ней. Кристина, казалось, гордилась и была счастлива всем этим движением, всем этим шумом. Она разговаривала,

смеялась, ее румяное личико выражало самую чистосердечную веселость. Она, по-видимому, уже не помнила о бедном раненом молодом человеке, который за несколько часов перед этим возбудил в ней такой сильный испуг, и которого она несла на своих руках; однако она обнаруживала какое-то замешательство, когда намекали на ее быстрый уход в прошлый вечер.

Как только явился барон де Ларош-Буассо, весь в поту и в одежде, влажной от утренней росы, взоры всех обратились к нему, все в один голос спрашивали его.

– Приятное известие, очаровательная хозяйка! – вскричал он, поклонившись Кристине, которая подошла с таким же любопытством, как и другие, – приятное известие, господа охотники!.. Вам остается десять минут, чтобы закончить завтрак, взять ружья и отправиться на ваш пост в Сожженный лес.

– Вы узнали, где зверь? – спросили все с поспешностью.

– С помощью Божьей и святого Губерта, покровителя охотников, – продолжал барон, – в Сожженном лесу я заметил пребывание волка, старого и огромной величины. Удостоверившись, что зверь не выбежал оттуда, я молча велел окружить кусты, и теперь охотники, осматривающие лес, идут в ту сторону, где мой первый егеря Ларамэ расставит их по местам... а мы, как я уже вам говорил, должны через десять минут находиться на наших постах, потому что испуганный зверь успеет ускользнуть от нас прежде, чем мы будем иметь время броситься за ним.

Воскликания и поздравления приняли это известие, большая часть присутствующих охотников тотчас побежала на назначенный пост, надеясь, без сомнения, что те, кто первым поспеет, займут более выгодные места. Барон же, как человек, понимающий цену времени, протянул руку через голову одного упорного гостя, схватил кусок хлеба и ветчины и начал завтракать стоя, рассеянно отвечая на вопросы, которыми его осыпали. Когда этот военный завтрак приходил к концу, Кристина подошла, держа в руке рюмку мускат-люнеля.

– Вы позволите хозяйке предложить вам выпить вина, любезный барон? – сказала она, подавая ему рюмку с улыбкой. – Вы уже порядочно трудились для нее сегодня утром, а день будет трудный, я думаю.

Ларош-Буассо низко поклонился и, отвечая на вежливость Кристины, опорожнил рюмку разом.

– Другой сказал бы, что наша любезная хозяйка хочет напоить своих гостей любовью и вином, – отвечал он, – но она не позволяет подобных любезностей; я лучше спрошу ее, помнит ли она свое вчерашнее обещание?

– Еще бы! Помню ли я? Разве не моя обязанность, как хозяйки этого поместья, следовать за начальником охоты? Я буду с вами, барон, и не оставлю вас.

Ларош-Буассо был восхищен этим обещанием, исполнявшим его тайные желания; но он позаботился не высказать этого.

– Графиня, – отвечал он, – мой пост всегда будет впереди первой линии стрелков; там несчастья случаются нередко, но я постараюсь предохранить вас от всего. Притом, – прибавил он с насмешливой улыбкой, – вы, без сомнения, будете находиться под защитой вашего телохранителя.

И он движением головы указал на кавалера де Меньяка, который прямо и холодно стоял на своих длинных ногах в четырех шагах позади молодой госпожи.

– Не нужно мне такого телохранителя, – возразила Кристина шепотом, сделав гримасу.

Ларош-Буассо подмигнул, как бы намереваясь сыграть шутку с докучливым, а Кристина одобрила его улыбкой.

– Ну, графиня, – продолжал барон небрежным тоном, – вы ничего не говорили об этом нежном ягненочке, который так счастливо избавился от волчьих зубов и который, кажется, внушает вам такое сострадание... Каков он сегодня?

– Я... я не знаю, – пролепетала Кристина, внезапно вспыхнув.

– А я думал, что вы поспешите узнать об его здоровье. Вчера вы обращались с ним с ласковостью, возбудившей нашу зависть... Ей-богу! Можно согласиться быть растерзанным не только волком, но и всеми аравийскими львами, чтобы положить на минуту свою голову на ваше плечо!

– Я вас не понимаю... я не помню, что случилось: вид крови отуманил меня... Но вы заставили меня вспомнить, что сегодня я не осведомлялась о здоровье этого бедного раненого; да, точно, посреди таких забот я забыла о нем, совершенно забыла!

Говоря таким образом, она вертелась направо и налево со смущенным видом, чтобы избежать пронизательного взгляда своего собеседника.

В эту минуту приор Бонавантюр входил в залу, где находились только несколько дам и гостей, слишком чувствительных к привлекательностям завтрака. Приор с помощью сестры Маглоар и служанок исправил беспорядок в своей одежде; кроме легкой бледности, напечатленной на его доброжелательных чертах, ничто в его наружности не обнаруживало вчерашней усталости и волнений.

Кристина подбежала к нему.

– Здравствуйте, преподобный отец, – сказала она, – я вижу с удовольствием, что вы отдохнули... Но вот барон Ларош-Буассо желает узнать о здоровье вашего родственника, а я ничего не могу сказать.

– Если этим внезапным участием он хочет загладить свои вины против моего племянника и меня, – отвечал сухо приор, – я благодарю барона. Кроме кратного пароксизма лихорадки, состояние этого бедного мальчика очень улучшилось, и доктор уверяет, что через несколько дней все пройдет... Но вы, графиня, – отвечал он, кротко обращаясь к графине, – вы должны были знать эти благоприятные известия: сестра Маглоар, приходившая уже три или четыре раза в комнату больного, должна была сказать вам.

– Разве я обращаю внимание на слова сестры Маглоар? – возразила с нетерпением молодая девушка.

– Напрасно, графиня, потому что сестра Маглоар благоразумная и скромная особа и любит вас от всего сердца... Но мне показалось, что я слышал голос ваш сегодня в галерее перед комнатой Леоне. Кто-то дожидался сестру Маглоар каждый раз, как она выходила оттуда, и осведомлялся с участием...

– Это была не я, не я, – возразила Кристина, – но пойдемте же, барон, ждут только нас. Я сейчас приготовлюсь и приду к вам.

Она поклонилась и убежала, как бы обрадовавшись, что может избавиться от нравственной пытки.

Барон и приор остались вдвоем, отец Бонавантюр в некоторой задумчивости, а барон лучезарный и торжествующий.

– Ну, мой преподобный отец, – начал он насмешливым тоном, – ветер совершенно переменялся со вчерашнего вечера... Женщина

часто изменяется, как говорит Франциск I.

– Сумасброд тот, кто доверяется ей, – возразил бенедиктинец с улыбкой, оканчивая поговорку, – уверены ли вы, барон, что ветер переменялся?

Ларош-Буассо задумался в свою очередь.

– Какую роль играете вы здесь? – спросил он, наконец, с гневом.

– Смиренного орудия Провидения, орудия, которым Господь хочет защитить чистых и простых сердцем против злых и гордых!

И он ушел к своему возлюбленному раненому. Ларош-Буассо следовал за ним глазами, качая головой.

– Может быть, он прав, – прошептал он, – может быть, действительно эта внезапная перемена не имеет другой причины, кроме реакции преувеличенной стыдливости против вчерашних преувеличенных демонстраций... Решительно, не надо терять времени и скрывать свою игру.

Он хотел выйти, когда заметил в углу залы, тогда почти пустой, приятеля своего Легри, который, казалось, ожидал его.

– Легри, – сказал он шепотом, – принесли вы мне двести пистолей, которые мне нужны для раздачи наград егерям и лесничим?

– Любезный барон, – отвечал сын ростовщика с замешательством, – я должен вам признаться, что мой отец...

– Скрюга! – перебил Ларош-Буассо с досадой.

– Ради Бога не сердитесь! Вы так много уже должны ему... Но если он не хочет, друг мой, разве я не всегда к вашим услугам? Отец мой дал мне для моих мелочных расходов сорок луидоров, которые я охотно отдаю вам.

– Хорошо, я принимаю, – сказал Ларош-Буассо с легкой гримасой презрения, – я принимаю, Легри; отдайте эту сумму моему егерю Ларамэ, и я возвращу вам в первый раз, как мне посчастливится в игре. Я должен признаться, что вы малый не злой, Легри, и ни в чем не похожи на вашего... Ну, я дам вам новое доказательство доверия, попросив у вас еще услуги.

– Говорите, любезный барон, о чем идет дело?

– Вы обязались, не правда ли, беспрестанно находиться возле графини де Баржак во время охоты?

– Правда, и это честь...

– От которой вы откажетесь. Прошу вас, напротив, держаться сегодня как можно дальше от нашей прекрасной дикарки и от меня.

– Если вы требуете...

– Это еще не все: вам надо еще не допустить этого несносного кавалера де Меньяка и всякого другого быть третьим лицом между графиней де Баржак и мной. Обещаете ли вы мне это, друг мой?

– Вы от меня требуете настоящей жертвы, Ларош-Буассо, потому что наша хозяйка – восхитительное существо, но я принесу себя в жертву в угождение вам... Но, берегитесь, любезный барон; хотя я не знаю ваших намерений, мне кажется, что вы затеваете опасное дело... Графиня де Баржак окружена могущественными людьми, верными слугами. Этот кавалер де Меньяк особенно, с его угрюмой физиономией и смешными манерами, не допустит шуток, и если он будет иметь подозрение...

– Для этого-то мне и нужна ваша помощь. Вы мне давно доказали вашу дружбу, Легри, и я знаю, как ваш ум находчив на выдумки; я полагаюсь на вас, вы займете этого цербера во время охоты, и уверен, что моя надежда не будет обманута.

Эта лесть, ловко рассчитанная, имела целью воспламенить усердие мещанина во дворянстве; поэтому Легри, несмотря на свое нежелание сначала, обещал все, чего от него хотели, и друзья расстались.

Через несколько минут Ларош-Буассо и графиня де Баржак сидели на лошадях на дворе замка – он на прекрасном коне лимузинской породы, она на своем любимце Бюше. У Кристины висел через плечо щегольской карабин с золотой насечкой, принадлежавший ее отцу. Барон, кроме охотничьего ножа в голубых бархатных ножнах, усеянных серебряными волчьими головами, был вооружен большим карабином, еще более замечательным своим качеством, чем богатством украшений. Отдан был приказ, чтобы все охотники шли пешком к Сожженному лесу, кроме начальника над волчьей охотой и хозяйки замка; но и они должны были сойти с лошадей, как только приблизятся к стрелкам, чтобы не допустить никакого несчастья. Это распоряжение очень расстраивало бедного кавалера де Меньяка, который, по причинам ему известным, очень желал бы не терять из виду свою прелестную и неблагоразумную госпожу. Когда она уезжала

с начальником волчьей охоты, он подбежал с испугом, с тростью в руке, и спросил плачевным, почти отчаянным тоном:

– Графиня, где должен я соединиться с вами?

– Право, я не знаю, – отвечала Кристина, с трудом сдерживавшая свою нетерпеливую лошадь, – барон скажет вам.

Кавалер обратился с тем же вопросом к Ларош-Буассо, который рассеянно отвечал ему:

– Где-нибудь у Сожженного леса; везде, где встретится надобность.

Этот ответ не удовлетворил де Меньяка, и он хотел настоять, чтобы получить более определенные указания, но ему не дали времени. Барон сделал знак Кристине, и оба поскакали в галоп, слегка поклонившись де Меньяку, и достойный почтенный шталмейстер имел огорчение слышать, как шалунья насмешливо захохотала.

Бедняга вздохнул, однако не лишился мужества и решился употребить все свои усилия, чтобы поскорее догнать беглянку. Он отправлялся уже в путь с этим намерением, когда Легри, щегольски одетый охотником, с ружьем на плече, подошел к нему.

– Кавалер, – сказал он вежливо, – вы, без сомнения, спешите так же, как я, догнать нашу благородную хозяйку и начальника охоты? Мы непременно найдем их у Сожженного леса; но так как я не знаю здешнего края и легко могу заблудиться в этом огромном лесу, не сделаете ли вы мне честь отправиться вместе со мной на место сборища?

У Меньяка были свои причины не доверять Легри: он знал, что Легри предан Ларош-Буассо, но так как это предложение было весьма естественно, он отвечал церемонным тоном:

– Честь будет на моей стороне. Я к вашим услугам; пойдемте.

И, чтобы подать пример, он пошел вперед, делая огромные шаги.

Они добрались до леса, в котором все дороги, все тропинки были знакомы де Меньяку. Уже большая часть охотников были на месте, где должна была происходить охота; встречалось небольшое число отсталых, и так как всем предписано было совершенное молчание, то Меркоарский лес казался совершенно пустым.

Переход был продолжителен, а кавалер, несмотря на свое усердие, не имел уже сил молодости; поэтому его походка скоро замедлилась. Легри, подстерегавший случай, старался завязать продолжительный

разговор. Сначала Меньяк остерегался и отвечал с ледяной вежливостью; но в его спутнике, как мы знаем, не было недостатка ни в хитрости, ни в упорстве, и он нечувствительно заставил добряка сделаться общительнее.

Они вошли в узкую и темную дубовую аллею, куда солнце, казалось, не проникало никогда, когда Легри сказал самым вкрадчивым тоном:

– Право, кавалер, я всегда удивлялся, что такой знатный дворянин, как вы, бывший офицер королевской армии, мог принять такую низкую должность, какую бы занимаете в замке Меркоар.

– Низкую должность! – повторил кавалер, вдруг остановившись и приосанившись. – Что вы понимаете под этими выражениями, не совсем приличными? В чем мое настоящее положение ниже дворянского звания? Разве я не имею неограниченной власти над прислугой замка? Есть ли хоть один человек на всем пространстве этих владений, который осмелился бы говорить со мной непочтительно? Что же касается моей обязанности относительно графини де Баржак, разве унижительно служить молодой знатной девице, которая всегда показывает ко мне дружбу и уважение? Честное слово, молодой человек, если бы у вас было хоть сколько-нибудь благородной крови в жилах, я научил бы вас иметь ко мне уважение!

Легри почувствовал, что он сбился с пути, и поспешил успокоить раздражительного шталмейстера.

– Вы меня не поняли, милостивый государь, – сказал он льстиво, – Богу известно, что у меня и в мыслях не было унижать кавалера де Меньяка, только я не мог объяснить себе, каким образом, так долго участвуя в войне и пожиная лавры в фландрских кампаниях, вы, один из храбрейших воинов Морица Саксонского, могли привыкнуть к спокойной жизни в этом замке. О вас часто говорят в других местах, кавалер де Меньяк, и мне известно, как вы храбро держали себя в сражении при Фонтену двадцать лет тому назад.

Это сражение при Фонтену, упомянутое Легри, было, как всё знали в Меркоаре, слабой струной кавалера, который, столь молчаливый обыкновенно, всегда охотно распространялся об этой эпохе. Де Меньяк задрожал при этом имени, черты его внезапно разгладились и он отвечал:

– В таком случае мне очень жаль, что ошибка... В нашей фамилии у всех голова горячая; на этот раз я был не прав, я в этом сознаюсь... Да, молодой человек, вам сказали правду: я был при Фонтенуа, и не многие видели то, что видел я, потому что это сражение было ужасное, и тех, которые участвовали в нем, осталось теперь уже немного.

В то же время он начал нескончаемый рассказ о маршах и контрмаршах французов до сражения, о храбрости и искусстве Морица Саксонского, о решительной роли, которую играл королевский дом в выигрыше сражения. Достославная эпопея далеко еще не приходила к концу, когда они дошли до прогалины; несколько человек, вооруженных ружьями, спрятались за деревьями; это была линия стрелков.

Тотчас кавалер перестал говорить и думал только о своей обязанности к своей госпоже. Когда он отыскивал глазами, у кого бы ему спросить, лесничий, по-видимому, имевший власть в этой части леса, вежливо приблизился.

– Господа, – сказал он шепотом, – вам не следует стоять на виду; вы можете потревожить зверя, который спрятался в этой чаще.

– Хорошо, хорошо, – отвечал кавалер, отступая несколько шагов, – мы ищем графиню де Баржак и барона де Ларош-Буассо: где они теперь?

– Они сейчас проехали лес и должны быть у Четырех Углов.

Де Меньяк, сделав знак Легри, хотел отправиться на назначенное место, когда лесничий остановил его.

– Не сюда, кавалер; вы расстроите стрелков и рискуете получить пулю... Барон решительно запретил переходить через эту границу: вам надо идти через Красный Холм.

Де Меньяк подавил вздох; но он слишком хорошо понимал благоразумие этих распоряжений для того, чтобы нарушить их, и, воротившись назад, пошел по указанному направлению.

Обход был довольно длинен. Через минуту Легри спросил тоном просьбы:

– Разве вы не будете продолжать ваш рассказ, который так сильно заинтересовал меня, кавалер? Вы остановились на том, когда ваш наваррский полк приготовлялся атаковать пост у ветряной мельницы.

Получив напоминание о своих подвигах, кавалер продолжать свой рассказ. Но он был теперь рассеян, озабочен, беспрестанно

осматривался вокруг и часто останавливался, чтобы прислушаться. Это развлечение было причиной, без сомнения, что он запутался в бесчисленном множестве бесполезных подробностей; но неприятель все еще держался, когда оба охотника дошли до перекрестка, который назывался Четырьмя Углами.

Там они опять нашли линию стрелков. В самом перекрестке несколько слуг стерегли лошадей барона и графини де Баржак; но начальник охоты и хозяйка отправились пешком, по словам слуг, уже более пол часа.

– В какую сторону они повернули? – спросил кавалер.

– Право, я не знаю, – отвечал егерь, в тоне которого было что-то насмешливое. – Мне показалось, однако, что они поднимались на гору Монадьер.

Кавалер со вниманием взглянул в ту сторону; на боках горы деревья становились редки, а на вершине совсем прекращались; она была увенчана крутыми скалами. К несчастью, белое неподвижное облако закрывало верхнюю часть горы и не позволяло различать человеческих фигур на этом расстоянии.

– Гм! – сказал Легри кавалеру после минутного наблюдения. – Я думаю, что нашим охотникам не худо бы поторопиться... Тучи, собирающиеся на горе, возвещают непременно грозу к вечеру.

Но кавалера не тревожили подобные признаки; у него была другая забота. Он не знал, в какую сторону направить свои поиски, когда с горы вдруг раздался выстрел на самом рубеже белого облака.

– Это сигнал, – сказал егерь вполголоса, – это выстрелил барон... Теперь будьте внимательны, сейчас начнется охота.

В самом деле, из глубины долины скоро поднялся шум, еще отдаленный, но странный, дикий, который все увеличивался и, наконец, принял страшные размеры. Охотники отправились выгонять зверя из чащи, в которую он запрятался, и гнать его к линии стрелков, менее шумной, но более грозной.

Стрелки, держа настороже глаза и уши, приложив палец к курку ружья, прятались молча за кустами и стволами деревьев; только кавалер и Легри остались посреди прогалины. Егерь сказал им с нетерпением:

– Вы не можете оставаться здесь, господа; увидев вас, волк, может быть, решится воротиться в лес. Мы имеем дело с хитрым животным,

которое знает все тонкости своего гадкого ремесла; спрячьтесь же или...

– Мы уходим, – сказал Меньяк, – я заметил то место на горе, откуда барон де Ларош-Буассо подал сигнал, и я знаю, где должен отыскивать мою молодую госпожу. Вы пойдете со мной, мосье Легри, или хотите остаться здесь и попробовать счастья, выстрелив в страшного жеводанского зверя?

Легри имел сильное искушение; но, вспомнив настоятельные просьбы друга своего, барона, он отвечал:

– Я не оставлю вас; однако не лучше ли будет...

Повелительное движение егеря прервало их разговор, и они поспешили войти в лес.

Они пошли по маленькой тропинке, которая извивалась на вершину горы Монадьер. Мало-помалу лес делался реже вокруг них, по мере того как тропинка делалась круче и утесистее. Высокая дубрава заменилась подростом, подрост – кустарником и хворостом, и, наконец, путешественники дошли до открытого пространства, откуда могли видеть всю округу на несколько лье. Под ними горы и долины были закрыты роскошными листьями; над головами их возвышалось, как купол, белое и светлое облако, сквозь которое слабо виднелся неправильный и зубчатый хребет горы Монадьер.

Пока они поднимались на гору, шум внизу продолжался. Время от времени он делался не так силен; без сомнения, тогда бедные охотники, прочесывавшие лес, забившись в кусты, имели менее свободы предаваться очарованиям музыки; но скоро шум начинался опять с новой силой, будто происходила адская охота, которая, по народному преданию, слышится в бурные ночи в больших лесах. От этого зловещего баса отделялись соло котлов, дуэты бычачьих рогов; тут могли оглохнуть даже глухие. Зато со стороны стрелков все оставалось спокойно и безмолвно; не раздавалось ни одного ружейного выстрела, ни малейшего крика. Без сомнения, зверь, если только он не убежал дальше, угадывал с инстинктом, общим диким зверям, тактику своих врагов и хитрил, чтобы не подвергнуться их убийственным пулям.

Де Меньяк и Легри остановились на минуту перевести дух на маленькой площадке, покрытой вереском и черникой; эта площадка находилась почти на две трети горы. Тут начиналось облако, о котором

мы говорили и к которому беспрестанно присоединялись широкие полосы тумана, выходявшего из нижних ущелий.

На четверть лье ниже был крайний пункт леса, и виднелся, притаившись в куче дрова, последний стрелок линии. Кроме этого единственного неподвижного стрелка, на горе не было никого; никак нельзя было догадаться, в какую сторону направились барон де Ларош-Буассо и графиня де Баржак.

Вдруг слабый звук человеческих голосов раздался из тумана. Кавалер с живостью обернулся и, указывая на склон горы, несколько выше того места, где они находились, он сказал поспешно:

– Сюда! Я забыл овраг Вепрей, где находится хижина Жанно... Мы найдем их там, потому что я услышал голос моей госпожи.

И он начал подниматься на гору со всей скоростью своих больших ног.

– Куда вы меня ведете? – спросил Легри, с трудом поспешавший за ним.

– Вы увидите... Они там, говорю я вам.

Скоро они очутились на краю оврага, который снизу мало был виден, но теперь разверзлся под ногами их как бездна. Он образован дождевой водой, скатившейся с вершины Монадьер, и дно его было устлано обломками скал. Однако покатость его склонов, поросших вереском, позволяла спускаться без затруднения. Легри в особенности удивился, что человеческое существо осмелилось устроить себе жилище в этом проклятом месте. На противоположном берегу оврага вход в пещеру, вырытую под скалой, закрывался оградой из древесных стволов, в которой сделаны были дверь и два маленьких отверстия, служившие окнами. Ничто не могло быть печальнее этого жилища, устроенного так далеко от мест, посещаемых людьми, в области бурь и хищных птиц.

Когда Легри рассматривал это странное сооружение, более похожее на берлогу медведя, чем на жилище человеческого существа, звук голосов, поразивший его, послышался снова, и на этот раз он как будто выходил из таинственного жилища.

– Я не ошибся, – скачал кавалер, – они здесь, я в этом уверен... Поскорее! Точно, будто зовут!

И, взяв Легри за руку, он увлек его на травянистый скат оврага. Они уже дошли до дна, когда быстрый топот поколебал землю возле

них. Прежде чем они успели обернуться, огромное животное, с разверстой пастью, с пылающими глазами, устремилось на них, опрокинуло их с глухим ворчанием, потом, не сделав им никакого другого вреда, продолжило свой бег к окончности оврага. Как только зверь скрылся из вида, страшный хохот раздался неизвестно откуда, как будто какой-нибудь злой демон радовался их несчастному приключению.

Но только несколько позже кавалер и Легри вспомнили это последнее обстоятельство. Оглушенные быстрым нападением зверя, убежище которого они невольно нарушили, они лежали на земле, не думая приподняться. Наконец они решились, и Легри, первым возвратив присутствие духа, поднял свое ружье, отлетевшее за десять шагов.

– Это жеводанский зверь! – сказал он голосом, заглушаемым волнением. – Будем защищаться!..

– Да, это действительно был зверь, – сказал кавалер, поднося руку к своему ушибленному лицу, – черт его побери!.. Славную оплеуху дал он мне!.. Но каким образом ни одного охотника нет здесь, чтобы преградить ему дорогу?

Он был прерван пронзительными криками, раздававшимися из хижины, о которой мы говорили. Де Меньяк и товарищ его вздрогнули.

– Это голос моей госпожи! – вскричал кавалер.

– А я узнал голос барона, сказал Легри. Дверь хижины вдруг растворилась и графиня де Баржак показалась на пороге. Кристина была без шляпы, с растрепанными волосами, с раскрасневшимся лицом. Она держала в руке охотничий нож, обагренный кровью.

Очутившись лицом к лицу с Меньяком и Легри, она не выказала ни удивления, ни страха, но посмотрела на них с мрачным видом и сказала:

– Вы пришли слишком поздно... Я убила его... Войдите туда; вы там найдете вашего прекрасного охотника.

Она бросила окровавленный нож к ногам двух спутников, оледеневших от ужаса, и побежала с горы как сумасшедшая.

Глава восьмая

Посмотрим теперь, что произошло между бароном Ларош-Буассо и графиней де Баржак, когда они вместе выехали из замка Меркоар.

Кристина, проезжая на своей ретивой вороной лошадке по длинным лесным аллеям, не могла сдержать радости. Она воображала, что воротилась в счастливые времена своего детства, когда отец ее и дядя предавались в этом самом лесу шумным удовольствиям охоты. Ее смуглое личико блистало румянцем здоровья, розовые ноздри расширились, как бы для того, чтобы лучше вдыхать свободный и чистый воздух леса. Отсутствие ментора еще увеличивало ее восхищение; она громко хохотала над тем, как она избавилась от кавалера де Меньяка. Она без принуждения предавалась всем причудам своего прихотливого характера. Она то опускала поводья маленького Бюша, который с гривой, развевавшейся по ветру, скакал во весь опор, то принуждала его подпрыгивать на одном месте и грызть серебряные удила. Своим хлыстом она хлопала по низким ветвям деревьев или по цветам муравы. Когда встречала на дороге какого-нибудь охотника, она приветствовала его веселым словом или улыбкой; счастье как будто изливалось из всего ее существа.

Щеголь, провожавший ее, был для нее олицетворением всей этой свободы, всего этого волнения, всего этого удовольствия. Ларош-Буассо казалось, что Кристина никогда не оказывала ему столько благосклонности. Она одобряла его планы, хвалила его остроты; сестра не могла бы поступать иначе с возлюбленным братом. Они ехали рядом, обмениваясь друг с другом шутивными замечаниями; прохожие, свидетели этого очаровательного согласия, выводили самое благоприятное заключение для скорой перемены имени хорошенькой владельницы замка.

Но сколько Кристина была чистосердечна в своем обращении с бароном, столько он выказывал в своем обращении лукавства и притворства. Веселость его была притворная, непринужденность — заученная. Он анализировал каждое легкомысленное слово, каждое движение, каждую улыбку слишком доверчивой девушки и старался их запомнить. Однако он был слишком опытен в этом роде, чтобы

тотчас принять за серьезное увлечение, может быть, мимолетное движение души. Он подозревал, что слишком прямого слова будет достаточно, чтобы испугать эту откровенную душу и заставить ее остерегаться. Поэтому он выказывал такую же беспечность, такую же ветреность; он оставлял свою неблагоразумную спутницу упиваться воздухом и солнцем, но тайно подстерегал успехи этого упоения и приготавливался воспользоваться ими.

Пока он должен был заниматься приготовлениями к охоте, ему невозможно было разговаривать, особенно с графиней де Баржак. Но в этот день заметили, с какой легкостью барон де Ларош-Буассо, обыкновенно очень строгий относительно охоты, одобрял распоряжения своих людей, которым, впрочем, он отдал приказания утром. Точно он торопился; он совсем не слушал, отвечал односложными словами и с нетерпением. Наконец, когда он и Кристина проехали верхом всю линию стрелков и увидели, что каждый находится на своем месте, они остановили своих лошадей у Четырех Углов, как слушатель уже знает, и начали подниматься на гору Монадьер, откуда должен был быть подан сигнал к охоте, по предварительному условию.

Графиня де Баржак, приподняв свое длинное платье и бросив на плечо ружье, шла проворными, свободными шагами. Барон хотел предложить ей руку, но она поблагодарила его с презрительным видом, и действительно ей не нужно было никакой помощи для преодоления затруднений пути. Походка у нее была твердая, дыхание свободное, как у дикой козы; ее светлый взгляд спокойно измерял глубину бездны. Даже Ларош-Буассо с трудом успевал за ней следовать. С восторгом, к которому примешивалось жестокое удовольствие, он смотрел, как она, веселая, легкая и доверчивая, направлялась к самой густой чаще горы. Однако он не говорил более с ней; он казался смущен, озабочен какими-то тайными намерениями. Кристина, предоставленная самой себе, задумалась в свою очередь; тишина и уединение, царствовавшие вокруг нее, придали меланхолический оборот ее размышлениям.

– Барон, – сказала она вдруг, остановясь, чтобы перевести дух, – как я ни подстрекаю свое воображение, не таким образом дела шли при моем бедном отце! Что это за охота! Не слышно ни лая собак, ни ржания лошадей, ни крика охотников, ни веселых звуков рогов. Охотники запрятались в кусты, как зайцы, и самые усердные рискуют

заснуть на своем посту. Клянусь Богом, дело шло совсем иначе, когда охотились в Меркоаре; двадцать труб звучали по всем направлениям, сто собак с воем отыскивали следы зверя, дворяне в богатых мундирах скакали по лесу на своих лошадях, ружейные выстрелы раздавались повсюду; движение, шум заставляли дрожать от удовольствия. О! Мой бедный отец, мой добрый дядя Гилер, где вы?

И слеза задрожала как капля росы на длинных, черных ресницах Кристины.

«Черт побери, эти воспоминания, которые являются так некстати!» – подумал барон, но продолжал, улыбаясь:

– Терпение, графиня! Вы забываете, что дело идет не о такой охоте, какая бывала при жизни вашего благородного отца... Но если вы любите охоту и удовольствия, придававшие когда-то столько одушевления Меркоару, – продолжал он, приближаясь, к ней, – подумали ли вы, графиня, что возвращение этих прекрасных дней зависит от вас?

– Каким это образом, любезный барон? – спросила Кристина, которая со своей обыкновенной подвижностью ума внезапно переходила от одного чувства к другому.

– Выйти замуж за охотника.

Графиня де Баржак сделала гримасу.

– Ах! Барон, – сказала она с досадой, – неужели и вы хотите меня дразнить?

– Разве, вы не хотите выйти за храброго дворянина, неустрашимого охотника, который любил бы вас от всего сердца и....

– Я не знаю.

– Может быть, – продолжал Ларош-Буассо с иронией, – вы предпочли бы выйти за бледного молодого человека, красноречивого говоруна, читающего религиозные книги, который в жизнь свою не дотрагивался до ружья или охотничьего ножа и проводил бы время, растарабаривая разные великолепные речи обо всем? Молодые девицы часто питают нежность и этим робким ягняточкам, избавившимся от зубов волка...

Кристина перебила его с нетерпением.

– Барон, – сказала она гордо, – я не стану притворяться, будто не понимаю вас. Зачем вы приписываете мне чувство предпочтения к... к человеку, на которого вы намекнули?

– Не сердитесь, графиня; Бог мне свидетель, что я желаю ошибаться, но как иначе перетолковать необыкновенное волнение, которое вы выказали вчера при виде племянника приора Бонавантюра, вашу горесть при виде нескольких жалких царапин, непреодолимое чувство, которое заставило вас нести этого человека на своих руках в присутствии всего замка?

– Ах! – возразила графиня де Баржак с волнением. – Таким-то образом свет судит о простом движении человеколюбия! Я это подозревала и поэтому-то сегодня утром...

Послушайте, барон, я буду с вами откровенна. Я чувствую к этому молодому человеку, который был другом моего детства, уважение и дружбу, которых мне не к чему скрывать. Пусть думают что хотят, только надо бы подумать, что он не одного со мной звания и воспитанник людей, власть которых я всегда переносила нетерпеливо. Оставьте же в покое нелепые предположения и глупые толки, я так о них забочусь, как о прошлогоднем снеге.

«Решительно, она его не любит!» – подумал барон.

Но тотчас ему пришло в голову, что Кристина могла его обманывать или, что было еще вероятнее, обманываться сама.

– Однако со вчерашнего дня я осведомлялся о мосье Леоне, – продолжал он настойчиво, – и уверяют, что ваше обращение с ним представляет совершенно особенный характер... Даже то, что вы не осведомились о его здоровье, после того как вы выказали ему такое компрометирующее участие...

– Разве я не видела, что этот невинный поступок могли перетолковать против меня?... Но это правда, Ларош-Буассо, – прибавила Кристина с каким-то увлечением, – я чувствую в присутствии Леоне какое-то замешательство, неловкость, которых никто другой на свете не внушает мне. Он всегда показывал мне большое расположение; но он так рассудителен, так строг, что я побоялась бы скорее смерти, чем его неодобрения.

Это наивное признание, казалось, пришлось не по вкусу Ларош-Буассо, который продолжал с презрением:

– Я вижу, Кристина, бедное дитя, что вы уже покорились влиянию сильных интриг, которыми вы окружены и важность которых, может быть, не подозреваете. Эти бенедиктинцы, присваивающие над вами неограниченную власть, хотят пожертвовать вашим счастьем своим

честолюбивым планам и, наверно, придумали какую-нибудь тайную интригу, которая заставит вас поддаться вашей неопытности. Поверьте мне, не без причины этот молодой человек постоянно находится на вашей дороге, искусно придумано впечатление, которое он мог произвести на вас, и этот темный заговор, кажется, скоро должен иметь успех. Племянник хитрого Бонавантюра занял место в вашем сердце гораздо большее, чем вы думаете; он это знает и тщеславится этим, в чем я сам могу засвидетельствовать.

Кристина вдруг выпрямилась, ее черные брови нахмурились.

– Что вы говорите, барон? – спросила она. – Леоне хвалился в вашем присутствии... моим предпочтением? Заклинаю вас вашей честью дворянина отвечать мне откровенно.

– Я не утверждаю, чтобы он положительно хвалился, – возразил Ларош-Буассо с хитрым видом, – но я могу уверить вас, что этот дерзкий простолудин питает относительно вас дерзкие надежды, а эти надежды ваша снисходительность к нему достаточно оправдывает.

Кристина молчала; она чувствовала сильное внутреннее волнение. Наконец она успела преодолеть себя и возразила сухим тоном:

– Все эти предположения не имеют здравого смысла... Пожалуй, вздумают распорядиться мной без моего согласия, а если когда-нибудь осмелятся на это покуситься... Но, право, барон, – продолжала она, обратив свой гнев против самого Ларош-Буассо, – как вы позволяете себе мучить меня подобными предметами? В чем это может касаться вас, позвольте спросить?

Барон счел случай благоприятным и, придав своему голосу и взгляду самое страстное выражение, сказал:

– Можете ли вы спрашивать меня об этом?

Графиня де Баржак на этот раз потупила глаза и покраснела. После непродолжительного молчания она вскричала:

– Прочь все эти сентиментальные глупости! Разве мы здесь затем, чтобы говорить о пустяках? Начальник волчьей охоты останавливается среди своего дела, чтобы напевать вздор женщине!.. К волку! К волку! Мы и то уже потеряли много времени.

Она пошла на гору быстрыми шагами, а барон пошел за ней, довольный и исполненный надежд. Во-первых, Кристина не рассердилась на довольно ясные признания, вырвавшиеся у него; потом его коварные намеки о Леоне, очевидно, произвели сильное

впечатление на гордую девушку. Пока он радовался своему успеху, Кристина спросила его:

– Барон, позаботились вы поставить одного из лучших стрелков в овраге Вепря?

И она указала рукой на глубокий ров, проходивший на боку горы.

– Я... я не думаю, – возразил Ларош-Буассо.

– Когда так, это ошибка; мои люди должны были вам сказать, что этот овраг служит убежищем всех зверей, выгоняемых из Сожженного леса, когда они хотят добраться до большого леса; это самый важный пункт; мой бедный отец это знал и на всех охотах брал для себя этот пост, где убил несколько вепрей, по имени которых и назван этот овраг.

– Вы могли бы, милая Кристина, поучить многих охотников, которые воображают себя очень искусными, – отвечал барон, – но в то время, когда овраг Вепря имел такую важность, расположение мест, может быть, было совсем другое. Например, прежде лес, без сомнения, доходил до самого оврага, а теперь их разделяет обнаженное пространство в сто шагов. Большой зверь, который хотел бы добежать до оврага, непременно был бы примечен охотниками, поставленными на рубеже леса.

– Неужели вы думаете, что опытному волку не придет в голову прилечь на брюхо под покровительством тумана и украдкой добраться до рва? Уверяю вас, что этот волк делал вещи еще удивительнее.

Ларош-Буассо внимательно осмотрел местность, чтобы удостовериться, до какой степени основательны были предположения Кристины.

– Право, графиня, – продолжал он с истинным или притворным восторгом, – ваша проникательность изумляет меня. Очень может быть, что волк исполнил этот маневр, и мне следовало бы подумать об этом ранее... К несчастью, ошибку теперь поправить уже нельзя: все наши стрелки на местах и ждут с нетерпением моего сигнала. Итак, разве только нам с вами придется стеречь кабаньих овраг...

– Да, да, именно! – вскричала Кристина, захлопав в ладоши с детской радостью, – Какое счастье, любезный барон, если вы поможете мне убить этого страшного жеводанского зверя, который три месяца опустошает мои земли, растерзывает моих слуг и друзей!

– И который чуть было не съел ягненокка добрых бенедиктинцев! – докончил барон с насмешкой.

Кристина не могла удержаться от улыбки, однако она погрозила пальцем барону и продолжала поспешно:

– Пойдемте скорее; я знаю чудесное место, род шалаша, построенного в самом овраге одним из моих бывших пастухов, прозванным Зубастым Жанно. Этот человек, огрубевший от нищеты, был мезенский горец, неукротимый и свирепый характер которых вам известен. Жанно очень нравилось в этой ужасной берлоге, где он жил как дикарь; едва раз в год приходил он в замок. Это постоянное уединение расстроило его рассудок, и он лишился даже употребления языка. Каждый день терялось какое-нибудь животное из тех, которых он пас. Притом Зубастый Жанно имел такой свирепый характер, что не мог встречаться с людьми, не сделав им вреда. Дело зашло так далеко, что этот негодяй сделался ужасом всей страны. Мне надоело слышать беспрестанные жалобы, и я решилась избавиться от него. Жанно родился не на моей земле, я не была обязана щадить его. Итак, когда в один день мне рассказывали один из зверских его поступков три месяца тому назад, я сама пришла сюда с двумя моими лесничими, которые без меня, трусы, не осмелились бы взять это на себя; мы прогнали Жанно из его шалаша с запрещением возвращаться когда бы то ни было в мой лес. Он ушел ворча, и с тех пор я о нем не слышала; но мы найдем жалкое жилище, выстроенное им для себя, и если я не ошибаюсь, оно прекрасно расположено для выполнения моего плана.

– И вы не знаете, что сделалось с этим человеком?

– Он, верно, воротился в свои Мезенские горы, которых никогда не должен был оставлять... Мы очень спокойны после его отъезда, и если бы не этот проклятый волк... Что это значит? – вдруг сказала Кристина совсем другим голосом.

Это восклицание вырвалось у нее от неожиданного открытия.

Во время разговора они дошли до края оврага прямо против хижины, в которой прежде жил Зубастый Жанно, и пусть судят об удивлении и гневе графини де Баржак, когда она заметила хижину открытой и на пороге двери человека, о котором она говорила!

Зубастый Жанно был сильный мужчина лет пятидесяти, наружность его должна была внушать отвращение и ужас. Он был колоссального роста, но худощав; его костлявое лицо имело скотское выражение. Огромный рот, всегда открытый, с висячей нижней губою, выказывал длинные, желтые и острые зубы, от которых он получил

свое прозвание. Его свирепые глаза были закрыты косматыми бровями, седые, жесткие и взъерошенные волосы смешивались с нечесаной и косматой бородой. Одежду его составляла холстинная рубашка и такие же панталоны, не прикрывавшие даже его мохнатых черных ног. Словом, это было отвратительное унижение человеческого рода, и всякая другая женщина, кроме мужественной Кристины де Баржак, убежала бы при виде этого гнусного животного, может быть, столь же опасного, сколько противна была его наружность.

В ту минуту когда графиня и барон показались на краю оврага, Зубастый Жанно стоял, как мы сказали, при входе в хижину, опираясь обеими руками о землю в столь известной позе обезьян больших пород; он оставался неподвижен, устремив глаза на тот конец оврага, который шел к Сожженному лесу. При шуме шагов он поднял голову, но первым его движением был не страх. Напротив, он с видом вызова махнул своей густой гривой и глухо заворчал, как рассерженный бульдог.

Кристина, со своей стороны, вовсе не испугалась этих грозных демонстраций. Отвращение, внушаемое ей этим гнусным существом, так же как и чувство ее презренной власти, раздражали в высшей степени ее нервную организацию. Она энергически обратилась к Зубастому Жанно.

– Как, негодяй, ты смеешь являться передо мной, не смотря на мое запрещение? Что ты здесь делаешь? Разве я тебе не говорила, что, если ты осмелишься ступить ногой на мои земли, я поступлю с тобой как с бешеным зверем? Но я узнаю, который из моих лесничих позволил тебе оставаться в моем лесу и не уведомил меня об этом; это, верно, Фаржо, негодный пьяница! Фаржо мне поплатится. Ну, разве ты не слышишь, что я тебе говорю? Уходи сейчас, я тебе приказываю, и не возвращайся больше!

Но Жанно не трогался с места; точно разум его был слишком туп, чтобы понять слова Кристины. Он продолжал тихо ворчать и как будто собирался броситься на мужественную молодую девушку. Ларош-Буассо поспешил зарядить свой карабин.

– Берегитесь, графиня! – вскричал он. – У этого негодяя самое свирепое лицо, какое я когда-либо видел в своей жизни, он способен...

– Не вмешивайтесь в это дело, барон, – повелительно сказала Кристина, заряжая свое ружье, – ради бога, дайте мне действовать, как

я хочу... этот негодяй не напугает меня, я сумею быть госпожой на собственной своей земле. Прочь отсюда! – обратилась она снова к Зубастому Жанно. – Ты сделал здесь слишком много вреда, для того чтобы я могла сохранять к тебе хоть какую-нибудь снисходительность, хоть малейшее сострадание... Уйди, и чтобы я никогда тебя не видела... Как ты смеешь глядеть на меня таким образом?

И она прицелилась в него. Вид оружия, направленного на него, вывел Зубастого Жанно из его неподвижности; он начал прыгать с изумительной легкостью, но двинуться вперед не смел. Предаваясь этой странной гимнастике, он говорил на горном наречии:

– Все охотники пришли... все... все!.. Но волк не боится!.. Волк растерзает их своими длинными зубами... Волк хитер, волк силен... Волк не боится охотников!

Он сопровождал эти слова, едва внятные, прерывистым и судорожным хохотом. Кристина не могла удержаться от легкой дрожи; однако она продолжала, все еще прицеливаясь в Жанно:

– Не употребляй во зло моего терпения и беги... беги сию же минуту, черт побери! Или я убью тебя без милосердия.

На этот раз безумец как будто понял, чего от него ожидали. Он медленно отступил, но не оборачиваясь, сказал своим тупым тоном:

– Волк бежит, когда охотники приходят... но волк возвратится ночью, когда те будут спать. Он растерзает молодую девушку... Волк любит, когда бывает много мертвых и много крови! Вот они! Вот они! – прибавил он после краткого молчания. – Скорее, волк, в лес, в лес!.. Вот они!

Он побежал вдоль оврага, чтобы добраться до леса. Он делал огромные скачки и шел так же скоро на четвереньках, как и на двух ногах. Трудно было бы узнать человеческое существо в этом гибком теле, которое как будто летело над скалами и кустарниками. Кристина, повинаясь непреодолимому чувству, спустила курок ружья в ту минуту, когда Жанно поворачивал за угол рва. Выстрел раздался, но громкий хохот встретил этот поступок, и когда дым выстрела рассеялся, безумного уже не было видно.

– Вы не попали в него, – сказал барон, – этот негодяй бежал так скоро...

– Неужели вы думали, что я целилась в него? – спросила Кристина с нетерпением. – К чему послужило бы мне убить этого

бедного безумца?.. Нет, нет! Я хотела только достаточно напугать его, чтобы он не смел больше являться передо мной, потому что он внушает мне точно такое же чувство, как ядовитое пресмыкающееся. Но, – прибавила она, прислушиваясь, – это что такое? Оглушительный шум раздался в долине.

– Это начинается охота, – отвечал Ларош-Буассо, – ваш выстрел приняли за сигнал, который я должен был дать именно на этом месте...

– Поспешим же встать на наши места! – с пылкостью закричала Кристина. – Теперь, когда этот странный Жанно ушел из хижины, мы можем встать там, и я надеюсь, что нам первым удастся выстрелить в зверя.

Говоря таким образом, она направлялась к хижине. Ларош-Буассо сначала колебался следовать за ней, как будто доверие, которое оказывала ему эта невинная девушка, возбуждало в нем некоторую совесть; но эта нерешимость недолго продолжалась. Скоро насмешливая улыбка промелькнула на его губах, и он поспешил присоединиться к графине де Баржак.

Хижина, собственно говоря, была не что иное, как впадина в скале, к которой приделали грубый фасад из глины и древесных стволов. Внутри не было никакой мебели, кроме деревянного обрубка, назначаемого для стула. Никакая домашняя утварь, никакая одежда не показывали постоянного пребывания хозяина. Связка папоротника распространяла приятный запах; но эта сельская постель еще не служила к употреблению, сколько можно было судить по свежести растений, которые за несколько часов перед этим украшали еще горы.

Хижина, несмотря на свою пустоту, не имела ничего отвратительного; однако одно странное обстоятельство поразило барона и Кристину. Ларош-Буассо заметил в темном углу предмет, которого никак не мог распознать. Он оттолкнул ногой скрывавший его мох: это был кусок ягненка, еще покрытого шерстью.

– Как! – сказал он, проворно сунув этот кусок ягненка в расщелину скалы. – Разве наш приятель Жанно разделяет полдник жеводанского зверя?

– В самом деле, нет ничего невозможного, чтобы этот человек жил остатками обеда волка, – сказала Кристина, отворотившись, – он почти так же свиреп, как и зверь... Но, – прибавила она поспешно, – довольно заниматься этим бродягой... Охотники начинают

приближаться к нам; зверь, вероятно, скоро пробежит мимо. Я заряджу опять мое ружье и из окна этой хижины буду подстерегать его...

– Неужели вы надеетесь этой детской игрушкой убить страшного волка, следы которого я видел утром? Могу вам поручиться, что пуля из этого крошечного оружия приплюснется на его старой коже. Если вы имеете желание стрелять в зверя, я охотно отдам вам мой большой карабин, который я сам зарядил двойной пулей.

– Благодарю, барон, – вскричала Кристина, схватив массивное оружие, которое с трудом могла поднять, – это самоотвержение охотника, цену которого я живо чувствую... Клянусь моей жизнью, я не забуду этой жертвы!

Она растворила маленькое окно хижины и положила карабин так, чтобы легко было выстрелить в овраг. Ларош-Буассо смотрел на нее со страстным восторгом.

– Милая Кристина, – сказал он, наконец, – вам не к чему торопиться. Лес очень обширен, очень густ, и зверь, без сомнения, выбежит из него только при последней крайности. Притом нас предупредят ружейные выстрелы и крики охотников. Поверьте моей опытности, не утомляйте себя, стоя у окна, и согласитесь отдохнуть немножко. Эта поездка верхом, эта прогулка на гору должны были вас утомить... Пожалуйста, удостоьте сесть хоть на минуту.

Кристина в самом деле чувствовала некоторую усталость, с другой стороны, она не смела отказать настоятельным просьбам своего спутника. Поставив карабин у окна, она сказала с лукавым видом:

– Я вам верю, но если пропущу случай выстрелить в зверя, я не прощу вам этого.

Ларош-Буассо взял ее за руку и подвел к обрубку, единственному стулу в хижине, сам сел у ее ног на пахучем папоротнике и начал смотреть на нее пылкими глазами. Графиня де Баржак не испугалась. Она сняла шляпку и небрежно отбросила со лба локоны растрепавшихся волос.

– Кристина, милая Кристина! – сказал барон с восторгом после непродолжительного молчания. – Знаете ли, что вы самая прелестная, также и самая мужественная из женщин?

Графиня де Баржак в свою очередь весело на него взглянула.

– Что с вами сделалось? – спросила она лукаво. – Вы также говорите мне любезности. Это измена!

– О, не говорите со мной таким насмешливым тоном, Кристина, прелестное дитя! – вскричал Ларош-Буассо, покрывая ее руки поцелуями. – И если случай или, лучше сказать, моя счастливая звезда свела нас без свидетелей, позвольте мне сказать вам, как я вас люблю!

Кристина напрасно старалась вырваться.

– Черт побери, барон! – вскричала она с нетерпением. – Оставьте меня; я не жеманница, но хочу, чтобы со мной говорили поодаль и не стесняли мои движения.

– Вы не вырветесь от меня, очаровательная девушка!.. Еще раз повторяю: это моя счастливая звезда отдала вас в мою власть в этой уединенной хижине, вдали от докучливых и нескромных!

– Выпустите меня, тысяча чертей! Или, клянусь вам...

– Неужели вы думаете испугать меня этим гневом? Он делает вас еще очаровательнее!.. Кристина, я тебя люблю!

И он хотел поцеловать ее. Графиня де Баржак старалась его оттолкнуть и звала из всех сил, но крики ее должны были затеряться среди шума, раздававшегося в долине.

Наконец она успела выдернуть одну руку, и в то время, когда она силилась освободиться от дерзкого, оскорблявшего ее, ей попала рука охотничьего ножа, который барон носил за поясом. Вне себя от гнева и ужаса, пылкая девушка схватила нож и воткнула его в грудь Ларош-Буассо.

Барон вскрикнул от боли. Испугавшись своего поступка, Кристина отступила назад, держа окровавленное оружие. Богатый мундир начальника волчьей охоты вдруг обагрился кровью. Ларош-Буассо прислонился к стене хижины.

– Метко попали, право! – сказал он с горькой улыбкой. – Вот что значит напасть на героиню!.. Я думаю, однако, что получил то, что заслуживал.

Колена его подогнулись. Кристина убежала. Мы знаем, как она встретила кавалера де Меньяка и Легри, еще не оправившихся от страшного нападения жеводанского зверя, и теперь можно понять слова, какие она сказала им.

Де Меньяк сначала хотел последовать за своей госпожой, которая бежала с горы с быстротой ветра. Но дикий вид Кристины, ее ужасные слова, окровавленный нож, который она бросила к его ногам, заставили его подумать, что он, может быть, будет для нее полезнее,

если узнает о том, что случилось; он поспешил поднять нож и присоединился к Легри, который вошел в хижину.

Они нашли Ларош-Буассо сидящим на земле и останавливающим носовым платком кровь, которая лилась из его раны. Между тем кавалер осматривался вокруг хижины. Легри наклонился к своему другу и спрашивал его с испугом:

– Боже мой! Любезный брат, что это такое? Неужели эта проклятая девица...

– Вы видите, мой бедный Легри, – возразил Ларош-Буассо, – тот, кто пошел за шерстью, сам воротился остриженный... Клянусь моей душой, хорошо меня отделали!

Легри подал ему помощь, какую только мог. Между тем кавалер де Меньяк продолжал свой осмотр. При виде шляпки графини де Баржак он угадал истину и прошептал, качая головой:

– Я знал, что рано или поздно это случится... Когда не бежишь от оскорбления, надо ожидать, что будешь оскорблен!.. Ну! Теперь она мне будет верить.

Легри успел перевязать рану барона. Ларош-Буассо сказал, все стараясь шутить:

– Черт побери! Мэтр Легри, вы за мной ухаживаете, как будто знаете, что после моей смерти ваш отец с трудом получит уплату по моим векселям...

– Должно быть, рана ваша не опасна, Ларош-Буассо, если вы имеете силы и мужество смеяться... Но ради бога, кавалер, – обратился Легри к Меньяку, – не поможете ли вы мне облегчить страдания моего несчастного друга? Охота не удалась, зверь, должно быть, находится теперь вдали от погони. Поспешите же позвать ближайших охотников; между ними находятся хирурги, позовите их немедленно. Выйдите же из вашей апатии, кавалер, если это возможно; обстоятельство стоит того, черт побери! Не вы ли обязаны исправить вред, наделанный вашей гордой госпожой, этим чертом в юбке, и...

– Молчите, мэтр Легри! – перебил кавалер угрожающим тоном. – Вы забываете о ком говорите и кому! Я пойду за людьми, – прибавил он, – барона перенесут в замок, потому что не сделать этого значило было дать повод к неприятным предположениям. Но сначала уговоримся в том, что барон не был ранен никем; барон ранил сам себя, упав на свой охотничий нож. Рассказывайте подробности как

хотите, но тот, кто припишет другую причину этому происшествию, будет опровергнут мной самым решительным образом. Поняли вы меня, господа?

– Как же вы хотите, чтобы поверили...

– Кавалер де Меньяк прав, – сказал Ларош-Буассо слабым голосом, – надо рассказать эту историю так, как он желает. Я буду слишком смешон, если узнают об этом глупом приключении.

– Прекрасно, господа, – холодно возразил кавалер, – уговорившись в этом, нам остается условиться еще об одном. Смею надеяться, что рана барона будет не смертельна, и в тот день, когда он вылечится, я попрошу его удостоить меня выйти со мной на поединок, чтобы мы окончили это дело, как приличествует знатым людям. Легко будет найти предлог, чтобы не обесславить благородные имена, достойные уважения.

Барон не мог не улыбнуться, получив этот вызов.

– Будьте уверены, что, если вы того желаете, я не откажу вам в этом удовольствии в надлежащее время и в надлежащем месте. Но, – прибавил он тотчас, с трудом удерживаясь от стенания, – я очень боюсь, что вы никогда не будете иметь удовольствия видеть меня лицом к лицу с вами со шпагой в руке.

– Очень буду сожалеть, барон.

– Есть ли смысл вызывать на дуэль несчастного раненого? – вскричал Легри с нетерпением.

Де Меньяк обернулся к молодому человеку, и, оставив вежливость, которая, по его мнению, могла обращаться только к дворянину, продолжал:

– Что касается до вас, мистер Легри, то мы с вами должны условиться. Я предоставлю вам необходимое время для ухода за вашим больным другом, но как только ваша помощь не будет уже ему нужна, я надеюсь, вы явитесь ко мне просить продолжения истории сражения при Фонтенуа. Я расскажу вам кое-что очень интересное о том, как мы отделяли в армии маршала дерзких мещан, втиравшихся между нами... До тех пор берегитесь часто попадаться мне навстречу; я подаю вам этот совет из сострадания.

Он вышел величественными шагами, оставив Легри в двойном беспокойстве – и за барона и за себя.

Через несколько минут толпа охотников, узнав о случившемся несчастье, прибежала в хижину. Ларош-Буассо был без чувств, и доктора, осмотревшие его рану, объявили ее сначала чрезвычайно опасной.

Перевязав барона лучше, чем Легри мог это сделать, его положили на импровизированные носилки и понесли в замок.

Но кавалер де Меньяк, сделав первые распоряжения, не занимался уже раненым; все его внимание обратилось теперь на его молодую госпожу, волнение которой он припомнил с беспокойством. Он пошел к Четырем Углам, где Кристина оставила свою лошадь; слуги сказали, что она воротилась за ней назад тому несколько минут и уехала в лес, не позволив никому следовать за собой. Меньяк отправился тогда в замок. Кристины там не было, но Бюш воротился в конюшню один. Все более и более тревожась, Меньяк побежал в лес, расспрашивая многочисленных охотников, рассыпавшихся во все стороны после этой бесполезной и неудачной охоты; ни один из них не видел графини де Баржак. Бедный кавалер был в отчаянии; время проходило, день кончился, все предвещало грозу, а графиня де Баржак не отыскивалась.

Глава девятая

В это самое утро Леоне проснулся без лихорадки в комнате, занимаемой им в Меркоаре. По милости забот прислуги и особенно достойной урсулилки, рана его залечивалась, и кроме слабости, происходившей от потери крови, он почти не чувствовал боли.

Но если тело находилось в удовлетворительном состоянии, душа его была беспокойна. Новость положения, признания дяди, а более всего недавние воспоминания держали молодого человека в постоянном волнении. Иногда он оставался безмолвен и задумчив, потом осыпал окружающих его вопросами, равнодушными по наружности, но имевшими скрытную цель. Может быть, эта цель не была тайной для приора и даже для сестры Маглоар, потому что они переглядывались при каждом слишком прямом вопросе Леоне. Он это заметил, и волнение его увеличилось. Скоро он захотел встать, идти в гостиную, принять участие в охоте. Напрасно представляли ему опасность всякого движения, прежде чем рана его серьезно залечится: он не хотел ничего слушать. Для успокоения его надо было согласиться, чтобы он оделся, с условием, однако, не выходить из своей комнаты и сидеть на кресле у окна, выходящего на большой двор замка.

Из чемодана Леоне вынули другое платье, потому что надетое на нем все изорвалось в лесу. Добрый приор захотел служить камердинером своему приемному сыну, и когда молодой человек оделся, когда сестра Маглоар положила на перевязь его больную руку, его посадили у окна, и он, по-видимому, находил удовольствие смотреть на толпу, которая беспрестанно ходила взад и вперед по двору.

Приор Бонавантюр и сестра Маглоар воспользовались этой минутой, чтобы сойти в залу, где другие обязанности требовали их присутствия, и оставили Леоне спокойно продолжать свои наблюдения.

Когда приор возвратился один через час, племянник его с одушевлением на лице прохаживался по комнате в необыкновенном

волнении. Увидав его, Леоне подбежал к нему и сказал задыхающимся голосом:

– Дядюшка, мой добрый дядюшка, умоляю вас, увезите меня отсюда... Мне теперь хорошо, я могу пуститься в путь... О, ради бога, не оставляйте меня долее в этом доме, если не хотите, чтобы я умер здесь от гнева и горя!

И он залился слезами. Приор, удивленный и огорченный этим внезапным порывом, принудил Леоне сесть опять в кресло.

– Что такое случилось, дитя мое? – спросил он ласково. – Вы были так спокойны сейчас! Откуда явилось у вас это внезапное и запальчивое намерение?

Молодой человек раскрыл рот, как бы для того, чтобы сделать признание, но его удержало тайное чувство, и он опустил голову, рыдая. Приор сел возле него.

– Говорите откровенно, Леоне, – продолжала он, – разве вы не имеете более доверия ко мне, вашему родственнику, вашему лучшему другу? Что с вами случилось? Кто с вами говорил во время моего отсутствия?

– Никто, дядюшка.

– Что же увидели вы такого печального из этого окна?

– Ничего, ничего, дядюшка, уверяю вас.

Приор Бонавантюр устремил на Леоне взгляд, вместе благосклонный и пронизательный; Леоне выдержал этот немой допрос с очевидным спокойствием.

– Хорошо, я угадал, – продолжал бенедиктинец, улыбаясь, – вы видели, как уезжала эта ветреница графиня де Баржак с бароном де Ларош-Буассо, и вас оскорбила фамильярность, господствовавшая между ними; не так ли?

– Почему же мне удивляться или сердиться на то, что делает хозяйка этого дома? – спросил Леоне сухим тоном и, не поднимая глаз. – Какое мне дело, что графиня де Баржак вздумала кокетничать и рыскать по лесу с таким развратником, каким слышет барон?.. Однако, дядюшка, – продолжал он совсем другим тоном, – должна ли питомица Фронтенакского аббатства вести себя с такой компрометирующей ветреностью? Разве вы не имеете полной власти над этой молодой девушкой до ее замужества, и можете ли вы позволить...

– Полно, дитя, – перебил кротко приор, – не забывайте, что бедную Кристину нельзя судить по общим правилам. Она сделала вчера еще большее неприличие, перенеся вас на своих руках, несмотря на едва скрываемые улыбки всех обитателей замка, а вы и не думали жаловаться на это. Графиня де Баржак девушка честная, прямая и настолько энергичная, что заставит уважать себя всякого, кто осмелился бы забыть перед ней.

– Вы думаете, дядюшка? Разве вы забыли, как угрожал вам вчера барон, говоря, что вопреки вам, вопреки целому свету он заставит графиню де Баржак полюбить себя? Разве он открыто не говорил вам, что вы не можете помешать ему в этом? И он был прав, преподобный отец, да, он был прав, потому что она уже его любила... Она любит его, уверяю вас; ссылаюсь на ласковые взгляды, которые она бросала на него сейчас здесь, под моим окном; ссылаюсь на радость и гордость, которые я уловил на лице этого дерзкого дворянина!

И, закрыв лицо руками, он снова дал волю своим рыданиям. Бенедиктинец, по-видимому, колебался между снисходительным состраданием и чувством другого рода.

– Не огорчайтесь таким образом, любезный Леоне, – сказал он с замешательством. – Вы сами сейчас сказали: какое вам дело до поступков графини де Баржак... Но нет, – прибавил он, тотчас оправившись, – это очень важно для вас, я в этом уверен; вы заставляете меня сказать вам то, о чем мне следовало бы еще молчать, может статься!.. Не отчаивайтесь... несмотря на мою неопытность в подобных вещах, я думаю, что графиня де Баржак не любит барона Ларош-Буассо...

Он остановился. Леоне был поражен удивлением, слезы его тотчас исчезли.

– Дядюшка, – воскликнул он, между тем как сердце его сильно билось, – заклиная вас, объяснитесь!

– Я не могу объяснить более, – возразил приор, – я повторяю только, что, несмотря на легкомысленную наружность, графиня де Баржак не любит барона де Ларош-Буассо, и что, если б даже она его любила, гнусное поведение барона, его расстроенное состояние, а в особенности его религия вырыли между ним и ею непроходимую бездну. Нет, никогда наша богатая и прекрасная воспитанница не

сделается добычей подобного человека, и когда этому жениху будет отказано, дорога останется открытой для всех других женихов.

– А между этими женихами, – спросил Леоне едва дыша, – будете ли вы считать бедного юношу ничтожного происхождения чуждого свету, который осмелился бы поднять глаза на эту знатную и богатую наследницу?

– Почему же нет, Леоне? – сказал спокойно приор Бонавантюр.

Молодой человек бросился на шею дяде.

– Возможно ли, друг мой, благодетель мой? – вскричал он с восторгом. – Вы ли это, всегда благоразумный и осторожный, говорите со мной таким образом? Вчера, сам не знаю почему, мне пришла мысль, что моя любовь не была тайной для вас и что, может быть, вы смотрите на нее без гнева... Дядюшка, скажите мне правду: на что должен я надеяться, что должен я думать? Неужели, я, в самом деле, могу домогаться руки очаровательной Кристины?

– Ну да, Леоне, – с удивлением отвечал бенедиктинец, – до сих пор вы не хотели понимать мои намеки, но если вы так настоятельно спрашиваете меня, узнайте же: от моего племянника до единственной дочери и наследницы графа де Баржака расстояние не так велико, как вы думаете.

– Неужели это правда? Это вы, вы, дядюшка, поощряете мои нелепые и смешные надежды?

– Не обманывайте себя пустыни мечтами, дитя мое, – возразил приор, качая головой, – повторяю вам еще раз: берегитесь заходить слишком далеко и слишком скоро... Все будет зависеть от некоторых событий, а особенно от воли, может быть, и от каприза графини де Баржак. В самом деле, мы можем не допустить нашу своенравную питомицу сделать дурной выбор, но не от нас зависит заставить принять наш выбор. Те, которые считают себя достойными ее, должны внушить ей уважение и привязанность, и если надо признаться, Леоне, по моему мнению, вы более всякого другого имеете надежду на успех.

– На эту единственную надежду, дядюшка, я готов поставить всю мою будущность, все мое счастье! Мне показалось, что графиня де Баржак чувствует ко мне отвращение, и я думал... Но я, без сомнения, ошибался. Я полагаюсь на вас в уверенности, что вы не можете и не захотите ошибиться... О, Кристина, милая Кристина! Итак, мне позволено любить вас безбоязненно и без угрызений!

Приор своим убедительным голосом старался привести молодого человека к более умеренным мыслям. Он смутно показал ему, что много затруднений могло явиться к осуществлению его желаний. Леоне едва его слушал; новый свет, осветивший его простодушную любовь, приводил его в восхищение после стольких тайных и мрачных беспокойств. Однако дядя уже заставил его взглянуть спокойнее на возможные последствия этой страсти, когда тихо постучались в дверь и урсулинка, к великому сожалению Леоне, прервала разговор. У нее был смущенный вид.

– Преподобный отец, – сказала она шепотом, – там внизу Фаржо, бывший арендатор Варина, которого вы сделали главным лесничим в Меркоарском лесу. Он должен был присутствовать вместе с другими, на охоте, но пришел сюда поговорить с вами о деле, которое не терпит отлагательства, по его словам. Я напрасно представляла ему, что вы заняты, что вы рассматриваете наши отчеты и что болезнь вашего племянника занимает все ваше время; он ничего не хочет слышать и принял со мной почти угрожающей тон; он до того напугал меня, что я привела его в Желтую залу, где он вас и ждет.

– Вы хорошо сделали, сестра моя, – отвечал приор, поспешно вставая, – мне, в самом деле, необходимо видеть Фаржо... Скажите ему, чтобы он не терял терпения, я приду сейчас.

Урсулинка, по-видимому, очень удивилась вниманию, какое важный фронтенакский сановник оказывал лесничему, но она не сделала никакого замечания и, низко поклонившись, вышла исполнить приказание приора. Тот стоял с озабоченным лицом.

– Леоне, – сказал он, – я вам говорил, что много препятствий есть еще к исполнению наших планов; вот, может быть, препятствие новое, на которое я не рассчитывал... Не торопитесь же предаваться преувеличенным надеждам; достигнуть вашего счастья, может статься, будет очень трудно. Мужайтесь, однако, и будем уповать на Бога!

Он вышел из комнаты с очевидной озабоченностью.

Леоне, оставшись один, несколько минут предавался своим веселым идеям, несмотря на тревожное предупреждение приора, потом начал снова смотреть в окно, но двор теперь был пуст, и замок казался брошен. Лихорадочное нетерпение овладело Леоне.

– Она не возвращается, – прошептал он, – где может она быть?.. Без сомнения, с бароном, который осыпает ее комплиментами и

лестью... Если б, однако, дядюшка ошибочно судил о чувствах графини де Баржак к этому горделивому щеголю? Приор человек опытный, но я сомневаюсь, чтобы в подобном деле... О, если бы это была правда!

Он ходил по комнате быстрыми шагами.

– Ну, – продолжал он, как бы пораженный какой-то идеей, – почему мне не судить самому о том, что происходит? Я здоров, силы мои воротились... мне будет легко неприметно приблизиться к этой прелестной, капризной Кристине! Да, да... пойду! Дядюшка воротится еще не скоро; притом, не найдя меня, он конечно угадает, где я... Я хочу увидеться с милой Кристиной, которую мне, наконец, позволено любить!

Он спустился с большой лестницы, не встретившись ни с кем, и дошел до внутреннего двора, который служил манежем. С этой стороны калитка, выходящая в лес, была открыта настежь для охотников, и Леоне, трепеща от нетерпения, радости и ревности, может быть, быстро углубился в лес.

Со своей стороны, приор Бонавантюр пошел в Желтую залу, где его ждали. Эта комната, убранная старинной мебелью, обитой утрехтским желтым бархатом, от которого происходило ее название, служила конторой по делам имения. Она была наполнена ящиками с ярлыками, тетрадами с медными застежками, хорошо знакомыми фермерам, опоздавшим в уплате арендных денег. Тут обыкновенно находились кавалер де Меньяк и сестра Маглоар, разделявшие управление замком, когда обязанности не призывали их к графине де Баржак.

Внимание приора обратилось тотчас на человека, о котором ему доложили. Фаржо, главный лесничий Меркоарского леса, достиг шестидесятилетнего возраста; он был низок, толст, так что от толщины, казалось, готов был лопнуть прекрасный зеленый мундир с позолоченной перевязью, в который он нарядился по случаю охоты. Его одутловатое и красное лицо говорило о привычке к пьянству, однако серые глаза не показывали еще отупения, которое эта страсть приводит, наконец, за собой, и блистали лукавством. Не обращая никакого внимания на урсулинку, которая по разряду чинов занимала в доме звание гораздо выше него, Фаржо уселся на бержерку, которая грозила сломаться под его огромной тяжестью, и небрежно играл

тростью с набалдашником из слоновой кости. Несмотря на бесцеремонность обращения, лесничий при виде приора старался приподняться на своих слоновьих ногах, но тяжело опустился опять на свое место; второе покушение в том же роде не было счастливее. Бонавантюр улыбнулся и сделал ему знак не вставать.

– Здравствуйте, Фаржо, здравствуйте, – сказал он дружелюбным тоном, – вы здоровы, если я не ошибаюсь... вы, кажется, еще потолстели с тех пор, как я вас видел, а я думал, что это невозможно!

Он сел напротив лесничего, и тот, наконец, отказался от отчаянных усилий встать на ноги.

– Если вы позволяете, преподобный отец, – отвечал он хриплым голосом, – право, я уже не так проворен на ноги. Жить так тяжело! Надо бегать день и ночь за браконьерами и ворами леса; постоянное движение, усталость утомляют более, чем хотелось бы.

– А мне кажется, – сказала сестра Маглоар с колкостью, – что праздность, а не усталость могут производить подобный результат!.. Что бы вы ни говорили, мэтр Фаржо, браконьеры и мародеры не мешают вам спать; вы вечно сидите в кабаке Крансака, а ваша бедная дочь Марион остается одна дома. Даже теперь вы уже выпили, и преподобный отец мог заметить это так же, как я. Предоставляю ему судить, приличное ли это поведение для главного лесничего меркоарского леса.

Фаржо действительно останавливался в кабаке, прежде чем пришел в замок, и, очевидно, пьянство, столько же, как и толщина, мешало ему держаться на ногах; но Бонавантюр имел свои причины, может быть, для того, чтобы не примечать проступков лесничего, и снисходительно покачивал головой. Фаржо очень раздражали упреки урсулилки, его лицо из красного сделалось багровым.

– А вам какое до этого дело? – сказал он глухим и невнятным голосом. – Вас ли касается поведение лесничих? Я получаю приказания только от графини, нашей госпожи, или от преподобного отца, здесь присутствующего, а что касается других кавалеров или урсулинок, мне до них такое же дело, как и...

– Полно! – перебил приор. – Неужели вы, Фаржо, забудете уважение к доброй сестре Маглоар?.. А вы, сестра моя, неужели забудете, что надо многое простить такому старому слуге, как Фаржо?

– Господи Иисусе Христе! – отвечала урсулинка сладким тоном. – Я прошу все, что вам угодно. Вашему преподобию очень хорошо известно, как надо действовать, и если вы обвиняете меня, мне нечего более говорить.

Однако, если бы освободили поместье от лентяя, пьяницы, подающего здесь такой дурной пример...

– Полно, сестра Маглоар, будьте снисходительны к вашему ближнему.

– Освободили от меня! – вскричал толстый Фаржо, вертясь на кресле, как беснующийся. – Вы слышите, преподобный отец? Скажите же ей, что меня нельзя таким образом спровадить, что я долго еще останусь на меркоарской земле, после того как сестру Маглоар прогонят отсюда... Да, да, скажите ей это, отец приор. Я хочу, чтобы вы сказали ей это.

– Что-о? – спросил приор, бросив на Фаржо повелительный взгляд.

Оробевший лесничий пролепетал что-то в извинение.

– Довольно, – продолжал Бонавантюр, – любезная сестра, оставьте меня на минуту с Фаржо. Вы заметили справедливо, что он находится не в своей тарелке; это должно извинить до некоторой степени его неприличные слова, но я поговорю с ним и, без сомнения, внушу ему глубокое раскаяние в его проступке.

– Дай бог, преподобный отец! – отвечала урсулинка недовольным тоном.

Она вышла из залы. Как только она ушла, приор запер дверь на задвижку, потом, воротившись на свое место, сказал со строгостью:

– Что значит такое поведение, мэтр Фаржо? Как смеете вы так возвышать голос? Неужели вы неисправимы? Неужели лета не могут преодолеть тех низких пороков, которые уже причинили несчастье вашей семье? Это дурно, Фаржо, очень дурно, и если вы не исправитесь, я перестану доброжелательствовать вам!

Сначала лесничий с замешательством потупил голову, слушая эти заслуженные упреки, но угрозы произвели на него совершенно противное действие.

– Перестанете мне доброжелательствовать, преподобный отец? – спросил он, лукаво скривив рот. – Вы, без сомнения, прежде подумаете, чем употребите строгость с вашим старым знакомым.

– Не полагайтесь на это, Фаржо. Давно уже многочисленные жалобы поднимаются против вас; если это продолжится, несмотря на воспоминания о вашей бедной жене, несмотря на мое участие к вашей невинной дочери, которую вы очень огорчаете, я это знаю, я вышлю вас из поместья, и пусть с вами будет что будет.

– Так-то вы говорите, мой преподобный отец? – возразил лесничий. – Вы не должны быть так жестоки с человеком, который знает то, что знаю я! В свою очередь, я желал давно уже поговорить с вами наедине, но каждый раз, как вы приезжаете в Меркоар, вы точно прячетесь от меня... Сегодня, по крайней мере, этого не будет, и если я уже поймал вас, вы от меня не ускользнете.

– Я прячусь от вас? Ускользну? Что это, мой милый? Неужели винные пары до такой степени затемнили ваш рассудок, что вы забываете, перед кем находитесь?.. Но, – прибавил приор более спокойным тоном, – я не должен позволить вам думать, что фронтенакский приор избегает вас от страха или по какому-нибудь другому чувству, недостойному его... Что вы имеете сказать мне, Фаржо? Говорите смело, я слушаю.

И он величественно приосанился. Лесничий, несмотря на самоуверенность, обнаружил некоторое беспокойство.

– Полноте, преподобный отец, не сердитесь, – сказал он с фамильярным смехом. – О чем я прошу вас? О том, чтобы мы продолжали понимать друг друга, как прежде. И если я найду вас хоть несколько сговорчивым, вы никогда не будете жаловаться на меня. Вы нам всегда оказывали ваше покровительство, продолжайте быть добрым к нам, а я не буду неблагодарен, уверяю вас.

– Это покровительство, Фаржо, как заслужили вы лично? Ваше беспорядочное поведение только увеличивается с годами, и если бы я советовался с моим справедливым негодованием, я предоставил бы вас неизбежным последствиям ваших пороков. Но вы давно уже служили графам де Варина, жена ваша Маргерита была кормилицей молодого виконта, который умер в детстве таким несчастным образом; дочь ваша Марион была молочной сестрой этого бедного ребенка; по всем этим правам семейный друг ваших прежних господ должен был сделать несколько усилий, чтобы избавить вас от нищеты и унижения. После смерти вашей жены я заставил вас выехать из Варина, где ваше беспорядочное поведение возбуждало всеобщее презрение, и сделал

вас главным лесничим в меркоарском лесу. Я надеялся, что, удалившись в домик среди леса, вдали от ваших товарищей по разврату, под распоряжением новых господ, которые не обязаны вас щадить, вы перемените образ жизни и будете избегать всякого случая опять дурно себя вести. Вместо этого, вы упорствуете в ваших пагубных привычках; несмотря на эту чудовищную полноту, которой вы обязаны вашей неизлечимой праздности, вы находите силы переходить каждый день целую милю в Крансак, чтобы истратить в кабаке все деньги, заработанные вами. Ваша бедная дочь постоянно одна дома и часто, как мне говорили, нуждается в самом необходимом!.. Скажите по совести, Фаржо, неужели вы думаете, что какие бы то ни было причины могут меня заставить терпеть долго подобные вещи? Есть границы, за которыми снисхождение становится преступным.

– Хорошо! хорошо! Старайтесь быть снисходительным, преподобный отец, я советую вам это для ваших собственных выгод. Я сознаюсь в моей вине: я добрый собеседник, люблю посмеяться и выпить, я вовсе не гожусь для должности лесничего и до смерти скучаю в моем домике, где вижу только волков и кабанов. Это не может продолжаться долее. Вы мне не откажете в честном приданом для дочери моей Марион, которая, в самом деле, не очень счастлива со мной, бедняжка; вы положите мне пенсию, которую я буду тратить где хочу, или, скорее, вы мне заплатите за один раз сумму, которой я буду располагать по своей воле, и не будете заниматься моей участью, обещаю это вам.

– Очень хорошо, Фаржо, вы идете прямо к цели, как я вижу... А по какому праву, позвольте вас спросить, требуете вы подобной милости?

– Что может быть естественнее? Вы сами сказали сейчас, что я старинный слуга Варина; разве не требует справедливость, чтобы наследники этого прекрасного имения избавили меня и мое семейство от нужды теперь, когда лета и недуги делают меня неспособным работать?

Фаржо говорил насмешливым, бесстыдным и оскорбительным тоном. Однако отец Бонавантюр отвечал просто:

– Я не могу ни принять вашу просьбу, ни отказать вам; как лицо духовное, я не имею никакой собственности, а в деле такого рода не

могу сделать никакого решения без дозволения фронтенакского капитула, которого я недостойный член.

– Полноте, преподобный отец, – с нетерпением возразил лесничий, – разве не известно, что вы управляете капитулом по своей воле? Несмотря на ваш смиренный вид, вы теперь по милости опеки и наследств почти также могущественны, как сам король, в этой провинции. Но я вижу, куда вы метите: вы хотите выиграть время, потом вы мне скажете, что капитул отказал мне в моей просьбе. Предупреждаю вас – меня не проведете.

– Я не имею намерения выиграть время, Фаржо, и, чтобы доказать это, скажу вам тотчас, как решит капитул и как решу я сам. Если б вы всегда были безукоризненны, может быть, теперешние владельцы поместья Варина приняли бы в уважение вашу бедность, но бросать деньги, которые можно употребить на благодеяние, ленивцу, пьянице, человеку, который был дурным мужем и который теперь дурной отец...

Лесничий неистово подпрыгнул.

– Черт побери! – вскричал он. – Не выводите меня из терпения... Я могу быть всем, чем вы говорите, но, по крайней мере, я не совершал преступлений, как благочестивые особы, с которых я скоро сорву маску, если они не будут сговорчивее со мной.

Бонавантюр не мог скрыть своего волнения.

– Преступлений! – повторил он, бледнея. – Неужели вы совершенно лишились рассудка, мэтр Фаржо?

– Нисколько, преподобный отец, и в доказательство я напомним вам маленькую историйку, которую вы, кажется, забыли. Только, – прибавил он, оглядываясь вокруг с хвастливым видом, – я дурной рассказчик, когда у меня пересохнет в горле... Неужели здесь нечего выпить...

Приор остался бесстрастен.

– Нужды нет, – возразил Фаржо после минутного ожидания, – если мне не дадут, чем освежиться, пока я буду говорить, я уверен, что мне ни в чем не откажут, когда я кончу. Послушайте меня. Вы помните, преподобный отец, какие обстоятельства сопровождали трагическую смерть несчастного виконта Варина назад тому семнадцать лет; уже в то время отец его, граф де Варина, наш помещик, был болен изнурительной болезнью, от которой впоследствии и скончался. Он

сделался мрачен, угрюм, молчалив; он не подпускал к себе ни друзей, ни родных и, наконец, удалился в ваше Фронтенакское аббатство, где, если верить общественным слухам, его старательно стерегли.

Граф никогда не имел характера очень твердого, а когда он был истощен, почти при смерти, день и ночь подвержен вашим просьбам, то вам не стоило труда совершенно овладеть его мыслями; поэтому уверяют, будто еще при жизни своего сына он отдал часть имения вашему аббатству, уже и без того столь богатому и могущественному. Но эта часть показалась вам еще недостаточной, как это можно было узнать впоследствии.

Тут приор с негодованием встал и протянул руку, чтобы протестовать против уверений, выраженных так грубо; но, без сомнения, его удержало какое-то размышление, потому что он тотчас сел и опустил свою руку, улыбнувшись с презрительным видом. Фаржо продолжал бесстрастно:

– Пока граф жил в Фронтенакском аббатстве, пока ждали день и ночь гибельного исхода его болезни, считавшейся неизлечимой, его единственный сын, маленький виконт де Варина, оставался в замке на попечении жены моей Маргериты, его кормилицы. У ребенка был слабый и болезненный темперамент, точно такой, как у его отца. Хотя ему было тогда более трех лет, но с трудом дали бы ему половину этого возраста. Жена моя, которой покойная графиня поручила это невинное существо, не оставляла его ни днем, ни ночью. Она была без ума от своего питомца, который начал уже лепетать ее имя и следовал за ней, шатаясь, по аллеям сада. Однако один раз надзор ее был обманут, и эта небрежность, стоившая ей горьких слез, имела очень пагубные последствия. Маргерита так часто рассказывала об этом несчастье при мне, что я могу, хотя меня не было тогда в замке, где, впрочем, на меня смотрели не весьма благосклонно, рассказать все с самыми мелочными подробностями. Это было вечером, летом, в знойное время. Жена моя позволила Бабетте, няне ребенка, отправиться в деревню навестить родных, а сама осталась одна с маленьким виконтом в садике, примыкавшем к большой террасе сада. Вы знаете, как я, преподобный отец, положение замка Варина. Он выстроен на площадке довольно гладкой, которая с одной стороны вдруг оканчивается бездной, куда низвергается поток. Эта бездна страшной глубины, усыпанная острым базальтом, обрамляет сад, и

один из прежних помещиков велел сделать на краю парапет, на который можно опереться, чтобы видеть, как бурлит вода. Это зрелище нельзя позволять себе, когда выпьешь немножко более, чем следует, или когда бываешь подвержен головокружению, потому что шум каскада, вихрь пены, острые скалы, которые как будто движутся и пляшут, закружат совершенно голову, потом от этого места бежишь, как от язвы. В тот день, о котором мы говорим, Маргарита повела ребенка играть в цветник, надеясь, что в этот жгучий вечер соседний каскад несколько освежит его. Притом нечего было бояться: земля везде была усыпана песком или покрыта муравой и цветами; парапет, окружавший бездну, был крепок и так высок, что хрупкий ребенок, с трудом еще ходивший, не мог перелезть через него. Наконец, Маргерита, сидевшая на каменной скамейке, не теряла из виду своего маленького Варина, между тем как он в беленькой рубашечке отыскивал в траве блестящих червячков, сиявших как огонь. Вдруг человек, одетый как крестьянин, которого Маргерита никогда не видела, очутился возле нее в саду и сказал ей странным тоном: «Кормилица, ваша маленькая Марион упала там на дворе, я слышал мимоходом, как она кричала, пойдите посмотрите, что с ней случилось». Потом этот человек быстро удалился и исчез в вечернем тумане. Маргерита была в сильном затруднении. Она хотела взять ребенка и унести его с собой, но виконт, когда она хотела прервать его любимую игру, громко раскричался. Кормилица посадила его опять на траву, и он тотчас замолчал. Что было делать? Мать все-таки мать, прежде всего. Маргерита подумала, что она будет отсутствовать только несколько минут, что ее молодой барин, занятый своей игрой, не тронется с места; притом какой опасности бояться на этой закрытой со всех сторон террасе? Итак, она более не сопротивлялась своему материнскому беспокойству и направилась к той части замка, где, как ей сказали, упала ее дочь. Прибежав, запыхавшись, на двор, она нашла Марион спокойно игравшей с детьми ключницы; Марион совсем не ушиблась. Кормилица скорее поцеловала свою дочь. Что значило это таинственное уведомление, полученное ею, какая была его цель? Серьезно испугавшись, сама не зная почему, она поспешно воротилась к маленькому виконту. Тогда было почти уже темно. Когда Маргерита вошла в сад, ей послышался слабый крик с другого конца; она удвоила шаги и позвала изо всех сил. Никакого ответа! Она побежала к тому

месту, где должен был находиться ребенок, и где белизна его одежды могла показать его издали; ребенка уже там не было. Почти обезумев от ужаса, Маргерита пробежала всю террасу, призывая его; она не нашла никаких следов милого малютки. Только у того парапета, который окружал беседку, она подняла шляпу, которая была на сыне ее господина за несколько минут перед тем. Не сомневаясь более в несчастье, бедная женщина пронзительно вскрикнула и упала; она оставалась без чувств на песке до тех пор, пока слуги, встревожившись ее отсутствием, прибежали к ней на помощь. Вы знаете так же хорошо, как и я, преподобный отец, что было потом. Полиция приехала в замок, допрашивали всех, искали. Наконец, через три дня после этого происшествия нашли в потоке маленькое, изуродованное, обезображенное тело, разбившееся о скалы; по белой одежде узнали маленького виконта Варина. Удостоверились, что несчастный ребенок неосторожно бросился в бездну во время непродолжительного отсутствия его кормилицы. Через два месяца граф умер, сделав Фронтенакского аббата наследником всего своего имения.

Выслушав этот рассказ, приор не выказал никакого волнения. Он тотчас возразил с совершенным спокойствием:

– Что вы хотите доказать, друг мой, этой старой историей, которая известна всему краю и которую я должен в самом деле знать лучше, чем кто-нибудь? Однако от вашей жены не слишком строго потребовали отчета в ее виновной небрежности. Напротив, мы сжалились над ее горестью, над ее раскаянием. Она, вы, ваша дочь Марион – все были осыпаны нашими благодеяниями.

– Э! э! Вас не слишком следует благодарить за это, мой преподобный отец, потому что, может быть, вы имели на это превосходные причины. В первое время никто не осмелился сказать своего мнения об этом необыкновенном происшествии; сама Маргерита, или оттого, что горесть помутила ее рассудок, или оттого, что она боялась могущественной вражды, молчала так же, как и другие. Она не поверяла своих сомнений никому относительно смерти своего молодого Варина, или, по крайней мере, я этого не знал в то время; только позже осмелилась она объясниться и перед смертью не могла устоять от угрызений своей совести, которая приказывала ей открыть истину.

– Что вы мне говорите, Фаржо? – спросил приор, вздрогнув. – Что вы мне говорите о признаниях, сделанных вашей женой в ее последние минуты? Неужели вы до сих пор скрывали от меня такое важное обстоятельство?

– Вы узнали бы его уже, мой преподобный отец, если бы с тех пор, как я поселился в Меркоаре, я мог приблизиться к вам так свободно, как сегодня; но вы удалялись от меня, и я мог разговаривать с вами только в присутствии посторонних особ. Однако вспомните, что я делал часто некоторые намеки при вас, и, если не ошибаюсь, эти намеки не оставляли вас равнодушным. Когда я кончу, добрый отец приор, вы увидите, что вы особенно за-интересованы в этом скверном деле.

– Я, мэтр Фаржо? – сказал приор, усиливаясь улыбнуться.

– Терпение! Вы не будете смеяться сейчас, преподобный отец; позвольте мне кончить. Когда Маргерита успокоилась настолько, чтобы оценить это гибельное приключение, она осталась убеждена, что была орудием преступления. Раз сто я слышал, как она утверждала, что во время ее краткого отсутствия мальчик не успел бы добежать до парапета пропасти и что притом этот парапет был слишком высок, так что такой маленький ребенок не мог вскарабкаться на него. Она не имела ни малейшего сомнения, что этот незнакомец, сказавший ей ложь с очевидной целью удалить ее, совершил гнусное преступление. Но об этом человеке она не могла дать никаких сведений; темнота и шляпа с широкими полями не позволяли ей видеть его лицо, а когда он говорил, он как будто переменил свой голос. Все это было довольно неопределенно, и убеждение Маргериты основывалось только на предположениях, когда одно неожиданное открытие подтвердило его. В эту эпоху я содержал мызу, принадлежавшую поместью Варина, и работником у меня был мезенкский горец, которого после мы отослали за грубость. Его звали Жанно, и он походил на медведя, так что я сам его боялся, и только Маргерита своей кротостью и терпением могла сладить с ним в некоторые минуты. Однажды, долго спустя после этого приключения, Жанно, видя, как бедная Маргерита жалела еще о потере несчастного ребенка, вверенного ее попечениям, признался ей в странных обстоятельствах. В тот самый вечер, когда маленький виконт погиб, он, Жанно, возвращался с поля по дороге, которая ведет к маленьким

воротам замка. Устав от дневных работ, он прилег за кустом, чтобы отдохнуть, когда услышал шаги двух человек, которые шли по дороге, проложенной вдоль оврага, и разговаривали вполголоса. На одном из них была большая крестьянская шляпа, как на том человеке, которого Маргерита видела в саду; сверх того он был совершенно закутан в плащ. На товарище его был почти такой же костюм, однако мой работник узнал его: это был фронтенакский бенедиктинец, часто бывавший в замке Варина, которого бесполезно называть вам, преподобный отец. Приор побледнел.

– Вы хотите сказать, – возразил он, – что Жанно узнал меня, фронтенакского приора?

– Вы были тогда простым монахом, преподобный отец; но мой работник видел вас несколько раз в замке и не ошибся. Когда вы прошли мимо куста, за которым он спрятался, он внятно услышал, как тот другой сказал вам: «Да, да, ребенок должен исчезнуть, это вернее всего». Жанно, по натуре тяжелый и несколько глупый, не понял сначала всей важности этих слов, он не тронулся со своего места, и я подозреваю, что он там заснул. Но скоро внимание его было привлечено новым шумом шагов: вы возвращались с человеком в большой шляпе. Вы прошли очень скоро и уже не говорили. Он опять старался рассмотреть вас, но ночь сделалась уже темна, и наблюдать было невозможно. Однако с обыкновенным любопытством деревенских жителей Жанно встал и сделал несколько шагов, чтобы посмотреть, что с вами будет. Вы и ваш товарищ присоединились у подножия холма к третьему человеку, который ждал с лошадьми в стороне. Вы оба поспешили сесть в седла и через несколько минут исчезли во мраке. Вот что мне рассказал работник мой Жанно, отец приор, и конечно, это не может внушить большого уважения к вашей праведности.

Бонавантюр казался поражен смущением и испугом. Подумав с минуту, как бы для того, чтобы измерить величину опасности, он сказал, стараясь скрыть трепет голоса:

– И это Жанно, ваш работник, рассказывает такие удивительно невероятные вещи! Жив он еще? Вы, кажется, сказали, что отказали ему от места?

– Мы отказали ему, наконец, и несколько лет не имели о нем никаких известий. Но я встретился с ним здесь и часто вижу его; он

приходит ко мне; к несчастью, если вам признаться, этот бедный Жанно совсем лишился рассудка.

– Он сошел с ума! – вскричал приор. – И по свидетельству сумасшедшего вы осмеливаетесь напасть на честь могущественной и уважаемой общины?

– Но Жанно не был помешан, когда говорил о своей встрече с вами, и Маргерита, которая была женщина ученая и умела писать, как горожанка, вздумала записать все это дело на бумаге, подписанной ею. Во время болезни, от которой умерла, она хотела разорвать эту бумагу, но я, зная, о чем идет дело, захватил эту бумагу и не отдам ее иначе, как на выгодных условиях.

Фаржо вынул грязный бумажник, который тотчас же положил в карман своего мундира.

– Теперь, – продолжал он, – вы должны понимать, преподобный отец, что из этого может выйти. Показание моей жены, мое свидетельство, особенно же свидетельство моего бывшего работника Жанно, хотя теперь нельзя многого добиться от бедняги, конечно, заставят судей напасть на истину... Уверяют уже, что времена неблагоприятны для бенедиктинцев, и право, если мы не останемся добрыми друзьями, Фронтенаки, может быть, поднимут суматоху.

И лесничий начал злобно хохотать.

– Это все, мэтр Фаржо? – спросил приор. – Не имеете ли вы еще какого-нибудь обвинения против меня и святой обители, которой я служу?

– Э, э! Отец приор, кажется, и этого достаточно!

– Как! Вы упорствуете в том мнении, что по предположениям женщины, желавшей, без сомнения, извинить свою неосторожность, по свидетельству помешавшегося работника, вы, лентяй, пьяница, развратник, о котором столько говорят, вы могли бы заставить поверить вашим гнусным обвинениям против людей, известных своей добродетелью и набожностью?

– Да, я подумал об этом, преподобный отец; вы имеете авторитет, богатство и можете сыграть со мной плохую шутку, чтобы заставить меня молчать; поэтому, в случае если мы кончим с вами ссорой, я намерен обратиться к человеку, который может с вами справиться.

– К кому же, мэтр Фаржо?

– К барону де Ларош-Буассо, который как раз теперь в Меркоаре. Он самый близкий родственник графу де Варина, от которого получил бы большое наследство, если бы вы не помешали. Отец его имел уже процесс с вашим аббатством, да и сам он не очень к вам расположен. Он принадлежит к протестантской религии, как прежние владельцы Варина, и у него нет причин, чтобы щадить бенедиктинцев. Скажи я ему одно слово о признании Маргериты, о свидетельстве Жанно – и он не пожалеет нескольких сот пистолей, чтобы вознаградить бедного человека, который принесет ему такие доказательства. Заставить его замолчать будет нелегко: он один из могущественных баронов и не боится никого; он пропоет вам такую песню, какой вы не слышали и в вашем хоре...

– А, а, а! Мой преподобный отец, кажется, это начинает вас тревожить!

В самом деле, имя Ларош-Буассо, по-видимому, довело до крайней степени беспокойство приора. Однако, собравшись несколько с мыслями, он продолжал с грустью и достоинством:

– Я знаю, наконец, к какой цели вы стремитесь, Фаржо; вы хотите спекулировать на огласке, и действительно никто не может помочь вам лучше барона Ларош-Буассо в этом злом намерении. Однако, может быть, вы искренно думаете, что, нападая на нас, вы поступаете справедливо; уверяю же вас самыми торжественными клятвами, что ни я и никто из фронтенакских аббатов не принимал участия в убийстве этого бедного ребенка. Все были обмануты подозрительной наружностью, стечением роковых обстоятельств, и конечно, настанет день, когда наша невинность засияет яснее солнца. Вас нельзя будет извинить, если вы будете настаивать в ваших гнусных обвинениях, и вы подвергнетесь наказанию, которое всегда постигает того, кто бывает причиной гнусной огласки. Фаржо подмигнул.

– Боже мой! Преподобный отец, – возразил он, – я не так глуп, как вы, кажется, думаете. Я готов считать невинными вас и других бенедиктинцев; я готов отдать вам бумагу Маргериты, чтобы вы сожгли ее, если вам придет эта фантазия; я могу обещать заставить Жанно молчать и сделаться самому немым как рыба насчет этого дурного дела... Но вы понимаете, отец приор... Фронтенакские монахи, которые так богаты, которые имеют столько лесов, лугов, прудов, ферм, замков, могут истратить несколько тысяч ливров на

приданое моей дочери и для обеспечения мне самому спокойной участи на старость. Надо иметь совесть, и, право, когда я подумаю, какой вред могут причинить вам мои открытия, я не нахожу, чтобы мои условия были жестоки.

Приор, по-видимому, находился в сильном искушении. У него было довольно мирского благоразумия, чтобы понять, что лучший способ для избежания огласки, которой ему угрожали, было подвергнуться требованиям Фаржо и ничтожной суммой денег затушить обвинения против него и его общины. В особенности он дрожал при мысли о том, как этим может воспользоваться барон де Ларош-Буассо, этот смертельный враг аббатства. Однако другие уважительные причины одержали верх в его мыслях; сделав несколько шагов по комнате, он воротился на свое место напротив лесничего, который, видя его нерешимость, улыбался с торжествующим видом.

– Что бы ни случилось, – храбро сказал приор, – я не приму ни для себя, ни для святого дома, которого я представитель, этот гнусный торг. Я не хочу по слабости давать награду клевете, жадности, лжи... Фаржо, благодеяния, которыми вы были осыпаны после смерти графа Варина, не имели другой причины, повторяю вам, кроме той, что вы были старый служитель этой фамилии; в доказательство этого я решительно отказываюсь дать вам то, что вы требуете с такой дерзостью. Сделайте из бумаги, которая находится в ваших руках, и из показаний, которые вы могли собрать, какое хотите употребление. Ни приор, ни фронтенакские бенедиктинцы не унижат себя до того, чтобы заплатить за ваше молчание.

Лесничий не ожидал этого отказа; сильная досада обнаружилась на его лице.

– Ну, отец приор, – продолжал он, – может быть, это не последнее ваше слово. Для вас идет дело не об одном владении землями Варина... Хотя я никогда не слышал, чтобы вешали бенедиктинцев, однако вы подумаете, я полагаю...

– Мне нечего думать. Я упрекаю себя за то, что слушал вас слишком долго, что терпел оскорбления, которые мое звание повелевало опровергнуть скорее. Уйдите, уйдите с глаз моих и никогда не являйтесь передо мной!

Приор отдал это приказание с такой энергией, что Фаржо, несмотря на свою толщину, встал на этот раз без усилия.

– Довольно, преподобный отец, – пролепетал он, – я ухожу, но вы раскаетесь, что обращались со мной таким образом... Я пойду к Ларош-Буассо.

Бонавантюр повернулся к нему спиной. Лесничий сделал вид, будто уходит, но, подойдя к двери, он вдруг воротился к приору и продолжал почти умоляющим тоном:

– Посмотрим, преподобный отец, я, может быть, напрасно говорил с вами так неделикатно. Что же прикажете, меня не учили изящному обращению, и я говорю вещи, как они есть, однако мне было бы жаль поссориться с вами. Неужели нет никакого способа нам согласиться между собой? Я знаю, что вы меня не любите, и принужден сознаться, что я не многого стою; но если вы не хотите ничего дать мне, по крайней мере, не отказывайте мне в том, о чем я вас прошу для дочери моей Марион... Говорят, что моя бедная дочь несчастлива со мной; она смертельно скучает дома, где никогда не видит никого и где, может быть, я оставляю ее одну чаще, чем следовало бы. К довершению несчастья она влюбилась в сына Жана Годара, красивого парня, прекрасного человека, хорошего работника, из которого вышел бы превосходный муж. Но Жан Годар накопил деньжонок и не позволит своему сыну жениться на девушке, у которой нет ничего. Марион это знает и плачет потихоньку. Это раздирает мое сердце... Я иногда бываю зол, груб, но я люблю эту бедную малютку и хотел бы сделать ее счастливой. Я думал воспользоваться этой бумагой, чтобы доставить Марион положение менее печальное. Итак, преподобный отец, не думайте более обо мне, я не заслуживаю ваших благодеяний, но обещайте мне, что вы дадите в приданое Марион пятьсот экю, чтобы она вышла за сына Жана Годара, и я сейчас же, на ваших глазах, изорву бумагу Маргериты!

Эти слова, по-видимому, изменили намерения приора; говорил уже не низкий спекулятор, а отец, и, не рискуя ни достоинством, ни нравственностью, можно было сделать какую-нибудь уступку. Однако Бонавантюр рассудил не так.

– Участь этого невинного ребенка трогает меня, – сказал он суровым тоном, – но я не могу согласиться на то, что похоже на торг. Я не дам вам объяснения относительно моего доброжелательного расположения к вашей дочери, только знайте, что я не принимаю на

себя никакого формального обязательства и не позволю предписывать себе никаких условий.

Фаржо не понял, сколько было тайных обещаний в этой наружной непреклонности, и возразил с гневом:

– Хорошо, хорошо! Черт побери! Я отомщу. Де Ларош-Буассо образумит вас. Я желал вас пощадить. Я просил только за мою дочь, такую добрую, такую преданную, несмотря на мои проступки, такую несчастную... Вы безжалостны, ну достанется же вам...

– Довольно... уйдите!

– Мы увидим, понизите ли вы тон, когда все узнают...

– Молчите и уйдите, говорю вам. Не надо ли мне позвать кого-нибудь? Здесь нет недостатка в людях, которые вас терпеть не могут и избавят меня охотно от вашей докучливости.

Фаржо ушел ворча и с яростью в сердце.

Оставшись один, Бонавантюр не сохранил спокойствия и твердости, какие он выказал. Опустив голову на грудь, он оставался погружен в мрачную задумчивость.

– Я должен был сделать то, что сделал, – прошептал он со вздохом, – но, сколько несчастий и стыда предвижу я, если этот человек приведет скоро в исполнение свои угрозы!

Глава десятая

Графиня де Баржак после происшествия у оврага Вепря села на свою лошадь, как мы сказали, и бросилась наудачу в одну из аллей леса. С волосами, развевавшимися по ветру, с диким взором, она постоянно подстрекала свою лошадь, которая летела во весь опор. Кристина казалась еще в той лихорадке движения, которая пожирала ее утром, но уже не гордость и радость заставляли ее скакать так скоро. Вместо того чтобы отыскивать охотников, она все более углублялась в самую безмолвную и пустынную часть леса. Черные копыта Бюша чуть касались муравы, и он скользил как безмолвная тень под деревьями.

Кристина действительно, несмотря на свою обыкновенную твердость души, была глубоко расстроена страшной сценой, только что происходившей. При мысли об убийстве, в котором она обвиняла себя, она опять сделалась женщиной; она чувствовала слабость, женский малодушный страх. Душераздирающий крик, вырвавшийся у барона, еще раздавался в ее ушах. Бледный, окровавленный образ раненого являлся ей в конце всех аллей, гримасничал во мраке всех кустов. Иногда она вздрагивала и поворачивала голову, но после минутного оцепенения снова побуждала своего быстрого коня, который бросался во весь опор и, по-видимому, должен был остановиться, только упав мертвым от усталости.

Уже давно графиня де Баржак странствовала по лесу, не беспокоясь узнать, где она и к какой цели должна направиться. Никакой человеческий шум не достигал теперь ее в этом огромном лабиринте древесных стволов и листьев. Когда она проезжала через прогалину, она вдруг услышала, что ее зовет звучный голос. Думая, что эта галлюцинация, Кристина хотела проехать мило, когда голос позвал ее еще громче.

Вся трепеща, молодая девушка удержала свою лошадь, которая остановилась, покрытая пеной. Леоне, сидевший под дубом, встал и подходил к ней с поспешностью.

Мы помним, что Леоне, подстрекаемый ревностью, хотел оставить замок, несмотря на свою слабость, чтобы присоединиться к

охоте; но он заблудился также в лесу, и скоро истощение принудило его отдохнуть в этом месте; случай именно привел туда ту самую особу, которую он желал более всего встретить.

– Боже мой! Графиня, вы здесь одна! – вскричал он. – Куда вы едете? Что случилось с теми, которые должны были заботиться о вашей безопасности?.. Верно, случилось какое-нибудь несчастье!

Сначала графиня де Баржак как будто не слышала, что ей говорили, она оставалась неподвижна и безмолвна, опустив руки и потупив голову. Наконец, однако, легкий румянец появился на ее щеках, и, соскочив с лошади, она прижалась головой к плечу молодого человека.

– Леоне, любезный Леоне! – прошептала она. – Сам бог послал вас ко мне на помощь!

И обильные слезы облегчили ее стесненную грудь.

Леоне, хотя он не мог подозревать причины этой горести, постарался успокоить прелестную владительницу замка. Так как она едва держалась на ногах, он посадил ее под дерево, сел сам и начал расспрашивать ее с нежным участием. Она продолжала плакать и не отвечала. Молодой человек, преодолев свою обыкновенную робость в эту минуту кризиса, хотел взять ее за руку; эта рука была запачкана кровью.

– Что это? – спросил он с беспокойством. – Вы ранены?

Кристина вспыхнула и поспешно вытерла пальцы о мох, на котором она сидела.

– Это не моя кровь, – прошептала она дико. – Друг мой, не отталкивайте меня с ужасом... Я совершила преступление!

– Преступление! Вы? Это невозможно! Ваше волнение...

– Я не в бреду и говорю правду... Да, преступление, гнусное убийство... Один человек хотел оскорбить меня, и я ранила его, без сомнения, смертельно... О, Леоне, Леоне! Простит ли мне Бог?

Леоне думал, что эти признания были результатом болезненного воображения, но графиня де Баржак вкратце дала ему несколько объяснений.

– Вы всегда были так строги в ваших суждениях, Леоне, – продолжала она, – так безжалостны к слабостям, почему вы не делаете мне упреков? Вот что произвели эта ветреность, это неблагоразумие, опасности, которые напрасно старались мне растолковать... О,

говорите, говорите же; я предпочитаю ваше осуждение, ваш гнев этому печальному молчанию!

Леоне грустно улыбнулся.

– Осуждать вас, графиня, – возразила он, – делать вам упреки, когда вы страдаете, когда я вижу вас в огорчении? Я могу только сожалеть о вас... Притом, – прибавил он, одушевляясь, – разве вы не законно защищались, и если нашелся такой негодяй, который мог оскорбить вас, почему же вам было не наказать его?

– И вы не говорите мне, что лучше было бы не подвергаться этому оскорблению?... Вы не говорите мне, что мое необдуманное поведение могло поощрить этого недостойного дворянина в его дурном умысле и что, следовательно, ужас его преступления и моего должен отразиться на мне?.. Но вы правы, Леоне, потому что самые горькие упреки не могут увеличить моих угрызений...

– Ради бога, Кристина, ободритесь, умоляю вас! Барон заслужил свою участь, и притом рана его может быть не смертельна. Без сомнения, быстрая помощь...

– Вы это думаете? – пылко вскричала графиня де Баржак. – Возможно ли, чтобы он не умер? Но нет, нет! – продолжала она тотчас же. – Я услышала его горестный крик, я увидела, как он упал к моим ногам, я видела, как кровь текла из его груди. Леоне, выслушайте мое торжественное обещание. С сегодняшнего же дня я не буду тем угрюмым и своевольным ребенком, непрерывное непослушание которого приводило в отчаяние всех моих друзей. Я буду вести себя, как все женщины; мне стоило слишком дорого желание выйти из этого положения. Я буду скромна, робка, как другие; я не буду подвергаться по неведению легкомыслия ужасной необходимости... Вы, Леоне, были уже для меня благоразумным и преданным братом, вы поможете мне в этом преобразовании, не правда ли? Правила, которые в устах других оскорбляют меня и раздражают мою гордость, кажутся мне исполненными кротости, когда их произносите вы. Слушая вас, я испытываю только чувство восторга к вашему благоразумию, признательность к вашему дружескому усердию и серьезно думаю исправиться.

Невозможно передать восхитительную наивность, выражение целомудренной и доверчивой простоты, которые сопровождали эти

слова. Кристина, до сих пор столь надменная, была как бы укрощена горестью.

– О! благодарю за эту решимость, друг мой, – вскричал Леоне с восторгом, – благодарю за ваше доброе мнение обо мне!.. Итак, Кристина, милая Кристина, вы не любите барона де Ларош-Буассо, и сознание в оскорблении вашей нежности нисколько не занимает место в вашем отчаянии?

– Чтобы я любила этого развратника! – вскричала графиня де Баржак, краснея. – Как это могли вы подумать, Леоне? Я видела в нем только приятного собеседника, простое и откровенное обращение которого напоминало мне (да простят они мне мое заблуждение!) обращение моего отца и дяди, столь исполненное, однако, чести и благородства.

– Благодарение Богу, не допустившему, чтобы это заблуждение имело для вас еще более пагубные последствия!.. Ну, Кристина, если вы расположены последовать моим советам, мы должны поторопиться предупредить возможные последствия этого трагического происшествия. Как только вы немного оправитесь от вашего волнения, мы воротимся в Меркоар, расскажем моему дяде все, что случилось, и конечно, он сумеет придать этому делу наименее неблагоприятный оборот.

– Вашему дяде, фронтенакскому приору? – возразила Кристина, и черты ее лица помрачались.

Леоне заметил эту перемену.

– Ах, графиня! – возразил он с пылкостью. – Я вижу, вы сохраняете несправедливое предубеждение против этого превосходного человека; это неблагодарность. Почему вы упорствуете в этом необъяснимом отвращении ко всем тем, кто имеет над вами власть?.. Кристина, клянусь вам, вы не понимаете моего дядю; он не строг до непомерности, он великодушен, исполнен христианского милосердия; его высокий разум понимает и извиняет проступки, когда они заглажены раскаянием. Доверьтесь ему; если б вы знали, какие добрые слова находит он, чтобы успокоить взволнованную душу! Я сам имел этому доказательство сегодня утром; я обратился к нему печальный, несчастный, отчаянный – и он оставил меня твердым, мужественным, исполненным надежды!

– Я никогда не сомневалась, – холодно возразила Кристина, – в красноречии фронтенакского приора... Но, – прибавила она совсем другим тоном, – каким образом вы, Леоне, имели надежду в его утешениях?

– Графиня, не спрашивайте меня... я не могу сказать вам. Знайте только, что одного слова моего дяди было достаточно, чтобы сделать надо мной чудеса. Вопреки моему рассудку я мечтал о счастье, которое казалось мне невозможным, и самое мрачное уныние овладело мной. Приор сообщил мне, что моя надежда была законна, что мое честолюбие не было безумно... Поэтому я теперь буду поступать с горячностью и постоянством; я чувствую себя твердым, исполненным мужества и сделаю все для того, чтобы заслужить награду, которой осмеливаюсь добиваться!

Леоне не думал, чтобы графиня де Баржак могла подозревать сквозь неопределенность его слов, какой награды добивался он. Он забывал, что блеск его глаз, его тон, его движения обнаруживали истину, и не знал, что самая невинная женщина одарена чудным инстинктом, чтобы узнавать любовь, которую возбудила.

Кристина удалилась от него с быстрым, почти исполненным ненависти движением. Действительно, вероломные намеки Ларош-Буассо пришли ей на память. Она вспомнила, что ей говорили о скрытной интриге фронтенакских бенедиктинцев, затеянной для того, чтобы отдать ее руку племяннику фронтенакского приора, и вся ее гордость возмущалась при мысли об этом злоупотреблении власти. Поэтому, хотя, может быть, тайное чувство влекло ее к Леоне она почувствовала только негодование, когда молодой человек обнаружил под прозрачным покрывалом свои чистосердечные надежды. Выражение этой целомудренной честной любви, которое она, может быть, выслушала бы без гнева за несколько часов перед этим, возбудило необыкновенное отвращение в ее предубежденном уме.

Она встала и, не смотря на Леоне, сказала сухо:

– Берегитесь; может быть, надежды, за которые ручается даже ваш дядя приор, не осуществятся. Фронтенакские бенедиктинцы не могут вертеть светом по своим прихотям, как ни упорны и ни хитры они; может быть, заметят это скоро... Но, – продолжала она, – я должна воротиться в замок; я чувствую себя лучше... А вы так слабы, что не можете следовать пешком за моей лошадью, которая, со своей

стороны, неохотно согласится идти шагом... Мы встретимся в Меркоаре... Где же эта проклятая лошадь? Черт побери! Неужели она убежала?

Она хлопнула бичом и позвала Бюша, но Бюш не показывался. Ретивому животному, капризному и причудливому, как его госпожа, заблагорассудилось прогуляться по лесу; оно отправилось во время предыдущего разговора и, как мы сказали, уже одно воротилось в замок.

Кристина нахмурила брови, топала ногою и выказывала все признаки гнева, который имел еще другую причину, кроме фантазии ее лошади. Леоне, не понимая ничего в этой внезапной перемене разговора и обращения молодой графини, встал и робко предложил свои услуги. Кристина отказала ему.

– Нужды нет, – сказала она, – я пойду пешком, я знаю дорогу... Не беспокойтесь, я достаточно взрослая, чтобы идти одной, и по дороге я сделаю некоторые распоряжения... Вы больны, вы ранены, вы можете потихоньку воротиться в Меркоар.

Леоне все отыскивал, но напрасно, причину этого сильного раздражения. Он спросил почти с трепетом:

– Ради бога, графиня, скажите мне, каким образом имел я несчастье прогневить вас? Я не в состоянии себе объяснить.

– Прогневить меня, мосье Леоне? А каким образом могли бы вы прогневить меня? Ваши дела меня не касаются, особенно в эту минуту, у меня довольно и своих... Но скоро будет дождь... Возвращайтесь скорее в замок, и я отправлюсь туда же, со своей стороны.

– Кристина, графиня, умоляю вас, позвольте мне вас проводить. Этот лес небезопасен... я не буду говорить с вами, вы прикажите мне это, я только буду идти возле вас и...

– Неужели все непременно хотят держать меня под опекой? Черт побери! Я, однако, доказала сегодня, что в состоянии защищать сама себя... Оставьте меня, милостивый государь... не следуйте за мной; я вам запрещаю следовать за мной!

Она решительно пошла по первой тропинке и удалилась.

Леоне не смел пошевелиться, но, когда Кристина исчезла на повороте дороги, он не мог устоять против своего беспокойства. Он побежал опроретью, чтобы догнать ее, и скоро увидел ее в просеке остролистника и орешника. Графиня де Баржак, заметив, что он

следует за ней, вдруг остановилась, обернулась и сделала такой угрожающий жест, что бедный молодой человек остановился, словно пригвожденный к своему месту.

Однако, как только Кристина исчезла из вида, обаяние, державшее его неподвижным посреди дороги, прекратилось. Он быстро пробежал просеку, но в конце ее не нашел уже графини де Баржак. Он пустился по тропинкам, которые перерезывали по всем направлениям эту часть леса, и нигде не видел странной фигуры молодой девушки. С отчаяния он позвал ее; одно только насмешливое эхо отвечало ему.

Тогда племянником приора овладело глубокое уныние; прислонившись к дереву, он проливал слезы.

– Она от меня бежит, – шептал он, – она предпочитает скорее подвергаться опасностям, ожидающим ее, может быть, в этой пустыне, чем принять мою помощь... Боже мой! Каким образом мог я оскорбить ее до такой степени? Без сомнения, я был так неосторожен, что слишком ясно высказал мои тайные желания, а так как она меня не любит... она ведь не хочет любить никого... Ах, приор был прав! Я не должен был спешить предаваться радости считать уничтоженными препятствия, разлучающие нас. Вот самое ужасное из всех: она не любит меня!.. Горе мне, горе мне!

Он продолжал после минутного молчания:

– Не могу же я, однако, бросить ее таким образом. Я буду наблюдать за ней издали, без ее ведома... и, когда увижу ее в безопасности, пусть свершится наша судьба!

Он снова углубился в лес, забыв, что он один, безоружен, ослабел от раны, что рука его висит на перевязи, стало быть, он не может быть очень полезен той особе, которую хотел защищать.

Со своей стороны, графиня де Баржак была не менее взволнованна. Это новое впечатление, увеличившее уже столь сильные впечатления этого утра, довело до высочайшей степени напряжение ее нервов, горячность ее крови и беспорядочность мыслей. Хотя она легкими шагами касалась травы тропинок, голова у нее кружилась, в ушах жужжало, окружающие деревья представлялись ей как будто танцующими какой-то адский танец. Однако упорство, с каким ее преследовали, не допускало ее замедлить свой бег. Подобрав свое длинное шелковое платье и сжав губы, бежала она по тропинкам, не думая, куда бежит.

Но когда она перестала видеть Леоне, когда не слышала более его голоса, когда почувствовала себя одинокой в огромном лесу, это мимолетное волнение мало-помалу исчезло, и она почувствовала потребность остановиться, чтобы перевести дух.

В нескольких шагах от нее уединенная скала, покрытая исландским мхом, возвышалась на покатости холма; у подножия скалы находилось небольшое углубление, куда легко можно было спрятаться. Кристина направились к этому убежищу, и притаилась там, едва переводя дух, как преследуемая лань.

Сначала она закрыла глаза и оставалась почти без чувств, но через несколько минут пришла в себя и, приподнявшись на локоть, старалась разузнать, где она.

Под нею углублялся огромный бассейн, почти кругообразный, окруженный высокими горами, над которыми возвышалась величественная вершина Монадьерской горы. Лес занимал еще большую часть этой долины, однако древесный ковер, разрываясь там и сям, показывал нежную зелень лугов или мрачный пурпур вереска. В центре бассейна, обрамленного тростником и камышом, пруд, или лучше сказать, большая лужа, расстилала скатерть неподвижной воды. Эта лужа была хорошо известна меркоарским охотникам: сюда олени и вепри, преследуемые собаками, прибегали освежаться перед неизбежным концом. За четверть лье от того места, где находилась Кристина де Баржак, одинокий домик был полузакрыт чащей густых деревьев. Так далеко, как только могло простираться зрение, не виднелось другого жилища.

Эти места, обыкновенно печальные и уединенные, имели, особенно в эту минуту, какой-то зловещий вид, которым они были обязаны состоянию атмосферы. Все, в самом деле, предвещало, что гроза, собиравшаяся с утра около вершины Монадьер, скоро разразится с неукротимым бешенством. Солнце исчезло. Купол черных и зловещих туч, покрывавших гору, неизмеримо расширялся. Время от времени глухой грохот, подобный отдаленному стуку колес по мостовой, раздавался из этой массы грозных туч. Обнаженные скалы, венчавшие гору Монадьер и овраг, были теперь невидимы. Однако из-под мрачного покрывала, опоясывавшего ландшафт как саваном, скользил еще бледный свет, центром которого была блестящая точка, видневшаяся на огромном расстоянии на линии горизонта.

Кристина, несмотря на свое волнение, не могла не узнать этих признаков, и сознание ее положения быстро воротилось к ней. Конечно, страсти стихают легче перед великими явлениями природы, как будто лучше чувствуя в этом случае свое ничтожество и слабость. Эта грандиозная картина более подействовала на Кристину, чем могли бы подействовать человеческие слова. Ее лихорадочные мысли начали успокаиваться, и она серьезно стала думать о том, где бы искать убежище от неизбежной бури. Она теперь знала, где она находится, и рассчитывала, что прежде часа не дойдет до замка; к несчастью, дождь, молния и ветер должны были разразиться на окрестности гораздо раньше этого времени. Кристине не оставалось других средств, как искать убежища в домике, о котором мы говорили, где жил лесничий Фаржо. Кристина решилась на это, когда одно новое обстоятельство возвратило все ее беспокойство.

Уже несколько минут она слышала странный шелест в кустах; кто-то ходил по сухим листьям и прокладывал себе дорогу сквозь кусты. Тишина так была глубока в эту минуту, что Кристина ясно различала треск сухих ветвей под ногами этого неизвестного существа. Впрочем, там шли как будто по следам, шум раздавался то справа, то слева, но все приближался.

Все преследуемая идеей, что Леоне гнался за ней, Кристина подумала сначала, что случай привел в эту сторону ее упорного покровителя, и она снова спряталась в углубление скалы; но скоро сомнение овладело ее мыслями. Леоне ли бродил таким образом вокруг нее? Осторожно подняв голову, она тихо отодвинула ветви и посмотрела.

Испуг помешал ей вскрикнуть. Ее преследовало не человеческое существо, а огромный зверь с взъерошенной шерстью, с красным языком, высунувшимся из-за клыков, со сверкающими глазами. Кристина, дочь и племянница самых знаменитых охотников в провинции, была слишком опытна в звериной ловле, чтобы не узнать чудовищного волка; без всякого сомнения, перед ней находился огромный зверь, столь лакомый до человеческого тела, который в это самое утро избежал преследований нескольких десятков охотников и которого называли жеводанским зверем.

Бедная девушка, несмотря на мужество, которое она показывала в обыкновенных обстоятельствах, задрожала всеми членами. Однако она

надеялась еще, что, когда она спрячется, чудовище ее не приметит. Неподвижная, удерживая свое дыхание, она с беспокойством примечала каждое движение своего ужасного врага. Волк шел небольшими шагами, опустив морду к земле, как хорошо дрессированная ищейка, отыскивающая след дичи; так же, как ищейка, он фыркал время от времени; иногда также он останавливался, нюхая ветер; казалось, будто воздух приносил ему самые свежие испарения добычи, которую он с жадностью искал. Но скоро, с чудной чуткостью своей породы, он прибегал к средству более медленному, но более верному и, снова уткнув морду в землю, принимался настойчиво отыскивать след.

Он делал именно те извороты, которые делала Кристина за несколько минут перед тем, когда отыскивала место, куда ей спрятаться от Леоне. Стало быть, зверь отыскивал ее следы! Она была предметом этой страшной охоты, где роли так страшно переменились! К счастью, Кристина, отыскивая место, благоприятное для своего намерения, несколько раз возвращалась назад, так что запутала свой след. Это обстоятельство затруднило волка, который, несмотря на свою чуткость, несколько раз ходил в одном кругу; но он не мог не узнать своего заблуждения, и тогда нескольких скачков было бы для него достаточно, чтобы достигнуть бедной девушки – верной награды его жестокого упорства.

Кристина видела с возрастающим ужасом, как зверь колебался, размышлял, сравнивал, как будто был наготове найти потерянный след, когда новый шум поднялся в кустах и встревожил самого волка. Сквозь раздвинувшиеся кусты показался человек, в котором по его ветхому костюму, по скотской физиономии Кристина тотчас узнала Зубастого Жанно.

Несмотря на свою недавнюю ссору с безумным бродягой, Кристина не могла не обратиться в этой крайней опасности к помощи такого же человеческого существа, каким была она сама, как бы ни было низко это существо. Она хотела встать, но у нее не достало сил; она хотела закричать – голос замер у нее в горле. Дикий зверь, ходивший взад и вперед с разинутой пастью, сковывал ее чарами, как змея сковывает птичку, еще в безопасности сидящую на ветке дерева, но которую привлекает непреодолимая сила.

Между тем как несчастная Кристина не могла ничем помочь сама себе, Зубастый Жанно дошел до прогалины, где волк беспрестанно вертелся, досадуя, вероятно, что ему помешали. Он выразил свой гнев глухим ворчаньем, заскрежетал своими страшными зубами, но Жанно это не испугало.

– Гм! гм! Чего ты ищешь? – спросил он своим хриплым голосом. – Разве ты не знаешь, что теперь всюду рассыпаны охотники? Следы их везде видятся в лесу... Ну, старик, подними свою морду! К чему ты так теряешь свое время?

Кристина была слишком далеко, чтобы внятно слышать эти слова, но она испытывала невыразимое удивление при виде очевидной короткости, господствовавшей между жеводанским зверем и бродягой. Какие отношения могли сблизить эти два диких существа? Не только волк не бежал при виде Жанно, не только он не устремился на него, но еще, очевидно, считал его товарищем и союзником. Однако можно было подумать, что этот союз зверя и человека подвергнулся кризисам, способным подвергнуть его опасности; таким образом, в эту минуту волк, все более недовольный вмешательством Жанно в его дела, удваивал глухое ворчание. Жанно в свою очередь принял рассерженный вид.

– Я говорю тебе, что ты дурак и теряешь понапрасну время! – прибавил он хриплым голосом. – Но если ты так упрям, ступай... ищи... Ты, без сомнения, найдешь охотника, который всадит в тебя пулю.

Волк, как бы пренебрегая этими угрозами, опять начал искать, между тем как Жанно отошел несколько в сторону, пожимая плечами.

На этот раз неизбежность опасности возвратила Кристине и силу и голос. Сама еще не зная, пагубна или полезна будет ей помощь, к которой она хотела обратиться, она закричала раздирающим тоном:

– Жанно! Жанно! Помогите мне! Безумный вздрогнул, волк остановился, приподняв в воздух свою толстую лапу. Жанно напрасно старался узнать, откуда раздался крик; зато зоркий глаз зверя направился без нерешимости к скале и устремился на Кристину с грозной пристальностью. Зубастый Жанно, привыкший полагаться на более верный инстинкт своего товарища, посоветовался с ним взглядом и, наконец, заметил бледное лицо молодой девушки посреди листьев.

Полминуты было употреблено на взаимное наблюдение, и можно понять тоску Кристины во время этой полминуты неизвестности. Испугавшись того, что она сделала, Кристина не смела ни заговорить, ни пошевелиться. Со своей стороны, зверь и Жанно оставались на одном месте, как будто каждый обдумывал, на что ему решиться. Волк решил первым; он завыл от удовольствия, провел языком по губам и начал подвигаться к атаке.

Но он рассчитывал без Жанно. Тот при виде этого значительного маневра прервал размышление, без сомнения, мучительно сталкивавшееся в его мозгу, и бросился перед зверем с неистовой радостью.

– Барышня! Барышня! – закричал он. – А! Как ты хорошо пронюхал, волк, мой товарищ!.. Но она принадлежит мне; не трогай ее... Я знаю другую, ту я отдам тебе... А эту я сам хочу взять. Она злая, она дурно обходилась со мной... Теперь с ней нет ружья; я ее возьму, видишь ли ты, или мы поссоримся!

Волк, одушевляемый присутствием Кристины, все старался приблизиться то справа, то слева, чтобы пройти мимо Жанно, но тот расстраивал его хитрости и преграждал ему путь. Зверь и не думал пускаться в ход свои страшные силы; однако могло быть неблагоприятным утомлять его терпение, потому что он начал ворчать сильнее и бросать на своего друга взгляды, не предвещавшие ничего хорошего!

Жанно тоже скоро рассердился.

– Говорю тебе, что она тебе не достанется, – продолжал он с повелительным движением, – я давно ее подстерегаю, потому что она наделала мне разных бед... Я дам тебе другую, для тебя, для тебя одного... а эту я возьму сам, хоть бы нам пришлось драться с тобой!.. А! ты ворчишь... А! ты возмущаешься против твоего отца, твоего благодетеля! Или ты думаешь, что напугаешь меня? Ну, повторяю тебе, она тебе не достанется!

Кристина слышала невнятно эти слова, но была уверена, что от Жанно она не может ждать никакой помощи; мало того, она уже боялась его наравне с самим зверем. Воспользовавшись спором, поднявшимся между двумя свирепыми товарищами, она проворно выскочила из своего убежища и с невероятной быстротой побежала к долине.

В ту же минуту свирепый рев и страшный крик показали, что началась борьба.

Кристина не остановилась удостовериться в этом, но борьба была непродолжительной, и скоро восстановилась тишина. Но даже и это удвоило ужас Кристины; без сомнения, ее гонители, человек и зверь, соединили свой усилия, чтобы пуститься за ней в погоню. Кристине уже чудились они за ней, и она все бежала, перепрыгивая через овраги, через кусты, через камни с головокружительной быстротой.

Через несколько минут этого неистового бега Кристина почувствовала, что у нее захватывает дух; сердце ее готово было вырваться из груди, ноги подгибались. Она принуждена была остановиться под дубом.

Опасения ее были слишком основательны: совершенное согласие царствовало теперь между Жанно и волком, и оба горячо преследовали Кристину. Жанно бегом спускался с горы, растрепанные волосы его развеивались по ветру, он размахивал длинными руками. Волк бежал несколько дальше, опустив морду в землю, как будто нашел следы бедной беглянки; он бежал медленно, но с уверенностью настигнуть свою добычу.

Каждая секунда отдохновения увеличивала для Кристины возможность спасения, давая ей средство собраться с силами для дальнейшего бега; притом ей надо было скорее сообразить, что она должна делать. Несмотря на страшную погоню, Кристина не спешила бежать, доверяясь своему проворству; она размышляла о самом быстром средстве избежать опасности.

Лес был пуст; наступавшая гроза должна была принудить многочисленных охотников, с утра наполнивших лес, укрыться в своих жилищах. Без сомнения, Леоне воротился уже в замок. Стало быть, Кристина могла рассчитывать только на себя самое, чтобы успеть добраться до уединенного домика лесничего, видневшегося в глубине долины. Она решилась на это. Хотя она никогда не чувствовала большого расположения к Фаржо, необходимость принуждала ее искать убежища в жилище лесничего.

Приняв это намерение, она отправилась в путь. Во время этой краткой остановки волк и Жанно много приблизились к ней, но она скоро опять опередила их и углубилась в чащу, стараясь обмануть своих преследователей относительно настоящего направления, но

которому она бежала. Ее проделка удалась: каждую минуту человек и зверь останавливались в нерешимости, как будто потеряли ее след. Однако, так как они все-таки наконец открывали ее хитрость, Кристина с ужасом предвидела ту минуту, когда силы ее истощатся и она очутится в их власти.

Таким образом, Кристина добежала до рубежа леса, шагов на сто от домика лесничего; но домик был построен, как мы знаем, на открытой местности. Крестину непременно бы заметили. Однако колебаться было невозможно; волк и Жанно почти нагоняли ее, и ей уже чудилось их дыхание.

Итак, ей надо было бежать по равнине на виду у двух грозных врагов, которые могли решиться на какое-нибудь крайнее усилие. Когда Кристина выбегала из-под последних деревьев леса, небо подоспело к ней на помощь.

Порыв ветра ворвался в лес, так что все ветви согнулись, все стволы затрещали, густая пыль, мох, сухие листья закрутились в воздухе. В ту же минуту ослепительная молния прорезала тучи, удар грома загредел по долине, и крупные капли дождя закапали на листья старых каштановых деревьев.

Этот внезапный поворот в природе должен был поразить оцепенением всякое живое существо. Но Кристина, повиная инстинкту самосохранения, устремилась вперед с мужеством и, гонимая бурей, ослепляемая дождем, добралась до домика лесничего. Она отворила незапертую дверь, бросилась в домик с порывом ветра, угрожавшего опрокинуть это ветхое здание. Крик ужаса раздался изнутри, но Кристина не обратила на него внимания и собрала все свои силы, чтобы затворить дверь, отталкиваемую бурей. Ей это удалось, и она могла, наконец, считать себя в безопасности в жилище и под защитой людей, получавших от нее жалованье.

Глава одиннадцатая

Домик главного меркоарского лесничего был так же беден внутри, как самая жалкая хижина соседнего крестьянина. Мебель казалась старой и ветхой, хотя содержалась опрятно заботливой хозяйкой. Впрочем, темнота была так глубока в эту минуту, что эти подробности можно было заметить только при блеске молнии.

Особа, вскрикнувшая при входе мадемуазель де Баржак, была молодая девушка, худощавая, тщедушная, бледная. Одежда ее состояла из короткой юбки и казакина из старой полосатой материи; ее ноги были голы. Эта бедная девушка, дочь главного лесничего Фаржо, вовсе не была хороша собой, но ее болезненная бледность, ее кроткий и робкий вид, меланхолия, напечатанная на ее лице, внушали сострадание. Когда вошла графиня де Баржак, Марион пряла, и, судя по ее красным и утомленным глазам, можно было догадаться, что горесть была подругой ее уединения. Она смотрела с удивлением и беспокойством на бедную Кристину, которая упала на скамейку, не будучи в состоянии произнести ни одного слова.

Наконец Марион узнала, кто так бесцеремонно ворвался к ней.

– Боже мой! Это наша барышня! – вскричала она, сложив руки. – Кто бы этого ожидал?.. Ах, сударыня! Что с вами случилось?

Кристина начала приходить в себя и машинально оправляла беспорядок своей одежды – первая забота женщины, когда она опомнится.

– Да, это я, Марион, – отвечала она прерывающимся голосом, – гроза... за мной гнались... Отец твой дома?

– Нет.

– Стало быть, ты здесь одна?

– Одна... как всегда.

Это было сказано с раздирающей душу грустью, но Кристина была еще слишком расстроена, чтобы заметить эти оттенки.

– В таком случае, – возразила она, – поспеши запереть все двери в доме... За мной могут прийти сюда... Скорее! скорее!

Марион, без сомнения, давно привыкшая к бесстрастному повиновению, поспешила исполнить это приказание. Она заперла

главную дверь, потом, перейдя в другую комнату, приняла такую же предосторожность с другой дверью, находившейся с задней стороны дома. В эту минуту гроза усилилась, дождь, гром и ветер бушевали, и хотя окна были крепко закрыты, они тряслись, как будто сейчас готовы были раскрыться.

Марион, воротившись, увидела, что ее молодая барыня дрожит.

– Извините, – сказала она, – вы озябли и промокли, а я и не подумала...

Она взяла из угла связку хвороста и бросила в печь; скоро яркое пламя осветило комнату. Бедная девушка продолжала с замешательством:

– Когда наша добрая барышня удостоивает останавливаться у нас, мне бы следовало, может быть, предложить ей закусить чего-нибудь... молока... вина... но у меня нет ничего... ничего!

– Благодарю, – рассеянно отвечала Кристина, – мне довольно стакана воды.

Марион схватила с полки старый оловянный стакан, который долго вытирала полотенцем, потом наполнила водой и почтительно подала Кристине, опорожнившей его разом. Это оживило Кристину.

– Марион, – спросила она, – где теперь твой отец? Я не видела его на охоте сегодня.

– Он непременно должен воротиться, без сомнения, гроза принудила его остановиться на дороге... Он пошел в замок повидаться с фронтенакским приором.

– Чего хотел он от приора? – спросила Кристина, гнев которой пробудился. – Если он хотел просить его о какой-нибудь милости, не лучше ли ему было прямо обратиться ко мне?

– Вы слишком добры, – отвечала Марион, униженно кланяясь, – отец мой не имеет привычки отдавать мне отчета в своих поступках.

Кристина не отвечала; она прислушивалась уже не к разговору, а к шуму снаружи.

– Сударыня, – робко спросила Марион после минутного молчания, – вы сейчас сказали, что кто-то испугал вас в лесу; кто же осмелился в вашем собственном поместье употребить против вас насилие?

– Один опасный сумасшедший, которого я прогнала с моей земли, но который опять появился здесь... Ты должна его знать, Марион; это

бывший протеже твоего отца, и я подозреваю, что Фаржо покровительствует ему, несмотря на мое запрещение.

– Боже мой! Моя добрая барышня, неужели вы раздражили Жанно?

– Может быть; сегодня я прогнала его из его шалаша в овраге Вепря; сумасшедший он или нет, а никто не ослушается безнаказанно моих приказаний... Сегодня, когда я одна блуждала по лесу вследствие одного происшествия, о котором ты узнаешь после, я встретила этого человека вместе с ужасным зверем... и тот и другой преследовали меня до вашего домика.

Марион посмотрела на нее с ужасом.

– Вы раздражили Жанно, – повторила она, – а мы одни! И отец мой не возвращается!

Она снова удостоверилась, заперты ли двери и ставни.

– Отчего вы так испуганы, Марион? – спросила Кристина, испугавшись в свою очередь. – Чего мы можем опасаться здесь?

– Я не знаю, но Жанно совсем не похож на других людей... Я хотела бы, чтобы мой отец воротился, я хотела бы, чтобы вы сами были в безопасности в Меркоарском замке.

– Разве Жанно сделал какой-нибудь вред твоему отцу или тебе?

– Никакого; он знает нас так давно! Но когда им овладеет бешенство, как сегодня... Да защитит нас небо, неужели у нас мало огорчений?

– Признайся, Марион, – продолжала графиня де Баржак строгим тоном, – твой отец покровительствует этому сумасшедшему старику и позволяет ему без моего ведома жить в моих владениях?

– Ну да, сударыня; но заклинаю вас, не браните моего отца за это... Жанно был нашим пастухом, когда мы жили в Варина при жизни моей бедной матери; хотя рассудок его помрачился с тех пор, ему нельзя отказать в сострадании. Притом отец мой уверяет, что Жанно знает очень важные вещи, и поэтому он его щадит. Когда этот несчастный сумасшедший возвратился сюда назад тому два месяца, отец мой не имел мужества выслать его и запретил другим лесничим мучить его. Жанно не зол, когда он в здравом рассудке, только он едва говорит и все прячется. Притом он живет на воздухе, неизвестно каким образом прячется и не просит ничего. Мы его видим здесь иногда, но...

Она остановилась. Среди шума бури ей послышался вдали дикий крик.

– Это что такое? – спросила она.

– Мне точно показалось... но нет, нет! Это свищет ветер в высоких деревьях... какая ужасная погода!

Они обе замолчали; дом трещал и стонал, как будто готов был опрокинуться от усилия расшвырявших стихий.

– Итак, – сказала, наконец, графиня де Баржак, – Зубастый Жанно приходит иногда в ваш домик?

– Да, да, барышня, и ужасно меня пугает... Когда он приходит в отсутствие моего отца, я бегу спрятаться на чердак, потому что он смотрит на меня с таким видом...

– Я знаю этот взгляд, – сказала Кристина, побледнев при этом воспоминании, – но, милая Марион, объясни мне, зачем за Жанно следует волк, которого называют жеводанским зверем, и почему этот зверь не только не делает ему никакого вреда, но еще, по-видимому, находит удовольствие быть с ним?

– Что вы говорите? – спросила Марион с искренним удивлением. – Я ничего этого не знаю. Правда, Жанно в припадках сумасшествия воображает себя волком; эта мысль пришла к нему, когда он пас свое стадо в горах, и я сама видела, как он бегал на четвереньках в лесу... Но боже мой! Как поверить, чтобы христианин мог жить в обществе жеводанского зверя?

– Я сама это видела, Марион, и никогда в жизни не забуду этой встречи... Да, да, – прибавила Кристина мрачным голосом, – по многим отношениям нынешний день оставит в моем воспоминании неизгладимые следы!

Наступило новое молчание.

– Я вспомнила теперь, – продолжала, наконец, Марион, – что Жанно, прежде чем лишился рассудка, слыл здесь колдуном и заколдовывал животных. В то время он приручил волчонка, которого нашел в лесу, и этот волчонок бегал за ним везде, как собака. Отец мой и другие лесничие принудили Жанно освободиться от его воспитанника, который был утоплен или убит из ружья, право, не знаю хорошенько; но с того времени Жанно очень мог заколдовать другого дикого зверя.

– И почему знать, – сказала Кристина, пораженная какой-то идеей, – точно ли был убит этот волчонок? Не успел ли Жанно обмануть лесничих; может быть, его воспитанник вырос теперь... Это предположение достаточно объяснило бы страшные вещи, поразившие меня, и я почти уверена...

– Ш-ш! послушайте! – сказала Марион шепотом.

На этот раз на некотором расстоянии от дома внятно послышался вой – громкий, повелительный; ему вторил другой вой – более хриплый, менее твердый, неловко подражавший первому.

– Мы погибли! – прошептала Марион, едва дыша.

– Этот адский зверь нашел мой след, несмотря на грозу и эти потоки воды, – сказала Кристина, почти столько же взволнованная. – О, если бы у меня было оружие!

Ружье Фаржо висело над камином, и Кристина схватила его с жадностью. Но ружье ленивого и беззаботного лесничего было заржавлено и не заряжено. Напрасно Кристина просила, чем зарядить; бедная Марион, обезумев от испуга, не понимала ее.

Между тем вой приблизился, и вдруг в дверь сильно постучали; вслед за этим девушки с ужасом услышали, как страшные когти вонзились в дерево, пытаясь отворить дверь, но она не поддалась. Глухой голос произнес снаружи:

– Это – волки!.. Волки хотят войти... Отвори, Марион, отвори скорее, или волки съедят тебя!

Марион, неспособная отвечать или даже сделать движение, прижималась к Кристине; та, безмолвная и сама дрожащая, скоро отказалась от приготовления к обороне, которую считала бесполезной.

Удары и царапанье продолжались с возрастающим бешенством. Затем последовала попытка проложить проход из-под двери; из-под нее разносился глухой рык, дверь тряслась, и был слышен скрежет когтей о землю и камни. Внезапно, в щели под дверью бедные осажденные увидели толстую мохнатую лапу с ужасными когтями. Затем лапа исчезла и неожиданно, на какое-то время, наступила тишина.

Потом послышались шаги вокруг всей хижины, и царапанье теперь слышалось в самых разных местах. Похоже, нападавшие искали слабое место в стенах хижины. Зубы и когти не переставали

скрежетать, и за каждой бесполезной попыткой следовал зловещий вой.

Положение несчастных молодых девушек начинало становиться отчаянным. Глубокая темнота, теперь окружавшая их и едва прерываемая молнией сквозь щели, шум стихии, непрерывный вой, а более всего нападения, производимые постепенно на все части хижины, нагоняли на них смертельный ужас. Постройка была довольно старая и весьма ветхая, было невозможно, чтобы нападающие, человек и волк, не успели скоро пробраться в дом, если бы не подана была помощь. Но в такой поздний час и в такую ужасную погоду кто мог прийти в хижину лесничего? А если бы, какой заблудившийся охотник направился в эту сторону, если бы даже сам Фаржо, как надеялась его дочь, воротился домой, что мог сделать один человек против жуткого зверя и бешеного сумасшедшего, столь же опасного, как и сам зверь?

Однако осаждающие как будто поняли бесполезность своих нападений и, переменив тактику, сосредоточили свои усилия на ставне одного окна, полусгнившем от сырости. Сильная рука, без сомнения, вооруженная камнем, не переставая била в ожесточении, а за окном хриплый голос возбуждённо повторял:

– Волки хотят войти... Волки войдут... и сожрут всех... Волки сейчас войдут!..

Удар более сильный, чем другие, расколол ставню; свирепый хохот объявил об этом результате бедным растерявшимся женщинам.

Они не могли видеть друг друга, но машинально отыскивали одна другую в темноте и прижались друг к другу.

– Нет более надежды! – сказала Марион прерывающимся голосом... – О, барышня! Бог мне свидетель, что я дрожу не за себя... Я была так несчастна! С тех пор как я лишилась матери, я не имела ни одной минуты радости; часто я нуждалась в самом необходимом, брошенная, одинокая, я выплакала все глаза; нет, я не боюсь смерти для себя, хотя хотела бы, чтобы смерть была менее жестока; часто глядела я на болото позади дома и хотела броситься в него, чтобы прекратить мою несчастную жизнь... Но я боюсь за вас, барышня; вы так прекрасны, так знатны, так богаты, вы имеете все для того, чтобы быть счастливой!

– Наше положение почти одинаково, – тихо возразила Кристина, – но мы не можем погибнуть таким образом. Как! между этой толпой, окружавшей меня и расточавшей мне уверения в преданности, неужели не найдется никого, чтобы защитить меня?

– Мы теперь должны надеяться только на Бога.

– Однако я надеялась, что, по крайней мере, один человек... Но нет, нет! Я отвергла его услуги и, может быть, даже в эту ужасную минуту не решилась бы их принять!

– Человек... который вас любит? – спросила Марион тоном неизъяснимой грусти. – Ах! Неужели вы пользуетесь всем возможным счастьем на свете?... А меня никто не любит, никто не будет сожалеть обо мне, когда меня разорвет этот дикий зверь!

В эти мгновения ставня треснула и её оторвали! Блеск сверкнувшей молнии позволил увидеть отвратительную фигуру насквозь промокшего Жанно, широкую, страшную морду и сверкающие глаза волка, который, стоя на задних лапах, рвал зубами треснувшую ставню.

Марион закрыла лицо руками, но осталась неподвижна, с безропотной покорностью судьбе. Графиня де Баржак, напротив, не могла выдержать этого страшного видения. Она отступила в самый конец комнаты и закричала:

– Помогите! Боже мой! Помогите!.. Я считала себя твердой, а у меня нет ни сил, ни мужества... О! Кто ни помог бы мне в моем глубоком горе, я стала бы его благословлять всю свою жизнь!

Как будто эта мольба была услышана: человеческие голоса отвечали на некотором расстоянии от хижины. Жанно и зверь остановились в ту минуту, когда готовились броситься в дом.

– Помогите! – опять закричала Кристина, оживленная внезапной надеждой.

– Помогите! – повторила Марион слабым голосом.

Четыре сверкающих глаза исчезли из окна, и в ту же минуту прибежали несколько человек. Начали стучаться, и кто-то говорил за дверью:

– Она здесь! Я узнал ее голос... Я уверен, что она здесь!

Очевидно, опасность прошла, но Кристина не могла пошевелиться. Дочь лесничего, менее взволнованная, пошла отворить дверь. Тотчас несколько человек бросились в хижину. Там была

совершенная темнота, и один из вошедших спросил взволнованным тоном:

– Кристина, графиня де Баржак! Ради бога, где вы?

– Я здесь, Леоне, и благодарю вас и тех, кто пришел с вами, за услугу, оказанную мне!

– Слава Богу! Ах, графиня, как вы меня встревожили!

Марион зажгла свечу. Леоне привел с собой лесничего и слугу из замка, которых он встретил в лесу, отыскивавших Кристину. Он приказал им присоединиться к нему, и, несмотря на дождь, все трое осмотрели лес. Наконец, предположив, что графиня де Баржак нашла убежище в домике лесничего, единственном жилище, находившемся в лесу, они отправились удостовериться в этом, и, как мы видели, пришли очень кстати.

Они казались в самом плачевном состоянии; они перенесли всю тяжесть этой ужасной грозы, и с одежд их струилась вода. Особенно Леоне казался лишившимся сил; его рука, висевшая на перевязи, должна была воспретить ему подобные усилия; бледность лица показывала его ужасное утомление. Однако он не жаловался; напротив, сиял радостью, видя, что графиня де Баржак здрава и невредима. Со своей стороны, лесничий и слуга несколько не тревожились беспорядочностью своей одежды; удовольствие видеть свою молодую барышню, которую они обожали, несмотря на ее резкие выходки, а может быть также и мысль получить хорошую награду, делали их равнодушными к остальному.

Бедная Марион поспешила бросить новую связку дров в камин – вот все, что она могла сделать для своих гостей. Пока они сушили у огня свое промокшее платье, Кристина сидела в стороне и беспрестанно повторяла машинально:

– О, какой день! Какой ужасный день!

Наконец она обернулась к Леоне и спросила его тоном, в котором еще слышалась некоторая дикость:

– Сейчас, по прибытии сюда... вы должны были их видеть?

– Кого, графиня?

– Тех, кого ваше присутствие обратило в бегство... Этого отвратительного сумасшедшего и этого страшного зверя, жертвой которого мы чуть было не сделались...

– Я вас не понимаю, Кристина... мы не видели никого.

– Как! Перед этим окном вы не заметили...

– Мы пришли с другой стороны; притом дождь ослеплял нас, и ветер шумел в ушах... Но ради бога, графиня, скажите мне, что случилось?

Кристина рассказала ему в нескольких словах свои приключения с тех пор, как она рассталась с ним в лесу.

Присутствующие слушали с видом изумления, к которому примешивалось недоверие. Сам Леоне готов был думать, что графиня де Баржак была еще в бреду горячки, и недостаточно скрыл это мнение.

– Черт побери! Неужели вы принимаете меня за сумасшедшую? – вскричала Кристина со своей обыкновенной пылкостью. – Расспросите бедную Марион, пусть она вам скажет, что она видела, что она слышала здесь сейчас.

Марион, робко потупив глаза, подтвердила рассказ своей госпожи.

– И если этого свидетельства вам недостаточно, рассмотрите окно. Те, которые сломали ставень, разве химерные существа?

Лесничий поднял обломки разломанного ставня. Хотя дерево сгнило на поверхности, но внутренность толстого дуба сохраняла еще замечательную прочность, и потребна была необыкновенная сила, чтобы сломать его. Сверх того, на доске виделись глубокие следы, будто проведенные железным орудием.

Обломки ставня переходили из рук в руки; лесничий и слуга рассматривали их, с изумлением качая головой. Леоне был задумчив.

– Извините меня, графиня, – сказал он, – что я осмелился выразить сомнение насчет этого необыкновенного происшествия. Я теперь помню, как читал в разных сочинениях, что некоторые люди, привыкшие к уединенной жизни, особенно горные пастухи бывали подвержены помешательству, состоящему в том, чтобы считать себя превратившимся в волка. Это помешательство, называемое учеными ликантропией, довольно обыкновенно, говорят, в Франконии и Верхней Шотландии, но, признаюсь, до нынешнего дня я принимал эти рассказы за басни, и существование этих людей-волков, или ликантропов, казалось мне очень проблематическим. Теперь мне не остается никакого сомнения на этот счет; для меня ясно, что Зубастый Жанно одержим ликантропией. Но для меня решительно непонятно

согласие, существующее между этим сумасшедшим и волком – настоящим, кровожадным, страшным, опустошающим округу.

Кристина повторила объяснение, сообщенное ей Марион Фаржо, о волчонке, которого Жанно когда-то сделал ручным. Так как Леоне не видел еще в этом обстоятельстве достаточной причины для такого чудовищного товарищества, старый лесничий, гревшийся перед огнем, вдруг сказал:

– С вашего позволения, сударь, и с позволения нашей благородной барышни, я скажу, что во всем этом нет ничего необыкновенного. Если Жанно точно воспитал этого зверя, он очень мог к нему привязаться, если б опять сделался диким. Я мог бы привести несколько примеров в таком роде. Мне самому раз пришла фантазия воспитать маленькую волчицу, которую чуть было не растерзала свора графа. Я отдал ее кормить моей собаке, которая очень к ней привязалась и давала ей сосать наравне со своими щенятами. Когда волчица выросла, я крепко привязал ее, боясь несчастья; она сорвалась с цепи и убежала. Я совсем забыл о ней, когда через два года, охотясь в Пуильякском лесу, вдруг увидел, что моя собака побежала по одному следу, не залавав. Не зная, что это значит, я пошел за ней и увидел, что она дружески лижет волчицу, которая также ее ласкала. Волчица прыгнула, увидев меня. Я выстрелил в нее, бедная упала, и, когда я подошел к ней, она подползла ко мне и начала лизать мне ноги. Мы узнали друг друга. Это была та волчица, которую я воспитал; собака моя визжала, и, кажется, я тоже плакал... видите ли, Даже хищные звери имеют чувства... Однако я должен признаться, что, если бы у этой волчицы были детеныши, мы с моей собакой не были бы так хорошо приняты.

– Мне показалось, – сказала графиня де Баржак, – что между этим несчастным сумасшедшим и его ужасным товарищем иногда нарушалось согласие... как бы то ни было, надо поскорее освободить наш край от этих ужасных обитателей.

– Точно ли Зубастый Жанно опасен сам по себе? – спросил Леоне, пораженный подозрением. – Послушайте, лесничий, вы не станете отпираться, что часто встречали Жанно в лесу после его возвращения из Меркоара, хотя ваш начальник, главный лесничий Фаржо, запретил вам говорить об этом обстоятельстве? Заклинаю вас отвечать мне откровенно: считаете ли вы этого сумасшедшего способным нападать на людей?

Слушатель не забыл, что Леоне, когда он свалился с лошади в Монадьерском лесу, думал, что на него напал не волк, а человек.

Лесничий отвечал, что Жанно, которого, впрочем, он знал очень мало и видал только два или три раза, показался ему безвредным и всегда убегал при его приближении. Марион подтвердила его слова.

– Стало быть, я ошибался, – сказал Леоне, – Я подозревал... но нет, нет! Я клеветал на этого бедного сумасшедшего. Он не мог довести подражание так далеко!

Во время этого разговора гроза стихла, дождь перестал. Бури в горах бывают тем короче, чем они сильнее. Слуга вышел на порог двери и сквозь большие черные тучи, бежавшие еще с раскатами грома, заметил синее небо, усеянное звездами. Он пришел сообщить присутствующим это приятное известие.

– Графиня, – сказал Леоне Кристине, все еще мрачной и задумчивой, – угодно вам отправиться в путь? В замке, верно, очень беспокоятся о вас... Однако так как дождь без сомнения, испортил дороги, не лучше ли послать за лошадью?

– Я пойду пешком, – возразила Кристина, поспешно вставая, – мне хочется поскорее быть дома и в безопасности. Мы, может быть, еще подвергаемся опасности, проходя через лес в такое позднее время.

У лесничего и слуги были ружья, но дождь подмочил порох, и Кристина приказала при себе зарядить ружья. У Леоне же была только одна трость, но он намерен был с пользой употребить ее в случае нападения, и уверил в этом Кристину, которая печально улыбнулась.

Окончив эти приготовления, графиня де Баржак подошла к Марион, которая с тайным опасением видела, что ее оставляют одну.

– Марион, милое дитя, – сказала Кристина ласково, – мы провели вместе один из таких часов, которые не забываются. Теперь ты будешь иметь во мне преданного друга. Слова, вырвавшиеся у тебя, сказали мне, что ты несчастлива; я хочу знать причину твоей горести. Приходи завтра ко мне в замок, ты расскажешь мне твои огорчения, и может быть, мы обе найдем средство поправить их.

Марион была тронута до слез.

– О, как вы добры! – отвечала она. – Я бедная девушка, я недостойна, чтобы такая знатная и богатая госпожа удостоила обратить на меня взор. Однако если вы почувствовали ко мне участие,

заклинаю вас, будьте снисходительны к моему отцу. Он, конечно, очень виноват, но, умоляю вас...

– Полно, полно, мы поговорим об этом, и я обещаю тебе, что все устроится, как ты желаешь. Приходи завтра в замок, я буду тебя ждать, а до тех пор не отчаивайся... Господа, готовы ли вы?

Марион, казалось, все более тревожилась, смущалась.

– Барышня, барышня, – пролепетала она, наконец, с усилием, – неужели вы меня бросите?.. А если они воротятся?

Кристина ударила себя по лбу.

– Это правда, – вскричала она, – я и не подумала об этом! Правду говорят, иногда я эгоистка и зла... Прости меня, Марион. Я должна была подумать, что тебя нельзя оставлять одну с этим разломанным окном. Ну, душа моя, почему бы тебе не пойти с нами в замок теперь же?

– Я не могу; отец мой скоро воротится и, если не найдет меня...

– Когда так, пусть с тобой остается Гран-Пьер до возвращения Фаржо. У него ружье, тебе нечего бояться под его покровительством.

– Ах, барышня, как я вас благодарю!.. Господин Гран-Пьер не очень утомится, отец мой скоро воротится.

Гран-Пьер, слуга, казался не очень доволен, данным ему поручением, от которого, однако, отказаться не мог.

– Э! Марион, – сказал он тоном досады, – если я должен ждать вашего отца, пожалуй, мне придется здесь ночевать.

– Почему же так?

– Потому что сегодня вечером мы с Жеромом нашли Фаржо мертвецки пьяным на краю крансакской дороги за четверть мили отсюда. Мы хотели уговорить его встать, но никак не могли, надо было нам нести его, а это оказалось невозможно, потому что он толст и тяжел. Мы только пихнули его в расселину скалы, чтобы укрыть от наступавшей грозы; верно, он и теперь там лежит и, по всей вероятности, не воротится до завтрашнего утра.

Марион покраснела от стыда, и обильные слезы потекли из ее глаз. Она сказала Кристине, не смея на нее глядеть:

– Простите ему; несмотря на его проступки, он любит меня... да, он любит меня, по крайней мере, сколько может любить; притом моя мать на смертном одре поручила мне беречь его всегда и во всем; я сдержу это священное обещание. Мой несчастный отец не может

провести ночь, подвергаясь непогоде и нападениям хищных зверей. Я должна сейчас идти за ним, но не могу без помощи.

– Я тебя понимаю; Гран-Пьер проводит тебя до того места, где находится твой отец, и поможет тебе, если нужно, привести его сюда. Он оставит вас, только когда вы воротитесь и когда вам нечего будет бояться... Ты довольна этим?

Марион рассыпалась в благодарности и выражениях признательности. В это время лесничий Жером поправил разломанное окно. Графиня де Баржак поручила Гран-Пьеру свою протезе, напомнила молодой девушке, что она ждет ее завтра, потом, опираясь на руку Леоне, в сопровождении Жерома, готового выстрелить, когда будет нужно, вышла из домика лесничего.

Глава двенадцатая

Оставшись одна с Гран-Пьером, Марион поспешно закрылась старым шерстяным плащом, ее лучшей одеждой и зимой и летом, потом вынула из старого сундука толстый сюртук отца, предполагая основательно, что он понадобится озябшему пьянице. Слуга, стоя возле двери, опираясь на ружье, глядел на нее с нетерпением.

– Когда будет конец? – спросил он грубо и топнул ногой. – Или вы хотите продержать меня здесь до завтра, красавица?.. Кажется, приличнее было Жерому идти поднимать своего пьяного начальника, а не мне, ливрейному лакею в замке!

Марион остановилась среди своих приготовлений и сказала со смесью печали и унижения:

– Если вам так неприятно идти со мной, оставьте меня, я пойду одна. Вам еще легко догнать барышню; скажите ей, что я вас отослала, что ваши услуги не были для меня необходимы; клянусь вам, что никогда ни одна жалоба против вас не вырвется у меня...

– Полно, полно, не будем терять времени; я получил приказание и должен его исполнить... Но каково быть на ногах целый день, промокнуть до костей! Я умираю от голода и усталости, а теперь должен бегать по лесу и отыскивать пьяницу вместе с босоногой принцессой в дырявой юбке!.. В это время другие в замке будут хвастаться, что спасли графиню де Баржак от большой опасности; им дадут денег, сестра Маглоар, кавалер, а может быть, и сам приор наговорят им комплиментов. А какой черт позаботится спросить завтра утром, как я провел ночь?.. Но вино нацежено, надо его выпить... Ну, готовы, вы, наконец?

– Готова, – кратко отвечала Марион. На одной руке несла она сюртук отца, в другой руке у нее была корзинка с полотном, корпией, со всем необходимым для перевязки ушибов или ран; несчастная девушка знала по опыту, что, без сомнения, эти предосторожности не будут бесполезны. К своему же туалету она не прибавила ничего, кроме маленького платка, который покрывал ее голову и обрамлял исхудалое лицо.

Марион не загасила свечи, чтобы не быть в темноте, когда воротится с отцом, потом заперла дверь и вышла со своим спутником, который все ворчал сквозь зубы.

Ночь была темная; дождь и гром прекратились, но молния еще блистала вдали. Впрочем, слабый свет с неба обещал указывать дорогу, по крайней мере, пока они не войдут в чащу леса. Величественная тишина царствовала в окрестностях; слышался только слабый шелест ветерка в глубине леса, звук дождевых капель, падавших еще с листьев каштановых деревьев, и потоков дождевой воды, стекавших в глубину оврагов.

Молодая девушка и Гран-Пьер шли рядом, не говоря ни слова. Они пошли по тропинке, переходившей через луг; каждую минуту лужи желтоватой и стоячей воды пересекали им путь. Босоногая Марион не тревожилась этим, но Гран-Пьер, принужденный беспрестанно делать обходы, удваивал проклятия.

Бедная Марион не отвечала, но только тихо вздыхала. Время от времени она хотела было уговорить своего проводника воротиться в замок, но, видя страшную пустыню, по которой они шли, не могла удержаться от трепета, и слова замирали на ее губах.

Таким образом они дошли до того места, где должен был находиться Фаржо; это был род кустарника в нескольких шагах от дороги; там и сям возвышались базальтовые скалы; деревья, кусты и скалы смешивались впотьмах.

Гран-Пьер с трудом мог найти дорогу. Он шарил с ругательствами в кустах и не мог найти того места, где положил пьяницу. Он звал изо всех сил и не получал ответа.

– Боже мой! – с ужасом сказала Марион. – Не случилось ли с ним чего?

– С такими людьми ничего не случается, – грубо возразил Гран-Пьер. – Мы найдем его! Он, верно, спит где-нибудь, как старый кабан... Вот я нашел дорогу... идите с этой стороны.

Он подошел к двум скалам почти пирамидальной формы, которые темнота сначала не допускала приметить, хотя их расположение было замечательно. Эти скалы соединялись на вершине, а между основанием их было пространство в несколько футов. В это-то ущелье отнесли лесничего. Гран-Пьер наклонился к отверстию и сказал громким голосом без церемоний:

– Эй! дядя Фаржо, вставайте!.. Довольно спать. Вставайте, говорю я вам! Ваша дочь пришла отвести вас домой.

– Да, да, батюшка, это я! – сказала Марион в свою очередь. – Встаньте, сделайте милость... вам здесь, должно быть, очень дурно... Пойдемте, не будем более задерживать господина Гран-Пьера.

Ворчание раздалось из ущелья.

– Святая Дева! Господин Гран-Пьер, – спросила Марион, все более и более пугаясь, – как вам кажется, он страдает, он жалуется?

– Он пьян в стельку и спит... Эй! Дядя Фаржо, – продолжал слуга с гневом, – что же вы не выходите из вашей берлоги? Вставайте, черт побери! Проспитесь дома!

Говоря, таким образом, он сильно дергал спавшего. Тот, по-видимому, услышал, наконец, этот беспрестанный зов и лениво повернулся на своем каменистом ложе.

– Налей-ка мне винца, товарищ Планшон, – отвечал он прерывающимся голосом, показывавшим еще полное опьянение, – налей мне винца... Но не заставляй меня болтать... дела этих знатных лиц касаются только меня одного... Давай вина, черт побери! А в награду ты услышишь песенку.

И пьяница с трудом запел старую песню.

– Вставайте! – перебил Гран-Пьер, опять тормоша его. – Пойдемте с нами скорее... Вы не в кабаке Планшона, браконьера, а под скалой, и дочь ждет отвести вас домой.

– Домой? Домой? – повторил пьяница, который не понимал смысла того, что ему говорили, но был, однако, поражен некоторыми выражениями. – Я не хочу возвращаться домой, мне там скучно... А Марион будет иметь приданое... да, приданое, а так как она добрая дочь, она отдаст мне эти деньги... Но кто же даст ей это приданое? Приор скряга и не попался на удочку, но я расскажу об этом дворянину, а тот задаст же этому плуту приору!

Гран-Пьер, взбешенный этим замедлением, может быть, прибил бы жалкого пьяницу, но Марион удерживала его.

– Умоляю вас, господин Гран-Пьер, – сказала она, – не делайте ему зла... дайте мне лучше поговорить с ним; он узнает мой голос и, может быть, поймет нас.

Лакей отошел немного в сторону, Марион в свою очередь наклонилась к отверстию скалы и сказала ласковым тоном:

– Ну, любезный батюшка, не пора ли нам воротиться домой? Я должна многое рассказать вам. Во время вашего отсутствия графиня де Баржак приходила к нам; с ней случились приключения, которые удивят вас... Но все кончилось хорошо; графиня была добра ко мне и приказала мне прийти в замок завтра; она обещала, что мы все будем счастливы... Вот это так новость! Но разве вы не хотите идти со мной? Я вам расскажу это дорогой.

Она ждала ответа; только после минутного молчания ей отвечали грубо:

– Марион! Как она могла узнать, что я здесь?.. Негодница, лентяйка, чего ты хочешь? Ведь я запретил тебе беспокоить меня, когда я в Крансаке, у моего друга Планшона! Убирайся скорее! Я хочу всю ночь пить и есть!

И пьяница опять заснул. Тогда нетерпение Гран-Пьера вышло из границ.

– К черту и отца и дочь! – закричал он. – Этот негодный пьяница не будет в состоянии тронуться с места до завтрашнего утра; какую прекрасную ночь проведем мы здесь, стоя в воде, с пустыми желудками и промокшие до костей под этим холодным ветром!

– Господин Гран-Пьер, – смиренно сказала Марион, – почему бы нам не попробовать отнести моего отца до дома? Я сильна, гораздо сильнее, чем вы думаете.

– Э! хоть бы у вас была сила четырех мужчин, мы и то никогда не сумели бы донести до дома эту огромную ношу. Мы с Жеромом могли только дотащить его с дороги до этой скалы, всего шагов тридцать... Это не человек, а бочка, да еще полная!

– Ну, если так, – возразила бедная девушка, плача, но решительным тоном, – я не хочу долее вас удерживать; уходите, оставьте меня здесь одну... Моя обязанность ждать здесь до завтра, если надо, чтобы отец был в состоянии идти за мной. А от вас требовать нельзя ничего больше; воротитесь в замок; я засвидетельствую о ваших услугах и благодарю вас от всего моего сердца.

Она села на камень с видом безропотной покорности и поставила возле себя свою корзину. Гран-Пьер был более вспыльчив, чем зол; он был тронут преданностью бедной девушки.

– Я не хочу, однако, оставлять вас таким образом, – сказал он с беспокойством.

– Бог защитит меня, – отвечала Марион со вздохом, завертываясь в свой плащ, плохо защищавший ее от ночного ветра.

Гран-Пьер подумал.

– Я вижу одно только средство, – сказал он, наконец.

– Какое?

– Сходить за помощью в деревню Крансак; туда можно дойти в полчаса. Мы пойдем к трактирщику Планшону, этому достойному другу вашего отца, и уговорим его, так или сяк, пойти с нами, чтобы оказать услугу его лучшему покупателю. У Планшона есть сильный осёл, которого мы приведем с собой; мы трое сумеем загрузить вашего папашу на осла, и тогда ничего не будет значить добраться до вашего дома... Ну, что вы скажете о моем плане?

– Он превосходен во всех отношениях, и вы прекраснейший человек, господин Гран-Пьер, – только я попрошу вас без меня сходить за помощью в Крансак, а я останусь с моим отцом. Я не могу его оставить, когда он не способен защищаться; моя совесть и моя бедная матушка на небесах стали бы меня упрекать в этом, а Бог, может быть, наказал бы меня...

– Как! Марион, неужели вы останетесь одна в этом гадком месте во время моего отсутствия? Подумайте об этом звере, который бегает по лесу. Зачем вам нужен Фаржо? Он спит спокойно, и мы можем быть уверены, что он не пошевелится.

– Я решила и не оставлю моего отца в эту минуту. Ступайте же, как можно скорее; вы найдете нас здоровыми и невредимыми, как оставили.

Гран-Пьер снова настаивал, чтобы молодая девушка пошла с ним в Крансак, но она осталась непоколебима. Время уходило; может быть, нетерпение скорее кончить ослепило слугу насчет возможных опасностей его уступчивости. Он согласился идти один и, обещав Марион сходить как можно скорее, отправился по дороге, которая должна была привести его в деревню.

Как только он отошел несколько шагов, бедная Марион хотела его позвать; но она застыдилась своей слабости и закрыла голову плащом, чтобы устоять от искушения.

Прошло довольно долгое время, а Гран-Пьер не возвращался. Марион, сидя на сыром камне, не смела ни пошевелиться, ни даже перевести дух. Малейший шум, сухой листок, упавший с каштана, шелест ветра в кустах, жужжание ночных насекомых заставляли ее вздрагивать. Но она старалась успокоиться и, чтобы занять свои мысли, прислушивалась к тяжелому дыханию спящего отца.

Два или три раза, однако, испуг ее, по-видимому, имел более серьезные причины. Ей слышались шаги, странный треск в соседних кустах, или стоны, слабые, как вздохи, поднимались из мрака. Тогда она начинала дрожать, волосы становились дыбом на голове ее, она раскрывала рот, чтобы закричать... потом примечала, что причиной ее ужаса был невинный козленок, шедший на выгон, или кроткий олень, обгладывавший нежную кору деревьев. Марион не имела никакого способа рассчитать время, но ей казалось, что час, определенный Гран-Пьером сходить в деревню и возвратиться, прошел давно. Сила и мужество изменяли молодой девушке. Бесперывное беспокойство истощило ее, она дрожала под своей легкой одеждой, ее босые ноги оледенели, и мало-помалу холод охватил ее сердце. Какое-то оцепенение овладело ею и походило более на смерть, чем на сон.

Однако настала минута, когда кровь прилила к ее сердцу и жилы снова забились, так что готовы были лопнуть. Между тем как Марион прислушивалась к тишине, царствовавшей в окрестностях, поспешные шаги, уже не походившие на прихотливую легкость шагов хищных зверей, слышались в разных частях леса и все приближались. Марион лихорадочно поворачивала голову направо и налево, стараясь узнать таинственное существо, бродившее около нее; но ничто не отделялось в мрачном однообразии ночи, и когда ее внимание устремлялось на один пункт, шум раздавался с противоположной стороны.

Вдруг ужасное сомнение ее перешло в уверенность. В двадцати шагах от нее заблестали во мраке два глаза, бросавшие страшное пламя; она не могла уже ошибиться: враг, подстерегавший ее как добычу, был жеводанский зверь.

Марион встала с судорожным движением. Хотя пламя погасло тотчас, она знала, что гибель ее тем не менее близка, если к ней не подоспеет быстрая помощь. Вне себя от испуга, она наклонилась к ущелью, где спал Фаржо, и энергически закричала:

– Ко мне, батюшка, ко мне... Это зверь... жеводанский зверь! Ради бога! Проснитесь... заговорите... Пусть он услышит только ваш голос, и может быть, он убежит... Батюшка, мой добрый батюшка, помогите мне!

Зевота, похожая на зевоту человека, просыпающегося с усилием, отвечала на этот зов. Но Марион не унывала; в кустах слышалось угрожающее ворчание. Она схватила отца за ногу и начала трясти его из всех сил, крича с отчаянием:

– Ко мне, батюшка, умоляю вас!.. Проснитесь же, или мы оба погибнем... Помогите мне, боже мой! Я не хочу теперь умереть... Мне обещали, что я буду счастлива, что я не буду больше плакать. Графиня сделает меня богатой, я оставлю домик, где так страдала одна, и выйду за сына Жана Годара, которого давно люблю... Нет, я не хочу умереть... Батюшка, умоляю вас...

Голос ее издавал уже невнятные звуки. Пьяница, несмотря на свою тяжесть, был наполовину вытащен из впадины, в которой лежал. Или это движение разбудило его, или раздирающие крики дочери затронули родительскую струну, оцепеневшую от развратной жизни, он начал шевелиться. Но скоро, так как никто более его не трогал, так как он слышал вздохи и слабый треск в нескольких шагах от него, он повернулся на другой бок и запел свою любимую песню, затем заснул. На его громкое храпение в соседних кустах отвечал зловещий хохот.

Глава тринадцатая

На другой день после этих трагических происшествий графиня де Баржак вошла в маленькую гостиную, куда сестра Маглоар и кавалер приходили каждое утро принимать ее приказания. Молодая владетельница замка была бледна и очевидно утомлена, но замечательная перемена совершилась в ее наружности. Вместо вечной амазонки из зеленой тафты и мужской шляпы, к которым еще вчера она показывала исключительное предпочтение, на ней было простое, но изящное платье, сшитое по новейшей моде; волосы были напудрены под кружевной наколкой. Болезненная томность движений, меланхолия, изображавшаяся на лице, довершали ее преобразование. Вместо гордой наездницы, которая накануне скакала с ружьем на плече по меркоарскому лесу, теперь была молодая девушка, скромная, воздержная, которая вместе с женской слабостью возвратила и всю женскую грациозность.

Ни добрая сестра Маглоар, ни честный кавалер де Меньяк не ожидали подобного превращения. Они встали встретить свою молодую барышню и остановились в изумлении, как будто не верили своим глазам. Но скоро удивление сменилось восхищением; Меньяк раскрыл широко глаза, не думая кланяться церемонно, по своему обыкновению он рассыпал на свое белое жабо щепотку табаку, которую подносил уже к носу, и бормотал про себя:

– Величественный вид... совершенное приличие... благородная осанка... лучше желать нельзя.

Но восхищение де Меньяка было слишком почтительно для того, чтобы обнаружиться открыто. Сестра Маглоар была не так сдержанна.

– Святая Дева! Милое дитя, – сказала она, сложив руки, – как это платье к вам идет! Вы хороши, как ангел. Как вы мило оделись! Стало быть, вы уже отказались от этой гадкой амазонки, которая составляла мое мучение?

– Вы видите, отказалась, – сказала Кристина с кроткою улыбкой, – теперь я буду носить костюм, который приличен моим летам и моему полу.

Она упала на диван, как будто переход из ее спальни в гостиную истощил ее силы; заметив испуганный вид своих собеседников, она продолжала меланхолическим тоном:

– Я удивляю вас, я это вижу; но перемена, совершившаяся в душе моей, еще более той, которая поражает вас в моей одежде... Ах, мои добрые друзья! – продолжала она с волнением. – Уроки, которые вы столько раз давали мне, и которые я не слушала, повторила мне действительность самым жестоким образом!

Она закрыла лицо руками. Сестра Маглоар и кавалер переглянулись; они начинали опасаться, чтобы это преобразование, которое их восхищало, не слишком дорого обошлось их госпоже.

– Дитя мое, – сказала сестра Маглоар, поцеловав ее в лоб, – вчерашние происшествия оправдывают ваше намерение, однако не надо приходить в уныние и...

– Вчерашние происшествия случились по моей вине, – уныло возразила Кристина. – Если бы легкомысленностью моих поступков и моих слов я не подала повода к обиде, я не должна была бы прибегать к пагубным крайностям. Если бы я сумела обуздать горячность моих мыслей и просто воротилась в замок, как требовало благоразумие, я не подвергла бы себя и других новым опасностям... Все мои опасности происходят от моей гордости, от моей запальчивости, от моего непослушания, но я обуздаю эти недостойные наклонности, я это обещала, я этого хочу и успею в этом! – И она продолжала после краткого молчания: – Пусть уберут из моей комнаты оружие, амазонки, все эти мужские принадлежности, которые мне уже не нужны. Сверх того, кавалер, прошу вас продать Бюша, подарить его – словом, чтобы его не было в конюшне как можно скорее.

Несколько тяжелый ум Меньяка не мог следовать за быстрыми порывами повелительной воли его молодой госпожи; каждое слово Кристины приводило доброго кавалера в новое удивление.

– Продать Бюша! – закричал он, опустив свои длинные руки. – Возможно ли это? А когда вы захотите поехать верхом?

– Я не буду больше ездить верхом, любезный кавалер, а так как окрестные дороги не позволяют ездить в экипаже, я буду гулять пешком с обоими вами... Мои добрые друзья, – продолжала Кристина растроганным тоном, протянув руки своим обоим менторам, – я до сих пор была очень неблагодарна и очень зла к вам, я пренебрегала

вашими благоразумными советами, я часто насмеялась над ними; простите мне... Несмотря на мою вину перед вами, я никогда не переставала уважать вас и любить.

Эти дружеские слова растрогали до слез Меньяка и монахиню. Кавалер почтительно поднес к губам протянутую ему руку. Сестра Маглоар вскричала с восторгом:

– Милое дитя, как я рада видеть в вас подобные чувства! Небо исполнило, наконец, мои ежедневные молитвы. Однако берегитесь, дочь моя, не налагайте на себя вдруг жертвы, которые превзойдут ваши силы. Я нахожу это преобразование слишком быстрым и слишком строгим.

– Мы поговорим об этом, сестра моя, – рассеянно перебила Кристина, – но мне хотелось бы узнать...

Она остановилась с замешательством.

– Как здоровье раненого? – окончила она.

– Вы, без сомнения, говорите об этом добром молодом человеке? – спросила сестра Маглоар. – О мосье Леоне, который вчера оказал вам такую большую услугу, который защищал вас с таким мужеством и преданностью? Мы надеемся, что волнения и утомления этого жестокого дня не будут иметь пагубного влияния на него. Да и какое же безумство обмануть нашу бдительность, бегать по лесу, прежде чем силы его воротились и рана зажила! Я видела его сегодня утром; плечо его заживает, и если б он мог успокоить свои тревожные мысли...

– Я очень рада, что мосье Леоне не будет сожалеть о своей преданности мне, – перебила Кристина несколько холодным тоном, – но вчерашний день оставил во мне другие угрызения. Я желала узнать...

– Вы, верно, говорите о дворянине, который сам ранил себя неосторожно охотничьим ножом? – спросил кавалер. – Никто более меня не желает, чтобы барон выздоровел скорее, я имею на это особенные причины, однако должен сознаться, что хирургу его рана кажется опасной.

– О, Бог не допустит, чтобы он умер! – сказала Кристина со вздохом и подняв глаза к небу.

Она продолжала через несколько времени:

– Оставьте меня, мои добрые друзья, я скоро приду в гостиную, где у нас еще есть гости... Сестра Маглоар, дочь лесничего, Марион Фаржо, придет сегодня утром в замок; прикажите тотчас привести ее ко мне... Я хочу поговорить подольше с этой бедной девушкой; может быть, это будет развлечением в моем горе.

Когда сестра Маглоар хотела выйти с кавалером, она сказала вдруг:

– Ах, графиня! Радость видеть вас такой доброй заставила меня позабыть... Фронтенакский приор поручил мне просить у вас позволения иметь с вами разговор.

У Кристины вырвалось легкое движение нетерпения, однако она отвечала с кротостью:

– Я не могу отказать приору; попросите его прийти, любезная сестра, я его жду.

Де Меньяк и сестра Маглоар вышли. Тот и другой радовались такой благоприятной перемене в девушке, вверенной их попечениям. Однако в то время как кавалер хвалил кротость и приличие Кристины, сестра Маглоар, более проницательная, качала головой.

– Потерпите, кавалер; мне не нравится такое быстрое выздоровление... Будем опасаться возвращения прежнего... а вы знаете, возвращение болезни иногда бывает опаснее начала.

И они разошлись.

Через несколько минут приор Бонавантюр входил в гостиную Кристины. Графиня де Баржак, мрачная и унылая, сидела на диване. При виде приора она встала, церемонно ему поклонилась и указала на кресло напротив себя, но не сказала ни слова.

Приор сам казался озабоченным и утомленным. После обыкновенных приветствий он сказал серьезным тоном:

– Вы испытали жестокие огорчения, дочь моя, и мне хотелось бы думать, что они не были заслуженны... Но я не буду делать вам упреков, когда вы, кажется, уже глубоко чувствуете вашу вину; я предпочитаю, сколько зависит от меня, помочь вам загладить ее.

Кристина поблагодарила приора за его доброе расположение и изъявила желание следовать благоразумным советам, которые ей будут даны. Приор Бонавантюр улыбнулся, и черты его несколько прояснились.

– С большой радостью, дочь, моя, слышу я от вас эти слова; до сих пор, надо правду сказать, вы часто были неблагодарны и непослушны к тем, кого отец ваш выбрал вам в покровители на своем смертном одре. Вы не так понимали их намерения; вы возмущались против законов, которые они хотели предписать вам для вашего же счастья, для нашего же достоинства. Ваше сопротивление было даже так упорно, что я спрашивал себя, не имеет ли оно какой-нибудь другой причины, кроме дикой независимости вашего характера. Положение католической общины в этом полупротестантском краю особенно трудно; благоденствие нашего аббатства раздражает против нас дурные страсти. Наши враги преследуют нас самыми гнусными клеветами... Не дошли ли до вас эти клеветы, милое дитя? Не это ли причина удаления, скажем прямо – отвращения, которое вы нам показывали в разных обстоятельствах?

Кристина отвечала со смущением, что слухи, распространяемые о фронтенакских аббатах, основывались на слишком неопределенных доводах для того, чтобы заслужить серьезное внимание.

– Однако вы их знаете, дочь моя, – с горечью сказал приор, – и я имею причину думать, что они произвели на вас некоторое впечатление. Что было бы, если б эти презренные слухи основывались на фактах неоспоримых, если бы, наконец, их поддерживали открыто люди могущественные? Не первая ли вы бросили бы камень в ваших благодетелей, проклинали бы родительские попечения, которыми они окружали вашу юность? Следовательно, я должен предупредить вас, дочь моя, против этих ложных обвинений; не забывайте: что бы ни случилось, какова бы ни была наружность, фронтенакские аббаты имеют право на ваше уважение и на вашу дружбу.

Графиня де Баржак слушала с мрачным видом, как будто эти предостережения возбуждали ее недоверчивость, а не уничтожали ее. Приор продолжал:

– Оставим эти случайности, которые никогда, может быть, не осуществятся; у меня была другая цель, когда я просил у вас свидания. Мне нельзя долее оставаться в Меркоаре. Обязанности, не терпящие отлагательства, призывают меня в аббатство, где недуги нашего почтенного настоятеля взваливают на меня всю тяжесть дел. К несчастью, как вам известно, мое присутствие не могло помешать вчерашним неприятным происшествиям; но так как их поправить

нельзя, я намерен уехать тотчас, как только позволит здоровье моего племянника. А до моего отъезда я желаю обсудить с вами некоторые вопросы, чрезвычайно важные для вашей будущей жизни.

– Я вас слушаю, – отвечала графиня де Баржак со смесью любопытства и сдержанности.

Приор собирался с мыслями несколько минут.

– Дочь моя, – начал он, наконец, вкрадчивым тоном, – мы не можем иметь над вами необходимый надзор, хотя понимаем вполне важность нашей обязанности. Доказательством служит вчерашняя катастрофа – катастрофа, последствия которой мы должны стараться предупредить, и скрыть от света настоящие обстоятельства. Эти обстоятельства или другие, не менее прискорбные, могут возобновиться к вашему вреду. Поэтому я считаю необходимым выполнить намерение, уже принятое фронтенакским капитулом. Вам скоро минет восемнадцать лет; в этом возрасте уже начинают понимать хорошее и дурное. Я скажу вам без изворотов, что мы решились выдать вас замуж в самом скором времени.

При этом неожиданном известии лицо Кристины вспыхнуло.

– Право, господин приор, – сказала она надменно, – фронтенакский капитул принимает на себя излишнюю заботу. Если обязанность, принятая вами, надзирать за мной кажется вам слишком тяжелой, откажитесь от нее; я чувствую себя способной сама управлять собой и сама защитить себя. Что же касается мужа, которого вам угодно будет мне назначить, то я не прошу его, я совсем не выйду замуж, если не буду свободна в своем выборе.

Приор отвернулся.

– Гм! – продолжал он. – Я вижу, дитя мое, что вашу волю не сломили ваши недавние огорчения... Но можете ли вы думать, чтобы фронтенакские аббаты, которых доброту и справедливость вы испытали столько раз, захотели тиранствовать над вашими чувствами?.. Они совсем не имеют этого намерения, они имеют в виду только ваше счастье. Я заклинаю вас отвечать мне искренне: не выбрали ли вы уже кого-нибудь?

Кристина отвернулась.

– Никого, – отвечала она.

– Обдумайте хорошенько, дочь моя, не останавливайтесь ложным стыдом. Отвечайте мне, как отвечали бы вы матери, духовнику...

Между молодыми людьми, которых вы могли видеть здесь или в другом месте, нет ли кого-нибудь, кто внушил бы вам предпочтение?

– Нет, – отвечала Кристина.

– Это странно! Мне показалось, однако... Но, дочь моя, может быть, вы боитесь высказать это предпочтение, потому что оно пало на человека, которого состояние и звание ниже ваших? Подобная причина не должна мешать вам признаться в истине; мы лучше вас можем судить о расстоянии, разделяющем вас от предмета вашего выбора. Я умоляю вас, чтобы избежать неприятных последствий, объясниться откровенно.

Он устремил пронизательный взгляд на графиню де Баржак, которая не могла скрыть своего беспокойства. Она отвечала почти с гневом:

– Я не понимаю, откуда могла прийти вам подобная идея. Я слишком горда для того, чтобы унижить себя до такой степени, и если чувство недостойное меня заронилось без моего ведома в мое сердце, я имела бы довольно силы вырвать его.

Приор все смотрел на нее, как будто сомневался в той энергии, которой она хвалилась. Вдруг он переменялся в лице и продолжал:

– Я очень рад, что случилось таким образом, Кристина; признаюсь, я боялся, чтобы какая-нибудь легкомысленная страсть, которой молодость приписывает важность, не овладела вами. Если я ошибся, то надеюсь, все пойдет прекрасно.

Графиня де Баржак была вне себя от удивления.

– Это как? – спросила она.

– Если сердце ваше свободно, вы не будете иметь никакой причины отказаться от почетной партии, которую мы намерены предложить вам.

– Как! вы хотите...

– Партия такая блистательная, дочь моя, какой только вы можете пожелать. Мы выбрали молодого человека прекрасного собой, знатного, богатого, хорошо воспитанного, и конечно, вы примите его благосклонно, когда он будет вам представлен.

Кристина вскочила со своего места.

– Вы ошибаетесь, – сказала она, – ваш прекрасный молодой человек, может быть, мне не понравится... Я скажу прямо, что никогда за него не выйду.

– Но почему же, дочь моя?

– Предположите, что я не хочу выходить замуж, что я желаю сохранить мою независимость; ваш прекрасный жених мне не понравится, я уверена в этом.

– Как вы можете это знать? Вы не спрашивали у меня ни о его имени, ни о его положении в свете, ни об его характере, ни о чем, что могло бы заставить вас принять серьезное намерение.

– Что за нужда! я не хочу его знать, я не хочу его видеть... Знайте, отец приор, и уведоьте других фронтенакских аббатов, что я никогда не выйду за молодого человека, о котором вы мне говорите.

Она залилась слезами без всякой видимой причины, приор заставил ее опять сесть и сказал ласковым тоном:

– Будьте откровенны со мной, дочь моя. Отказывая почетному жениху таким решительным образом, вы, должно быть, меня обманули или сами обманулись насчет состояния вашего сердца. Признайтесь вашему другу: вы любите кого-нибудь, не так ли?

– Нет, нет, тысячу раз нет! – закричала Кристина, топая ногою.

– Но если так, по каким же причинам...

– Какая мне нужда до причин? Предположите непобедимое предубеждение, каприз, если хотите!

– Есть причина, по которой вы не признаетесь, дочь моя, – возразил приор со строгостью, – потому что она происходит от постыдного чувства. Несмотря на ваше отпирательство, клевета, о которой я говорил вам сейчас, заразила вашу душу и наполнила ее желчью. Если вы опровергаете план, составленный вашими опекунами для вашей будущности, это из ненависти к ним, из презрения к их власти; все, что происходит от них, для вас подозрительно и возбуждает ваше отвращение. Странная награда за столько забот и усилий! – прибавил приор с горечью, – гибельная неблагодарность, которую мы не заслужили!

Графиня де Баржак не старалась опровергать чувство, которое действительно в ней существовало.

– Графиня, – продолжал приор с некоторой сухостью, – фронтенакский капитул и я не уступим тому, что, по вашему собственному признанию, более ничто, как безрассудный каприз. Мы всегда обращались с вами с чрезвычайной снисходительностью, и вы видите, что произвела наша кротость. Отец ваш передал нам

неограниченную власть над вами до вашего замужества, мы сумеем воспользоваться этой властью. Не упорствуйте же в этом духе возмущения, который я считал укрощенным последними происшествиями; он причинил уже довольно несчастья, настало время положить этому конец. Приготовьтесь прилично принять жениха, который будет представлен вам через несколько времени. Если по капризам, которые часто с вами случаются, вы захотите уклониться от наших приказаний, мы найдем средства заставить вас раскаяться в этом.

Может быть, приор, говоря со своей питомицей этим грозным тоном, не предвидел действия, какое он произведет на нее. Кристина трепетала от негодования, лоб ее нахмурился, глаза сверкали, ноздри расширились. Можно было подумать на минуту, что она предается вспышке своей пылкой натуры; но сила воли преодолела эту внутреннюю бурю, и в первый раз в жизни, может быть, Кристина де Баржак сумела сдержать, если не победить свой гнев.

– Отец мой, – сказала она голосом, несколько дрожащим, – вы показались мне в новом свете – тем лучше! Я предпочитаю это повелительное обращение лицемерному... Вас не обманули, сказав вам, что я изменилась со вчерашнего дня; да, я глубоко, совершенно изменилась, и вы скоро увидите доказательство этому. Не бойтесь с моей стороны никакого нового непослушания, никакого прямого оскорбления; я имею самое твердое желание не переступить границы того, что вы называете долгом, приличием; я без ропота покорюсь сдержанности, иногда ребяческой, налагаемой на девиц моего сословия... Только помните мои слова и передайте их фронтенакскому капитулу: никакой закон не принудит меня принять мужа, какого вам угодно будет выбрать для меня, я не приму его никогда... никогда... никогда!

Она повторила эти слова с необыкновенной пылкостью. Приор смотрел на нее с видом сострадания.

– Я должен удовольствоваться пока вашим уверением, что вы будете жить как скромная девушка, – продолжал он, – остальное придет после. Вы размыслите хорошенько, посоветуетесь с вашим рассудком, и я уверен, что, когда узнаете мужа, которого мы вам назначили...

– Я приму его вежливо, но не ожидайте ничего более... Да я предпочту отдать мою руку последнему вассалу в моем поместье, чем этому незнакомцу, которого я уже ненавижу!

– Согласитесь только увидеть его, – сказал приор, улыбаясь, – а до тех пор удержитесь от преждевременного суждения... Но оставим этот предмет разговора, дочь моя, и перейдем к другому, который, может быть, будет не менее тягостен для вас. Несмотря на все наши усилия, не многие верят, что барон де Ларош-Буассо ранил сам себя на охоте, соображают обстоятельства, сравнивают их и уже подозревают истину... А для вашей репутации опасно, если эта истина узнается.

– Да, да, вы правы, отец мой! – вскричала Кристина. – Я умру от стыда, если узнают... Но этот человек не будет настолько низок, чтобы разгласить свой собственный бесчестный поступок.

– Надеюсь, что нет, дочь моя; кажется, я могу также быть уверен в тех, кто знает вашу тайну; самым опасным может быть Легри, но кавалер уверяет, что он так напугал его, что Легри не осмелится сказать ни слова. Однако много обстоятельств могут объяснить истину любопытным и праздным, и ваш ужас к Ларош-Буассо, весьма, впрочем, естественный, подаст повод ко многим предположениям. – Что же мне делать? Разве не довольно, что я принимала этого подлеца в моем доме? – Благоразумие и человеколюбие, дочь моя, требуют этой меры. Как в глазах света прикрасить ваш отказ принимать человека, который опасно ранил себя для вас же? Перетолковать это было бы слишком легко... Но потерпите, дочь моя; барон оставит Меркоар, как только его можно будет перевезти безопасно.

– Отец мой, отец мой, разве вы думаете, что он выздоровеет?

– Это известно Богу, дочь моя; но для того чтобы свет не догадался, вы непременно должны скрыть ваш законный гнев на Ларош-Буассо, даже выказать к нему то внимание, которое больной гость вправе требовать от хозяйки... Например, было бы благоразумно, если б вы навестили его сию же минуту – так, чтобы это знали все посторонние, находящиеся в Меркоаре; злоба, таким образом, не нашла бы себе пищи.

– Как, отец мой! Вы желаете... Даже если б я не имела никакой причины избегать этого человека, не было ли бы это против принятых обычаев?

– Есть случаи, когда обычаи должны уступать человеколюбию. Это свидание покажется весьма естественным, и будут ли удивляться, когда два дня тому назад вы чуть не на руках отнесли моего племянника Леоне, бедного, неизвестного юношу, который не имел никакого права на такую милость?

Кристина покраснела при этом воспоминании.

– Ну, хорошо, – отвечала она, – если после я должна буду отказаться от жертвы, которую вы требуете от меня, то, по крайней мере, должна сделать вам удовольствие в этом. Я пойду в комнату Ларош-Буассо, постараюсь скрыть мое отвращение, мое презрение, мои угрызения в его присутствии, буду говорить неправду, если это необходимо; это будет первым и тяжелым искуплением моих прошедших проступков.

Приор встал.

– Мужайтесь, дитя мое, – сказал он ласково, – я жду самого лучшего результата от этого поступка. Вы найдете меня в комнате раненого, и я постараюсь, чтобы ваше посещение имело как можно больше свидетелей. Решительно, Кристина, – прибавил он, улыбаясь, – ваш мятежный дух начинает укрощаться... Несколько раз во время этого разговора вы успели преодолеть запальчивые порывы души вашей; это признаки благоприятные, и я надеюсь, что вы, наконец, согласитесь на драгоценные желания ваших друзей.

– Не надейтесь на это...

– Хорошо, хорошо, оставьте мне мою мечту, не омрачайте радости, которую внушает мне ваше настоящее снисхождение. До свидания, дочь моя, да просветит вас Господь!

Он вышел. Кристина осталась погруженная в свои размышления.

– Он, кажется, остался доволен этим разговором, – прошептала она, – не расставил ли он мне какую-нибудь ловушку? Уверяют, что этот приор очень искусен в интригах, а я... Боже мой! Как мне избавиться от его хитростей?

Со своей стороны, приор Бонавантюр говорил себе, возвращаясь в свою комнату:

– Чудесно! Так или сяк, она должна же решиться, и я уверен в успехе... разве только случится одно из тех происшествий, которые иногда расстраивают самые мудрые человеческие соображения!

Глава четырнадцатая

Барон де Ларош-Буассо занимал в замке Меркоар большую комнату, обитую обоями, представлявшими человеческие фигуры, и освещенную двумя окнами с глубокими амбразурами. Он лежал на кровати с балдахином, из полуоткрытых занавесей которой виднелось его бледное и расстроенное лицо. Друг его Легри постоянно оставался с ним. Каждый час хирург, которого пригласили в замок, щупал пульс больного или прислушивался к его тяжелому дыханию; предписания его исполнялись сестрой Маглоар, которая, доверяя своей собственной опытности в медицине, не стесняясь, изменяла их по-своему.

С утра все гости замка Меркоар посылали своих слуг или сами приходили узнавать о здоровье больного. Но исключая тех, о которых мы говорили, никто не входил в комнату раненого; состояние его было очень опасно и непрерывное движение около него неминуемо утомило бы его до крайности. И господа и слуги останавливались в передней, почти такой же большой, как сама комната, и непрерывно наполнявшейся.

Из гостей одни разговаривали шепотом о таинственной причине болезни, другие поджидали сестру Маглоар и доктора, чтобы узнать самые свежие известия, третьи, наконец, в открытую дверь старались посмотреть на раненого, который иногда не мог удержаться от жалобных стонов.

Когда вошла молодая владетельница замка, передняя была полна. Кристина шла под руку с кавалером де Меньяком, ее провожали приор Бонавантюр и Леоне, которого приор с тайной целью взял на этот официальный визит.

Движение удивления пробежало по собранию, как только явилась графиня де Баржак. Может быть, подозревали истину, и этот поступок расстраивал разные предположения, которые уже составили о ране Ларош-Буассо. Кристина была спокойна, черты ее выражали именно ту степень сочувствия и сострадания, какую должен был внушить ей гость, раненый в ее поместье. Осанка ее была совершенно прилична, как сказал бы кавалер де Меньяк. Впрочем, она не доставила времени

для наблюдений, но поклонилась присутствующим с любезной вежливостью и быстро прошла мимо.

Все шеи вытянулись, все уши наострились, чтобы уловить, что будет происходить у больного; но это любопытство было обмануто. Послышался стук передвигаемых стульев, потом невнятный шепот – и больше ничего. Те, которые могли заглянуть в комнату, видели, что пришедшие сидели около кровати больного и спокойно разговаривали с ним. Никакое необыкновенное движение не обнаружилось во время этого разговора. Заметили только, что Меньяк и сестра Маглоар упорно становились между любопытными и главными лицами этой сцены.

Однако волнение этих лиц, хотя они сдерживали его, было, тем не менее, сильно. Барон, несмотря на боль и лихорадку, был в полной памяти. При виде Кристины он велел Легри, стоявшему у изголовья, поднять его, и произнес несколько слов шепотом, между тем как на его бледных губах обрисовалась слабая улыбка.

Графиня де Баржак, со своей стороны, не могла не вздрогнуть, когда взор ее упал на этого человека, еще накануне столь красивого, столь гордого, столь веселого, блистательного в своем богатом мундире, а теперь бледного, томного, со стесненной грудью, по-видимому, едва сохранявшего дыхание жизни. Подумав, что эта ужасная перемена была сделана ею, молодая девушка забыла об оскорблении и думала только о строгости наказания.

Она села в кресло, которое поспешили ей подвинуть, и пролепетала потупив глаза:

– Я огорчена, барон, очень огорчена, что вижу вас в таком неприятном положении, но...

– Но я заслужил мою участь, – отвечал Ларош-Буассо очень тихо, – не это ли хотели вы сказать? Как я вам признателен за ваше посещение, – сказал он, несколько одушевляясь, – хотя, может быть, цель его – не ваше участие ко мне. Оно подает мне надежду, что вы можете меня видеть без ненависти, без гнева и что, может быть, удостоите простить меня!

Кристина с замешательством отвернулась, и слезы потекли из ее глаз. Раненый продолжал после некоторого молчания:

– Неужели я ошибся? Ради бога, графиня, отвечайте мне... Всем, слушающим нас, известен мой проступок. Скажите, могут ли

загладить минуту заблуждения мои настоящие страдания? Или я должен умереть с вашей неприязнью?

Графиня де Баржак не могла долее устоять.

– Я прощаю вас, – отвечала она, – дай бог, чтобы и он простил вас так же, как я!.. Но я надеюсь, что вы не умрете; напротив, вы останетесь живы, для того чтобы...

– Для того чтобы быть всегда признательным за ваше великодушие, – закончил барон, ослабев и упав на стул.

Приор Бонавантюр своим звучным голосом уговаривал барона сознаться в своих проступках и, если нужно, умереть добрым христианином. Больной, на минуту закрывший глаза, вдруг их раскрыл и сказал с сардонической улыбкой:

– Вы знаете, что мы с вами не можем согласиться ни в чем... Благодарю вас за ваши советы; останусь жив или умру, я надеюсь жить или умереть как мужчина... Но если эта рана должна быть для меня губельна, я пожалею только, что оставляю прелестную, невинную молодую девушку, простившую мне с таким благородством, подверженную беззащитно черным козням, жертвой которых она, вероятно, сделается.

– Козням! Козням! – повторял Леоне задыхающимся голосом и вставая.

Но ему не нужно было строгого взгляда дяди, чтобы понять, как некстати он вмешался, и он опять сел, краснея.

Барон, несмотря на Легри, который умолял его успокоиться и молчать, сказал с иронией племяннику приора:

– Я легко объясняю себе добродетельное негодование мосье Леоне к неблагородным проделкам, о которых я говорю; но это изменится, без сомнения. Каким образом могут на них смотреть с одной точки зрения и те, которые страдают от них, и тот, кто, может быть, воспользуется их плодами?

Эта ядовитая стрела, брошенная в Кристину и Леоне, вонзилась им прямо в сердце. Лицо графини де Баржак выразило гнев, а лицо молодого человека удивление, сомнение и беспокойство. Довольный действием, которое он произвел, Ларош-Буассо хотел сказать еще какое-нибудь вероломное слово, когда приор вдруг встал.

– Более продолжительный визит, – сказал он, – может утомить барона; нам пора уйти... Искренне желаю, чтобы гость наш

выздоровел, потому что, если я не ошибаюсь, прощение обид и христианское милосердие еще недостаточно проникли в его сердце и не приготовили его явиться перед его Судьей!

Все встали по примеру приора. Кристина в ту минуту, когда уходила, подошла к больному и протянула ему руку, которую он прижал к своим губам.

– Выздоровляйте скорее, барон, – сказала она с волнением, – и клянусь вам, никто так не порадуется вашему выздоровлению, как я!

– Я выздоровею, Кристина, – отвечал Ларош-Буассо, – да, я выздоровею, чтобы любить вас всегда и защищать против ваших тайных врагов.

Молодая владетельница замка быстро выдернула свою руку и пролепетала:

– Я не могу принять в этих выражениях... я не должна позволить вам думать...

Шум голосов и шагов, вдруг послышавшийся в передней, не дал ей закончить. Словно в той стороне случилось какое-нибудь важное происшествие; посреди смутного шума раздавались жалобы и рыдания.

Кавалер и сестра Маглоар пошли спросить о причине этого внезапного шума, когда любопытные вошли в комнату; между ними виделись главный лесничий Фаржо и лакей Гран-Пьер.

Фаржо, совершенно протрезвившись, очень переменился со вчерашнего дня. Несмотря на его огромную толщину, все его движения имели лихорадочную живость. Лицо его было бледно, расстроено, орошено слезами, одежда покрыта грязью и еще сыра от дождя последней грозы. Гран-Пьер казался также расстроен и испуган. За ними толпились все гости замка с испуганным видом.

Графиня де Баржак, раздраженная этим вторжением, побежала навстречу входившим.

– Чего вы хотите? – спросила она. – Зачем вы пришли сюда?

– Ах, барышня, добрая барышня! – сказал Фаржо, упав на колени. – Отомстите за мою дочь, мою бедную дочь!.. Говорят, что вы были очень добры к ней вчера вечером, между тем как я, дурной отец, бездушный пьяница, был причиной ее несчастья!.. Но так как вы сами не можете уже ничего сделать для бедной Марион, отомстите за нее, по крайней мере, отомстите за нее, умоляю вас!

И горе, одержав верх над его крепкой организацией, вырвало у него отчаянные крики. Кристина начала предвидеть что-то ужасное.

– Успокойтесь, Фаржо, – сказала она, – что вы мне говорите о вашей дочери? Где она? Зачем она не пришла сегодня утром в замок, как обещала?

– Она никогда уже не придет! – отвечал лесничий.

Кристина с беспокойством ждала объяснения этих слов, взгляд ее упал на Гран-Пьера и как будто допрашивал его.

– Это не моя вина, клянусь вам, – сказал с отчаянием лакей, отвечая на этот немой вопрос, – я буквально исполнил ваши приказания, но мое отсутствие продолжалось гораздо дольше, нежели я думал. Ночь была темная, я несколько раз падал в овраги, должен был вплавь перейти ручей. В Крансаке мне пришлось долго переговариваться, прежде чем я мог уговорить труса трактирщика пойти со мной с его слугой и ослом... Когда мы возвращались, нас задержали тысячи препятствий, и когда наконец дошли до того места, где должны были найти лесничего и его дочь, уже начало светать и несчастье совершилось давно.

– Какое несчастье? – спросила Кристина. – Зачем вы не говорите, что случилось с Марион? Где она? Зачем я ее не вижу?

– Она умерла! – прошептал Гран-Пьер.

– Ее убила эта проклятая тварь, жеводанский зверь, черт его побери! – закричал Фаржо.

Ноги Кристины подогнулись, и она упала почти без чувств в кресло.

Тогда Гран-Пьер рассказал подробно, как Марион отказалась оставить своего пьяного отца, между тем как он Гран-Пьер, пошел за помощью в соседнюю деревню, и как, воротившись, нашел Марион мертвой и растерзанной недалеко от ее спящего отца.

– Да, да, – дико сказал Фаржо, – я был только в нескольких шагах и не мог протянуть руки, не мог вскрикнуть для ее защиты! Я смутно помнил, что она звала меня на помощь, но свинцовый сон сковал меня; притом я был пьян... О! я очень наказан. Жена моя умерла с горя, а моя дочь, моя милая Марион... Зачем этот зверь не сожрал меня вместо нее, когда я ни к чему не годен на земле!

Этот человек, столь пошлый, столь смешной в обыкновенных обстоятельствах жизни, был велик в эту минуту родительским

чувством. Позже сознание в своих проступках, ужасные обстоятельства, сопровождавшие смерть его дочери, придавали его отчаянию самый ужасный характер. Его крики, его рыдания заставляли присутствующих трепетать и извлекали у них слезы.

Графиня де Баржак более других была доступна подобным впечатлениям. Ее горесть, сдерживаемая желанием узнать все подробности этого ужасного происшествия, скоро должна была разразиться горячими порывами.

– Уверены ли вы, по крайней мере, – спросила Кристина, – что один зверь...

– О! на этот раз один зверь виноват, – сказал Гран-Пьер, угадавший ее мысль, – сегодня утром, когда нашли тело, мы начали осматривать окрестности. Земля была влажной, и со всех сторон виднелись следы широких лап, но нигде не виднелось человеческих следов. В нескольких сотнях шагах от того места, где случилось несчастье, мы заметили следы голый человеческой ноги возле следов волка. Мы преследовали их, но скоро потеряли в лесу, человек и волк шли смело, как будто решились совсем оставить эту страну.

Фаржо слушал эти объяснения с мрачным видом.

– Милосердый Боже! – вскричал он. – Какое человеческое существо захотело бы сделать вред моей милой Марион? Она была так кротка и так добра! Ее все любили... Говорят о Жанно, моем бывшем слуге, но Жанно совершенно безвреден; он только сам себя считает волком; я мог делать из него что хотел, говоря с ним с кротостью и потакая его помешательству. Жанно знал Марион с детства и скорее защитил бы ее от этого ужасного зверя... Да, да, это волк виновник несчастья... Графиня, вы богаты и могущественны, неужели вы не отомстите за мою дочь и не освободите ваши владения от зверя, опустошающего их?

Эти последние слова довели до крайней степени гнев и горесть графини де Баржак.

– Что же мне делать? – вскричала она с трепетом. – Мои слуги и друзья беспрестанно поражаются. Каждый день, каждый час я узнаю о каком-нибудь новом несчастье, о какой-нибудь новой потере. Я сама вчера подвергалась величайшим опасностям и могла считать себя на краю могилы. Сегодня мне говорят, что великодушная девушка, у которой я нашла убежище, погибла в свою очередь самым жестоким

образом... И я не могу сделать ничего... ничего! Все предприятия, для того чтобы освободить округу от этого бешеного зверя, не удаются; он расстраиивает все хитрости, пули отскакивают от него, охотничьи ножи не могут проткнуть его шкуру; будто сверхъестественное могущество делает его неуязвимым!.. Он избежал преследования нескольких тысяч человек; правда, пагубные обстоятельства... Боже мой! Что могу сделать я, бедная испуганная женщина, потерявшая терпение, силу и мужество?

Она задумалась несколько секунд, потом вдруг приподняла голову. Глаза ее были сухи, энергическая решимость сияла на лице.

– Да, да! – продолжала она с твердостью. – Я могу сделать что-нибудь и попробую... Это в то же время расстроит деспотическую и докучливую настойчивость, которой меня терзают... Слушайте меня все! – продолжала она торжественным тоном. – Правительство обещало почести и денежную сумму тому, кто убьет жеводанского зверя, а я клянусь, что отдам свою руку и свое состояние тому человеку, из звания не простолюдина, который докажет мне неоспоримым образом, что он убил этого ужасного зверя!

Эта клятва была вырвана невольно; Кристина, произнося ее, повиновалась только своей природной пылкости; но как только сказала эти слова, она сама увидела их ужасные последствия. Она побледнела и закрыла руками лицо.

Присутствующие сначала онемели от удивления, а потом возвысили голос, чтобы выразить чувства, внушенные им этим необыкновенным намерением. Приор вскричал громче всех:

– Кристина, несчастное дитя! Что вы сделали? Откажитесь от этого нелепого обета, от этой необдуманной клятвы, еще есть время! Подумайте о неизбежных последствиях...

Но слова приора еще более ожесточили сердце графини де Баржак.

– Я не откажусь! – вскричала она упорно. – Напротив, я повторяю эту клятву!

– Ах, Кристина! Кристина! – сказал Леоне с отчаянием. – Стало быть, вы не любите? Стало быть, вы никогда не любили?

Этот простой вопрос смутил молодую девушку более, чем все другое; но она промолчала.

Между тем все собрание находилось в сильном волнении; кто знает, сколько честолюбия и соперничества возбудили слова прекрасной владетельницы замка, открыв блистательный и новый горизонт для тех, кто слышал их? Посреди этого шума один голос из глубины комнаты спросил:

– А мне, а мне? Позволено ли мне будет домогаться драгоценной награды, ожидающей победителя зверя?

Этот вопрос сделал барон де Ларош-Буассо; он даже наклонился на край кровати с тревожными взором, с высоко поднимавшейся грудью.

– Я не исключила никого, – отвечала Кристина глухим голосом.

– Когда так, я хочу выздороветь и выздоровею! – вскричал барон.

Кавалер де Меньяк подошел к нему.

– Прежде чем вы снова отправитесь отыскивать этого проклятого зверя, – сказал он шепотом, – вспомните, что вы обещали драться со мной на дуэли... Я очень этого желаю, уверяю вас.

Но Ларош-Буассо его не слушал.

– Если я вас хорошо понял, графиня, – говорил кто-то возле него, – ваша клятва не исключает буржуазию... словом, тех, кто недворянского происхождения?

– Я исключаю, мосье Легри, только вассалов.

И Кристина лишилась чувств на своем кресле. Когда все столпились вокруг нее, Меньяк подошел к Легри.

– Вы знаете, милостивый государь, – сказал он шепотом, – как только друг ваш не будет иметь нужды в ваших попечениях, я намерен поубавить вашу спесь... Вы еще не владелец меркоарский!

Графиню де Баржак перенесли в ее комнату. Приор, который пошел за ней с Леоне и сестрой Маглоар, был сильно расстроен.

– Какая неприятность! – говорил он. – Я уничтожил все препятствия, все опасности, и эта пагубная клятва расстроила все мои планы!

– Я ожидала, – говорила сестра Маглоар со слезами, – какого-нибудь неприятного возвращения прежних причуд, но кто мог предвидеть это!

Со своей стороны, Леоне шептал с отчаянием:

– Нет более сомнения, она не любит меня!.. Она для меня потеряна... О!

Глава пятнадцатая

За два месяца, последовавшие за происшествиями, рассказанными в прошлой главе, жеводанский зверь продолжал свои опустошения, хотя переменял место. Он покинул меркоарский лес; теперь несчастья начались в соседних округах; словно чудовище, сделавшись осторожнее и опытнее, не смело долго оставаться нигде, а беспрестанно переходило с одного места в другое, чтобы расстроить погоню. Утром узнавали, что оно привело в ужас деревню Руэрг, а вечером – растерзало какую-нибудь женщину или какого-нибудь ребенка в селе Оверн, миль за двадцать от прежнего места.

Рассказы об этих страшных подвигах поражали ужасом. Однажды пять бедных детей из прихода Шаналейль стерегли стадо в горах, когда на них вдруг напало свирепое животное. Оно уносило уже самого младшего, когда другие, вооруженные только ножами, воткнутыми в палки, бросились освободить своего товарища. Они погнались за волком и мучили его до такой степени, что он бросил, наконец, добычу и воротился в соседний лес. В другой раз рассказывали о жене Ружэ, Жанне Шастан; она у дверей своего дома с тремя детьми должна была выдерживать ожесточенную борьбу с жеводанским зверем, который силился утащить одного из ее бедных малюток. Взбешенная мать бросилась на чудовище, боролась с ним и успела, несмотря на то, что он несколько раз укусил ее, обратить его в бегство. Но эта победа стоила ей дорого: самый младший из сыновей ее, и, без сомнения, самый любимый, умер, когда люди пришли на помощь к несчастному семейству.

Во всех этих рассказах о злодействах зверя никогда не говорили о Зубастом Жанно. Может быть, он не мог следовать за своим неутомимым товарищем; может быть, они поссорились; может быть, наконец, Жанно понял, несмотря на расстройство своего рассудка, опасность подобного товарищества. Однако те, которым были известны меркоарские происшествия, находили в некоторых приключениях жеводанского зверя сообщество человека, и действительно, способ, по которому зверь несколько раз избегал преследований, мог подтвердить это мнение.

Отчаяние провинций, подвергаемых опустошениям этого зверя, дошло до крайней степени. После несчастной охоты, которой распоряжался барон де Ларош-Буассо, было еще множество других охот, то в одном месте, то в другом. Часто двадцать или тридцать приходов соединялись для охоты в том кантоне, куда скрывался волк; самые искусные охотники в королевстве спешили подать помощь несчастным жеводанским жителям. Сам король послал туда барона д'Энневаля, нормандского дворянина, который слыл самым искусным начальником над волчьей ловлей во Франции. Вся страна поднималась против общего врага. Однажды двадцать тысяч охотников окружили Прюньерский лес, где зверь поселился. Этой армии удалось не более других, менее многочисленных войск, предшествовавших ей. Волк избегал погони с адским успехом. Несколько раз думали, что заключили его в узкий круг, составленный из превосходных стрелков, но все-таки он исчезал, как будто превращался в дым. Собаки не хотели на него нападать и убегали с воем, как только примечали его. Некоторые охотники уверяли, что их свинцовые пули отскакивали от его тела. Другие, стрелявшие в него почти в упор, утверждали, что смертельно его ранили, и показывали следы его крови: несмотря на это дня через три узнавали, что он чудесно излечился от своей раны и опять растерзал какую-нибудь жертву.

Отчаяние сделалось всеобщим, даже скептики начали верить чернокнижию, колдовству. Заказывались обедни, составлялись процессии; по приказанию мендского епископа Святые Дары были выставлены во всех жеводанских церквах, как во время язв и общественных бедствий. Огорченный народ, не пренебрегая никакими человеческими средствами, чтобы прекратить это бедствие, имел надежду только на Бога.

Таково было положение дел в ту минуту, когда мы приводим слушателя в Лангонь, в гостиницу вдовы Ришар, куда перенесли Ларош-Буассо, как только его рана это позволила. Эта рана действительно, несмотря на печальное предсказание хирурга, скоро зажила, и барон, чувствуя, что положение его двусмысленно в доме графини де Баржак, поспешил оставить замок. Впрочем, он уехал со всеми воинскими почестями. Когда он садился в экипаж, владельница замка вместе с сестрой Маглоар и главными слугами пришла пожелать ему счастливого пути. Меньяк проводил его верхом

до границ поместья, где, несмотря на несколько слов, которыми он обменялся с бароном, они расстались по наружности дружелюбно.

С этого дня Ларош-Буассо жил в Лангони и, по милости забот деятельной Ришар, Лабранша, его егеря, и камердинера, друга его и кредитора Легри, он скоро выздоровел. Правда, Легри отлучался несколько раз к своему отцу, жившему в одном отдаленном городе, но он скоро возвращался к барону, и короткость их казалась еще теснее прежнего. Может быть, желание находиться в обществе окрестных дворян, которые собирались у раненого, чтобы помогать ему переносить скуку уединения, было главной причиной стараний Легри. Гостиница мадам Ришар сделалась теперь местом удовольствий и празднеств; там пили, смеялись, играли беспрестанно, и молодой плебей с поспешностью ухватился за этот случай втереться в высшее общество. В одно утро Легри вошел в комнату, которую барон занимал на первом этаже гостиницы. Замысловатое усердие мадам Ришар собрало там весь желаемый комфорт. Двойные занавеси украшали окна, пол был покрыт ковром, ширмы у дверей защищали от сквозного ветра, и, так как был конец осени, яркий огонь каштановых дров горел в камине. Ларош-Буассо, в великолепном шлафроке, только что выбритый и напудренный, казалось, совсем выздоровел от своей раны, кроме легкой бледности, едва заметной на его мужественном лице. Он считал золотые монеты, разбросанные на столе, что не мешало ему слушать мадам Ришар, которая, по-прежнему свежая и улыбающаяся, забавляла его своей болтовней.

– Я в восторге, что вижу вас на ногах, барон, – сказал Легри весело, – черт побери! Как-то легче на душе после всех горестей, которые вы нам причинили!

– Благодарю, Легри, – небрежно возразил барон, все считая золотые монеты, – сегодня я чувствую себя недурно; я никогда не был так весел и так хорошо расположен.

– Понимаю, – сказал Легри, подмигнув, – ваше занятие заставляет вас видеть все в розовом цвете.

– Что такое триста или четыреста жалких луидоров, которые я выиграл в это время у маркиза де Кастильяка и Вοπильера? Должно же мое выздоровление доставить мне что-нибудь! Но вы знаете, Легри, что эти деньги ненадолго у меня останутся.

В то же время он бросил золото в ящик блестящим каскадом.

– Кстати, мадам Ришар, – обратился он к трактирщице, – этот Фаржо, который каждую неделю приходит узнавать о моем здоровье от имени графини де Баржак, пришел теперь?

– Нет еще, барон, но он придет скоро. Верно, вы оставили там очень сильные воспоминания, – продолжала хорошенькая вдова с коварным видом, – не проходит и недели, чтобы из Меркоара не присылали нарочного узнать о вашем здоровье, о том, что вы делаете... даже расспрашивают о мосье Легри; это, кажется, должно быть очень для него лестно!

Это замечание было принято бароном с двусмысленной улыбкой, а Легри – с гримасой.

– В самом деле, – отвечал Ларош-Буассо, – у нас там есть друзья, но дружба так непостоянна, мадам Ришар!.. Когда Фаржо придет, сейчас же скажите; нам нужно с ним поговорить.

– Хорошо; не желаете ли вы еще чего-нибудь?

– Конечно, моя милая! – отвечал Ларош-Буассо.

Он вдруг повернулся и два раза поцеловал круглые щеки трактирщицы.

– Теперь позаботьтесь о моем завтраке, – сказал он, – сенперейского вина и яичницу с форелью, как прежде.

– Видно, что вы выздоровели, – отвечала вдова, убегая, – вы принялись опять за прежние привычки!

Как только дверь затворилась за ней, Ларош-Буассо вдруг сделался серьезен.

– Садитесь, Легри, – сказал он своему поверенному, указывая на стул. – Вчера вечером, когда вы приехали из города, я ощипывал этих молодых деревенских ветреников, которые осмеливаются вызывать меня на игру, и не мог еще поговорить с вами. Однако вы наверняка имеете многое рассказать мне... Ну, какие известия сообщите вы мне о вашем отце, этом неумолимом Крезе? Поддержит ли он меня своим кошельком в новом процессе, который я затеваю против фронтенакского аббатства насчет поместья Варина?

– Сказать по правде, любезный барон, старик еще не решается; вы уже столько ему должны! С другой стороны, эти фронтенакские аббаты очень могущественны и на них боятся нападать... Однако я, может быть, устрою дело к вашему удовольствию... Надеюсь, что вы никогда не сомневались в моей дружбе и преданности.

– Тысячу раз благодарю вас за вашу дружбу, Легри; но, черт побери! Ваш отец не очень рискует, если даст мне еще несколько тысяч пистолей; можно предвидеть, что я успею образумить этих плутов аббатов. Поместье Варина с доходами в течение шестнадцати лет может доходить, по моему расчету, до пятисот или шестисот тысяч экю... Денежки хорошие, Легри! Ваш отец должен бы это сообразить. Но прежде всего нам надо условиться, во что бы то ни стало с Фаржо... Вы уверены, не правда ли, что этот человек владеет важной тайной относительно смерти моего молодого кузена Варина?

– Я вам сказал, Ларош-Буассо, все, что знаю об этом деле. Мой камердинер несколько времени тому назад пил в крансакском трактире и узнал от трактирщика, что Фаржо хвалился, будучи пьян, что он может погубить некоторых довольно важных лиц; он намекал, что вы дорого заплатили бы за бумагу, которая находится у него в руках, потому что эта бумага могла бы возвратить вам поместье Варина.

– Это очень ясно, – сказал барон, задумавшись, – ну, Легри, повидается с этим человеком, как только он придет сюда. У вас нет недостатка хитрости, когда вы захотите; окажите мне еще эту услугу – и вы не раскаетесь. Отведите Фаржо в сторону, напоите его, дайте обещание... я отдаю в ваше распоряжение все это золото, которое выиграл; найдется еще, если понадобится... О, чего не дал бы я, чтобы держать в руках этих гнусных аббатов!

– Откровенно говоря, барон, это поручение не очень легкое. Бывший лесничий после трагической смерти своей дочери сделался мрачен, молчалив; он перестал пить, в кабак больше не ходит. Мой камердинер не мог вырвать у него ни слова об этом деле.

– Ваш камердинер дурак, а вы человек умный, любезный Легри. Я не верю этим внезапным превращениям. Пословица говорит: кто пил, тот всегда будет пить. Я полагаюсь на вашу дружбу и уверен, что вам удастся... Но оставим это... Какие известия о нашем прелестном друге, меркоарской владетельнице?

– К моему живейшему удовольствию, обета графини де Баржак публика не знает. Вы помните, приор Бонавантюр велел нам всем молчать, «чтобы уменьшить число женихов». Итак, еще не многие знают, какая сладкая награда ожидает победителя зверя; об этом говорят как о неопределенных слухах, не заслуживающих никакого вероятия. Я вижу только трех или четырех человек...

– Между которыми вы натурально считаете себя, не правда ли, Легри? – спросил барон с иронией. – В самом деле, почему же и вам не быть владельцем меркоарским? Ваш отец купит вам должность, которая облагораживает, от вас пойдут дворяне, и через два-три поколения никто не будет подозревать, что вы были сыном прокурора. Однако не слишком восторгайтесь, мой бедный Легри, потому что наверняка заявятся грозные соперники для вас.

– Правда, барон, и, не считая вас, имеющего столько возможностей на успех, говорят, что один из наших знакомых становится в ряды. Это один юноша, которого мы считали способным только вздыхать и говорить нравственные правила...

– Хорошо! Вы говорите о ягненке фронтенакских аббатов? – возразил с горечью Ларош-Буассо. – Черт побери! Я его считаю способным и на другое; в нем нет недостатка ни в энергии, ни в мужестве, и если он оборвет свои помочи... Итак, мосье Леоне любит графиню де Баржак! Я угадал это с первой минуты.

– Уверяют, что он перевернул вверх дном все фронтенакское аббатство, куда воротился со своим дядей приором. У него теперь есть собаки и лошади, для него купили самое лучшее оружие, он постоянно упражняется, чтобы сделаться первоклассным стрелком. Он сошелся с бывшим егерем королевской охоты, о котором рассказывают чудеса, и они вместе рыскают по лесу то верхом, то пешком. Аббаты не отказывают ему ни в чем и щедро дают деньги на все его издержки; несмотря на это, я очень сомневаюсь, чтобы мосье Леоне достиг когда-нибудь своей цели.

– Почему знать? – возразил Ларош-Буассо с озабоченным видом. – Для этого ему нужна только одна минута счастья. Но, может быть, эта минута не настанет. Когда этот новичок окажется в состоянии пуститься на охоту, зверь будет мертв давно. Мы об этом позаботимся, если только этот парижский охотник не позаботится прежде нас.

– Полноте, Ларош-Буассо! Неужели вы не можете простить этому бедному барону д'Энневалю, который приехал к нам с такой самоуверенностью, так гордясь поручением, данным ему королем? Однако он начинает сознаваться, что этот труд выше его сил. После десяти страшных охот он продвинулся не далее, как в первый день. Зверь играет с ним в прятки; он все бегаёт за ним и не может его догнать. Д'Энневаль измучился, его собаки, лошади, слуги просят

пощады. Он поговаривает о возвращении в Париж и хочет предоставить кому угодно заботу очистить Жеводан от этой язвы.

Ларош-Буассо сделал; несколько шагов по комнате с задумчивым видом.

– То, что вы мне говорите, Легри, – продолжал он, – подтверждает идею, которая пришла мне в голову после той несчастной охоты, которой я распорядился в Меркоарском лесу. Шумная охота никогда не удастся с таким недоверчивым и хитрым зверем, как этот волк; она его тревожит и заставляет постоянно быть настороже. Стало быть, нужно, чтобы два решительных человека, два хороших стрелка, которые могли бы положиться друг на друга – как вы и я, например, – отправились со своими ружьями и с двумя или тремя слугами, не более. Бесполезно тащить с собой свору крикливых и трусливых собак, которые тотчас убегут, как только зверь повернет к ним. Я возьму с собой только мою ищейку Бадино, чтобы отыскивать след, и хорошую большую меделянскую собаку, которую надо спустить в удобную минуту. Волк, по всем рассказам, очень мужествен, он не откажется от битвы с таким малым числом врагов, он храбро затеет борьбу, и как он ни ужасен, а можно найти случай убить его. Я знаю, где мне найти такую собаку, как я желаю; она уже храбро нападала на жеводанского зверя; это собака Жана Годара, меркоарского пастуха. Жан Годар уступит ее, хоть бы мне пришлось заплатить ему тысячу ливров... Таким образом, я отправлюсь в путь, как только возвратятся мои силы, а это будет через несколько дней. Ну, что вы скажете о моем плане, Легри?

– Он превосходен и тем более имеет возможность на успех, что совсем не похож на те планы, которые до сих пор не удавались. Итак, барон, вы возьмете меня с собой, рискуя увидеть, что, может быть, и я, конечно, самым слабым образом, заслужу награду...

– Помните о наших условиях: возможность равная как для вас, так и для меня. Если судьба вам поспособствует, я первый вас поздравлю; если счастье повернется ко мне, вы должны храбро покориться своей участи. Я вам доставляю равную возможность со мной, Легри; самая требовательная дружба не может ожидать более.

– Это правда, любезный барон, и я благодарю вас. Но эта экспедиция против такого страшного зверя будет представлять большие опасности...

– Если вы боитесь, – сказал Ларош-Буассо с фанфаронством, – оставайтесь дома; по всей вероятности, ни в трудах, ни в опасностях недостатка не будет...

– Ни те ни другие не испугали бы меня, если б я был уверен... Что бы вы ни говорили, барон, возможность на успех для вас и для меня далеко не равная. Вы опытный охотник, а я в этом, как и во многом другом, стою гораздо ниже вас. Поэтому нельзя ли, чтобы, разделив ваши труды и опасности, я имел какую-нибудь долю награды?

– Это было бы очень возможно, мой бедный Легри, – отвечал Ларош-Буассо с добродушием, скрывавшим большое коварство, – но что же делать? Я обязуюсь честно доставить вам случай заслужить награду, хотя буду стараться выиграть ее сам, но больше не ждите ничего.

Легри казался не очень доволен сомнительной возможностью, которую ему предоставляли в общем предприятии. Он, может быть, весьма сомневался в великодушии своего друга и, умея хорошо рассчитывать, придумывал средства обеспечить себе положительные выгоды. После минутного размышления он сказал решительно:

– Объяснимся откровенно, Ларош-Буассо. Истинно ли вы любите графиню де Баржак, которая вас не любит, и доказала это?

Глаза барона сверкнули необыкновенным блеском при этом вопросе; но, вспомнив, что его интересы требуют щадить его товарища, он отвечал с притворной веселостью:

– Неужели вы так мало знаете женщин, любезный Легри, и думаете, что подобный поступок доказывает отвращение? Или вы мало знаете меня самого, чтобы думать, что удар ножом очаровательной владетельницы замка не способен скорее раздражить мою страсть, чем погасить ее?.. Но к чему этот вопрос, и что вы хотели им сказать?

– Вот что, барон: может быть, настала минута просить у вас награды за услуги мои и моего отца. Несколько лет уже вы пригоршнями берете из нашего кошелька; теперь если продать все ваше имение, то оно едва ли заплатит половину вашего долга. Однако отец мой имеет очень хорошее понятие о цене денег; если бы дело шло о ком-нибудь другом, а не о друге его сына, он давно потребовал бы платы, и вы угадываете неизбежный результат его преследований. С

другой стороны, вы начинаете процесс против самого богатого и могущественного аббатства в провинции, и вам нужны значительные суммы... Ну, все может обделаться хорошо, если вы действительно любите графиню де Баржак.

– Как вы это понимаете, Легри?

– Выслушайте меня, барон, и заклинаю вас, не оскорбляйтесь моими словами. Отец мой приобрел большое состояние, все равно каким бы то ни было образом, и по примеру других обогатившихся мещан он имеет честолюбие облагородить свой род, видеть своего единственного сына дворянином. Может быть, действительно он купит для меня скоро одну из тех должностей, о которых вы говорили сейчас. Вы знаете так же, как и я, что несколько фамилий, весьма ныне уважаемых, начали таким образом. Однако наши планы могли осуществиться весьма медленно и неверно, когда странный обет богатой меркоарской владельницы изменил их. Отец мой воспламенился при первом слове, которое я сказал ему об этом. Он видит тут быстрое и верное средство достигнуть цели наших желаний и принесет величайшие жертвы, даже отдаст все свое состояние, которое огромно, для того, чтобы я женился на графине де Баржак.

– Ну, любезный Легри, убейте жеводанского зверя – и графиня де Баржак будет ваша.

– Но я не могу успеть в этом предприятии иначе, как с вашей помощью. Ваше соперничество оставляет мне очень мало надежды. Вот почему я заклинал вас сказать мне, действительно ли вы любите владелицу меркоарского замка.

– Может быть – да, а может быть – и нет... Еще раз, какое вам дело, Легри?

– Нет, вы ее не любите, вы не можете любить женщину, которая так жестоко обошлась с вами, которая подвергла опасности вашу жизнь! Она должна вас презирать, вы должны ее ненавидеть, союз между вами решительно невозможен. Если вы ищете ее руки с такою горячностью, это потому, что вами, без всякого сомнения, руководят три причины: или вы хотите отомстить ей за ее презрение и запальчивость, или надеетесь расстроить планы бенедиктинцев, назначивших ее племяннику приора, или не имеете другой цели, как поправить ваше состояние, сделавшись меркоарским владельцем...

Отвечайте с вашим обыкновенным благородством, Ларош-Буассо, не угадал ли я?

– Может быть, в ваших предположениях есть правда, – лаконически отвечал барон.

– Стало быть, я могу, – продолжал Легри с необыкновенным одушевлением, – открыто просить у вас жертв? По всей вероятности, вы вступите во владение поместьями Варина, которые гораздо обширнее меркоарских; но для того чтобы вырвать эту добычу у жадных бенедиктинцев, удерживающих ее столько лет, вам нужны новые суммы. Эти суммы отец мой готов ссудить вам. Мало того: в случае если процесс не удастся, он будет очень сговорчив насчет долгов; он даже возвратит вам ваши документы на имение, находящееся у него в закладе. Словом, вы получите полное и совершенное удовлетворение во всех отношениях.

– Чего же требуете вы у меня взамен, любезный Легри?

– Весьма немного. Если жеводанский зверь падет под ударами одного из нас, все-таки я должен воспользоваться этим подвигом.

– Прекрасно, а если – надо же все предвидеть – ни один из нас не убьет его?

– Тогда мы все-таки останемся вам благодарны за ваше великодушное намерение; но вы употребите все ваши усилия, для того чтобы это предприятие удалось, и вам удастся. Вам будет слишком неприятно видеть этого Леоне или какого-либо другого искателя приключений, похищающего руку и поместье графини де Баржак. Да, нам удастся... вы будете иметь ваше поместье Ларош-Буассо и имение Варина, а у меня будут Меркоар и эта капризная девица, которая вас ненавидит; ну, отвечайте же, барон, это решено?

Ларош-Буассо в своей развратной жизни давно уже лишился той деликатности, того чувства собственного достоинства, которые тогда отличали дворянство. Однако или оттого, что он действительно любил Кристину, или его возмутила дерзость этого выскочки, который цинически предлагал ему раздел, он вдруг выпрямился с угрожающим видом, но в эту минуту дверь отворилась и служанка доложила, что пришел меркоарский лесничий и ждет в нижней зале.

Эта новость внезапно заставила Ларош-Буассо опомниться; преодолев свой гнев, он сказал с внешней благосклонностью:

– Мы после поговорим обо всем этом; не будем спешить продавать медвежью шкуру... Самое важное, любезный Легри, видеться с Фаржо, узнать его тайну и воспользоваться ею; пока ничего не будем знать на этот счет, мы должны отложить окончательное решение.

Легри боялся, что он оскорбил гордость дворянина; эта кротость удивила его столько же, сколько и восхитила. Он поспешно встал.

– Вы правы, – продолжал он, – я примусь за этого старого шута, и, как он ни хитер, я сумею урезонить его. Но я более был бы уверен в успехе, если б вы обещали мне, барон.

– Что могу я обещать, прежде чем разужнаю все наверно о поместье Варина? Принесите мне хорошее известие – и мы уладим дело... Ну, любезный Легри, постарайтесь же! Вы должны заслужить ваши шпоры. Фаржо несговорчив, как кажется; тем более заслуги будет для вас победить его. Я сам мог бы взяться за это дело, – продолжал Ларош-Буассо, – но вам это больше идет, нежели мне; некоторые вещи я никак не сумею сделать, несмотря ни на что.

Легри сделал вид, будто не примечает едва скрываемого презрения барона к поручению, данному ему. Ларош-Буассо раскрыл ящик, в который спрятал золото, выигранное им.

– Возьмите, – сказал он, – и с вашей обыкновенной скупостью не компрометируйте результата переговоров. Дайте Фаржо все, что он потребует, если б вам пришлось даже отдать мою последнюю золотую монету. Надо ослепить его; обещайте, как будто бы в вашем распоряжении были сокровища Перу... Хорошо вы поняли меня?

– Да, да, – отвечал Легри, вынимая деньги из ящика, – но я не отчаиваюсь в успехе и не брошу деньги на ветер. Мало ли, сколько еще вам понадобится, любезный барон!.. Я оставляю вас, но скоро вернусь объявить о моей победе.

Он ободряюще взглянул на барона и вышел. Как только барон перестал слышать шум его шагов, он дал волю своим чувствам, с трудом преодолеваемым.

– Наглец! Дурак! – бормотал он. – Осмелиться сделать мне подобное предложение... мне! Иметь притязание жениться на графине де Баржак, ему, сыну негодяя с узкой душонкой, с низкими понятиями, подлецу и скряге! Не знаю, что мешает мне просто сказать ему... Но

обстоятельства чрезвычайно важны, и я должен старательно его щадить... пока он мне нужен.

Глава шестнадцатая

Фаржо после трагической смерти дочери отказался от должности меркоарского лесничего; впрочем, он всегда дурно исполнял эту должность. Общее мнение упрекало его в том, что он был главной причиной этого пагубного происшествия, и, несмотря на его видимое раскаяние, никто не скрывал отвращения, которое он внушал. Однако или графиня де Баржак почтила последнюю просьбу Марион, или чье-нибудь таинственное влияние хлопотало за бывшего лесничего, он не был лишен места постыдным образом, как заслуживало его недостойное поведение. Напротив, ему дали убежище в замке; он надзирал за другими слугами, и ему давали занятия наименее трудные.

Стало быть, его жизнь была бы очень приятна в его новом положении, если бы презрение, которое ему показывали при всяком случае, а может быть, и его тайные угрызения, не возмущали его души.

Даже физически Фаржо совершенно переменился. Его прежний румянец исчез, полнота спала, щеки обвисли, глаза потускнели; вместо прежнего красивого мундира, он носил теперь серую ливрею, которая висела на его исхудалом теле. Однако не нужно было иметь большую проницательность, чтобы видеть, что горе не сделало добрее этого человека; его характер даже как будто стал брюзгливее, а его ненависть к другим увеличивалась от презрения и ненависти, которые он испытывал к самому себе.

Когда Легри вошел в кухню, Фаржо, сидевший у окна, встал и поклонился с мрачным видом. Молодой мещанин принял с ним тот фамильярный и покровительственный тон, которому он научился у Ларош-Буассо.

– Здравствуйте, здравствуйте, Фаржо, – сказал он, – очень рад вас видеть!.. Но перейдем в маленькую гостиную, там нам удобнее будет разговаривать... Мадам Ришар подаст нам туда две бутылки лучшего вина... сию же минуту, не правда ли, мадам Ришар?

Трактирщица очень удивилась. Столько же гордый с низшими, сколько раболепный с дворянами, Легри не имел привычки обращаться таким образом с людьми, подобными Фаржо. Но друг барона, казалось, не заметил действия, произведенного этим отступлением от

его обыкновенной гордости; он вошел в соседнюю комнату, и Фаржо последовал за ним машинально. Скоро тот и другой сидели перед столом, на котором красовались потребованные бутылки.

Легри сначала засыпал посланного вопросами обо всех меркоарских жителях, к которым он показывал необыкновенное расположение. Ему отвечали лаконическим, холодным тоном и как будто остерегались его. Ему наскучила эта раздражительная осторожность, он схватил бутылку и наполнил стаканы золотистой жидкостью, которая разлила по всей комнате восхитительное благоухание.

– Ну, Фаржо, – сказал Легри ласковым тоном, – вы, верно, устали от этой утренней прогулки; я думаю, вы не откажетесь выпить со мной.

– Благодарю; я дал себе слово не пить более вина.

– Это хорошо для дурного вина деревенских кабаков, но это вино сенперейское; посмотрите, мадам Ришар славится этим вином во всей провинции. Попробуйте, говорю вам, один раз не беда, черт побери!

Фаржо отворотился и повторил свой отказ.

– Как вам угодно, – сказал Легри.

Он поднес стакан к губам и с наслаждением медленно втягивал драгоценный нектар. Бывший пьяница оставался равнодушным.

Разговор продолжался. Один не уставал спрашивать, другой отвечал кратко и односложными словами. Легри узнал таким образом, что графиня де Баржак, верная своей доброй решимости, ни разу не надевала костюма амазонки после последней охоты в Меркоарском лесу, что она не ездила более верхом, не выходила без Меньяка и нескольких слуг, что она жила уединенно, казалась печальной и проч. Несмотря на интерес этих подробностей, Легри не очень продвигался к цели данного ему поручения. Он придумывал средства искусно приступить к вопросу; но или случайно, или по расчету, Фаржо не подавал ему желанного случая, и время проходило без всякого результата.

«Должно быть, его научили действовать таким образом, – думал Легри, – или он действительно исправился от пьянства... Черт меня побери, если я знаю, как мне сладить с этим угрюмым стариком!»

Фаржо, которому, без сомнения, наскучила эта бесполезная болтовня, наконец, встал.

– Я отвечал на все, о чем вы меня спрашивали, мосье Легри, – сказал он, – в свою очередь позвольте мне исполнять данное мне поручение... Могу я сообщить моим господам, что Ларош-Буассо выздоравливает?

– Вы можете даже сообщить им, что он совершенно выздоровел; мой благородный друг поговаривает уже о том, что он скоро поедет верхом.

– Это доставит удовольствие кавалеру де Меньяку, который с нетерпением ждет, чтобы барон совсем оправился от своей раны.

– Отчего это, Фаржо?

– Не знаю... И вы также, мосье Легри, здоровы и свежи, стало быть, ваши попечения уже не нужны барону; говорят, что вы то уезжаете отсюда, то приезжаете сюда.

– Разве кавалер осведомляется также обо мне? – спросил Легри с видом беспокойства.

– Как же; он занимается вами точно так же, как и бароном; он расспрашивает как нельзя подробнее и о нем и о вас.

– Слишком много чести; дело вот в чем, любезный Фаржо: барон не бережется, и силы медленно к нему возвращаются. Если б я не наблюдал постоянно за ним, чтобы не допустить его сделать какую-нибудь неосторожность... Не торопитесь же сообщить благоприятные известия этому доброму кавалеру. Я надеюсь, что через две недели Ларош-Буассо будет в состоянии держаться на ногах, и сам я освобожусь от всяких забот о нем.

Легри рассчитывал, что он со своим другом прежде этого времени уже покинут окрестности Меркоара.

– Я исполню это поручение, – отвечал Фаржо.

Он хотел выйти. Легри, на минуту смутившийся от слишком живого участия, которое кавалер де Меньяк принимал в нем, вдруг вспомнил о настоящем положении дел.

– Пойдите еще минуту, мой добрый Фаржо, – дружески продолжал он, – я замечаю в вас печаль, огорчающую меня. Я знаю ваше несчастье, и мне хотелось бы утешить вас... Скажите, Фаржо, отчего вы так переменились? Разве вы несчастливы в Меркоаре? Разве к вашему несчастью не имеют того уважения, какого оно заслуживает?

Эти дружеские слова должны были бы произвести большое впечатление на Фаржо, который, всегда мрачный и угрюмый,

терзаемый угрызениями, не привык слышать слово сочувствия. Однако он отвечал с горечью:

– Уважение! Какое уважение могут ко мне иметь? Там все меня обвиняют и презирают. Меня взяли в замок, но это из жалости, а может быть, и из уважения к бедной покойнице... Меня не любят; я издохну, как собака под кустом, и никто обо мне не пожалеет... Потом, – продолжал он свирепым тоном, – разве я не заслужил всего этого, а может быть, и худшего?

– Почему же? Разве вы виноваты, что бедная девушка непременно хотела бежать за вами в лес, несмотря на настойчивые убеждения Гран-Пьера? Разве вы сами побудили ее к этому неблагоприятному поступку? Это только один несчастный случай, который было бы несправедливо и нелепо приписывать вам.

– Вы думаете? Это ваша мысль? – спросил Фаржо, выпрямившись и с неопишуемым выражением радости, – я уже говорил себе это, но другие, в особенности меркоарский аббат, уверяют противное.

– Садитесь и поговорим как добрые друзья. Те, которые стараются вас мучить, имеют, может быть, причины на это, но люди беспристрастные, как я и мой достойный друг Ларош-Буассо, могут только сожалеть о вас. Виноват в этом только проклятый зверь, которого мы отыщем и убьем, когда выздоровеет барон.

– О! Позвольте мне помочь вам... Я вам помогу! – с жаром закричал Фаржо. – Я могу доставить вам средства напасть врасплох на этого гнусного зверя... Итак, – продолжал он совсем другим тоном, – барон находит, что мне не в чем упрекать себя относительно того ужасного происшествия, которое лишило меня моей бедной дочери?

– Надо быть очень глупым или очень злым, чтобы думать противное; но повторяю, Фаржо, вам старались внушить эти вещи, чтобы извлечь из итога выгоду... Вы говорили мне, что меркоарский аббат старается смутить вашу совесть незаслуженными упреками?

– О! Вы правы, – сказал лесничий с выражением ненависти, – этот аббат ожидал от меня чего-нибудь, и теперь я уверен, что он действовал по наущению фроитенакских бенедиктинцев... Но хотя я почти обезумел от горести, я был так же хитер, как и он, и он не добился того, чего хотел.

– А чего он хотел, любезный Фаржо?

– Ничего, ничего!

Легри понял, что он не должен спешить и вернее достигнет своей цели, если удвоит ловкость и терпение.

– Я заключаю из всего этого, Фаржо, – продолжал он кротко, – что с вами в Меркоаре нехорошо обращаются, и я посоветовал бы вам немедленно оставить замок. Клянусь честью, вас, наконец, сведут с ума!.. Уже и теперь вас узнать нельзя. Прежде вы были таким веселым собеседником, а теперь живете как волк; вы не смеетесь больше, не говорите, цвет лица у вас бледный, а щеки впалые... Скажите, Фаржо, мужчина ли вы? Разгладьте же ваши морщины, черт побери!.. Я предлагаю вам, – прибавил Легри, наполняя стаканы, – выпить за здоровье – вы не откажетесь на этот раз – вашей прелестной госпожи, благородной графини де Баржак, и за поражение интриганов, окружающих ее!

Он подал полный стакан Фаржо, который взял его.

– Я не могу отказаться выпить за это, – отвечал бывший лесничий, – графиня де Баржак была прекрасно расположена к моей несчастной дочери, и хотя она не любит меня...

– Она сожалела бы о вас, Фаржо, если бы к ней не приставали эти фронтенакские пройдохи, черт их побери!

– От всего сердца желаю того же, – сказал Фаржо. И он опорожнил свой стакан.

С этой минуты отец Марион сделался совсем другим человеком. Вероломное искусство соблазнителя восторжествовало, наконец, над его угрызениями; колеблясь до сих пор между добром и злом, Фаржо весь повергнулся во зло.

Разговор шепотом, но очень одушевленный, начался между новыми друзьями. Фаржо, отказавшись от своей молчаливости, возвратил свои прежние лукавые инстинкты; но если некоторые предложения пугали его, Легри удваивал красноречие, и Фаржо не мог устоять. Притом, стакан наполнялся за стаканом, Фаржо уже не останавливался и хотел этим превосходным вином вознаградить себя за продолжительное воздержание от спиртуозных напитков. Две бутылки были опорожнены, спросили две других, потом еще других. Легри подавал пример, так что в конце заседания он был почти так же разгорячен, как и его собеседник.

Результат этого разговора можно угадать. Мало-помалу полное согласие водворилось между собеседниками. Золото, наполнявшее

карманы одного, перешло мало-помалу в карманы другого. Скоро Фаржо в свою очередь вынул из кармана грязный бумажник, а из него бумагу, которую отдал Легри. Тот, бросив взгляд на эту бумагу, обнаружил необыкновенную радость. Наконец Фаржо встал шатаясь.

– Чудесно! – закричал он, – я не хочу печалиться, черт побери! Я хочу еще пожить весело... Горесть убьет и кошку, черт возьми!.. Ну, мосье Легри, это решено, я возвращаюсь в Меркоар распрощаться с ними, потом вступлю в службу к барону, и все мы примемся отыскивать слугу Жанно, свидетельство которого важно в этом деле. Я беру на себя заставить его говорить, несмотря на его помешательство; кроме того, он нам поможет, без сомнения, отыскать этого адского жеводанского зверя, который растерзал... Но об этом не надо думать... Еще одно слово, Легри: уверены ли вы, что барон не отступится?

– Он сдержит все мои обещания, Фаржо, отвечаю вам за это; и если вам признаться, то я действую от его имени; это его золото теперь бренчит в ваших карманах... Ступайте же и спешите воротиться... А пока выпьем в последний раз за здоровье вашего нового господина барона де Ларош-Буассо!

– Да, да, за здоровье барона! – вскричал Фаржо и решительно опорожнил свой стакан. – Пусть он разобьет в прах всех этих злодеев бенедиктинцев, а вместе с ними и этого лицемера приора, который вздумал так гордиться передо мной... А! а! Теперь узнают, на что я способен! А тем-то, меркоарским, как я задам! Как позавидуют моему золоту этот долговязый кавалер, эта ханжа Маглоар и эти лентяи лакеи! Мне хочется поскорее посмотреть на это... Я уйду.

Они оба стояли; Фаржо бросился на шею к Легри, который, едва держась на ногах, чуть не упал.

– Ах, Легри! – вскричал Фаржо с умилением и, даже проливая слезы. – Ты мой благодетель, мой товарищ, мой лучший друг... Я был слеп, безумен, несчастен; ты раскрыл мне глаза и ум, ты возвратил мне радость в сердце.

Мы преданы друг другу на жизнь и на смерть! Нам надо расстаться, но я завтра же ворочусь, и мы уже не расстанемся... Сколько чудесных бесед проведем мы вместе!.. Ну, пойдем со мной. Я хочу, чтобы ты видел, как я езжу верхом.

Говоря таким образом, Фаржо взял под руку своего собутыльника и потащил его к двери. Таким образом прошли они нижнюю залу

гостиницы, где находились вдова Ришар и слуги. Легри, как нам известно, был одет очень щеголевато; по его шляпе с золотым галуном, по его шелковому кафтану, кружевам, бантам его приняли бы за настоящего джентльмена. Фаржо, напротив, со своей пошлой осанкой, неблагородным лицом и в поношенном костюме представлял тип пьяницы самого низкого разряда. Поэтому хотя у обоих лица были красны, а одежда растрепана, такое сближение внушило прекрасной трактирщице и ее служанкам сильное отвращение.

Не тревожась этим безмолвным неодобрением, они дошли до двора гостиницы, где Фаржо сел на старую лошадь, на которой он приехал. Они обменялись еще несколькими дружескими словами, потом путешественник уехал, напевая свою любимую песню.

Через минуту Легри бежал отдать Ларош-Буассо отчет в результате данного ему поручения.

Барон, кончавший завтрак, сначала нахмурил брови, увидев, в каком состоянии находится его поверенный, но когда Легри рассказал ему подробности своего разговора с Фаржо, в особенности, когда показал ему важную бумагу, которую лесничий никак не хотел отдать до этого дня, Ларош-Буассо не мог удержаться от восторга.

– На этот раз я поймал их! – вскричал он с пылкостью. – Я заставлю этих дерзких бенедиктинцев провалиться сквозь землю! Обвинение в убийстве, какое счастье! Одной угрозы разгласить это гнусное преступление будет достаточно для того, чтобы заставить их возвратить мне поместье Варина... И какую прекрасную роль буду я играть! Я как будто стану преследовать только мщение за моего убитого кузена. Мой гнев и моя ненависть к этим людям не могли ничего пожелать лучше... Удивительно сделано, любезный Легри! Вы, кажется, не пощадили себя в битве, столько храбрости обезоруживает меня, и вы будете иметь вашу часть в победе, обещаю вам. Пусть теперь этот толстяк Фаржо доставит нам средство убить жеводанского зверя, прелестная владетельница замка будет принадлежать вам со всеми ее богатствами. Вы видите, что я не торгуюсь с вами за ваши услуги!

Может быть, в этом обещании барона заключалась ирония, но Легри, обыкновенная проницательность которого была притуплена в эту минуту, не заметил ее.

– Прекрасно, Ларош-Буассо, – сказал он с жаром, – я узнаю, наконец, ваше обыкновенное великодушие! Предсказываю вам: все ваши желания исполнятся. Поручите это дело старику, вы увидите, как он им воспользуется. Успех несомненен; отец мой даст вперед, ручаюсь вам за это... Я говорил вам, барон, что я буду иметь успех!.. И посмотрите, как я умею щадить ваше добро! Я нашел способ сберечь эти десять луидоров от жадности Фаржо.

Он подавал своей трепещущей рукой золотые монеты. Ларош-Буассо отвернулся.

– Не хочу я их! – возразил он с презрением. – Отдайте эти деньги Фаржо; они принадлежат ему.

– Вы не хотите? – спросил Легри. – Однако случаются дни, когда у вас не бывает много денег, барон, и вы были бы рады иметь их в случае надобности... Я сберегу их для вас... Не надо быть таким расточительным... Ах! Любезный Ларош-Буассо, – продолжал он, вдруг переменив тон и развалившись на кресле, – вы не можете понять, какие жертвы налагает дружба! Поверите ли, что я унился до того, что пил вместе с этим мужиком и обращался с ним как с товарищем; и это при Ришар и ее служанках, которые посмеивались мне в лицо!.. Можно ли унижаться таким образом!..

Реакция продолжалась; он залился слезами.

– Иногда, унижаясь, возвышаются, – сказал барон, – вы справитесь с Фаржо, когда будете владельцем Меркоарского замка.

Глава семнадцатая

Фронтенакское аббатство возвышалось, как мы сказали, недалеко от маленького городка Флорак, в одном из тех живописных, здоровых, выгодных местоположений, которые монахи умели выбирать для своих жилищ. Аббатство находилось в плодоносной долине, климат которой не имел негостеприимной суровости северных провинций. Фруктовые деревья, виноград, шелковичное дерево, известные только по имени в верхнем краю, росли около монастыря вместе с хлебными растениями, питающими человека, и с кормовыми травами, питающими скот. Фронтенакская долина принадлежала уже к той благословенной области, которая называется Южной Францией; это был уже юг с его голубым небом, ярким солнцем, теплым ветром. Конечно, длинные цепи гор, расстилавшиеся на горизонте как лазурные границы, посылали ей также по временам свои бурные тучи, свои опустошительные потоки, свои снежные вихри, но природа была так могущественна и плодоносна в этом благословенном уголке, что эти опустошения скоро заглаживались и каждый год всегда приносил свою часть изобилия и богатства.

Аббатство было основано, как мы это знаем, в древности, и многие из его братья играли важную роль в истории провинции. Бенедиктинцы этого монастыря были учеными и знаменитыми компиляторами, занимавшимися историческими и литературными трудами. Множество пыльных томов, еще и ныне лежащих на полках наших публичных библиотек, были сочинены в фронтенакских кельях.

Высота и пространство зданий показывали важность этого знаменитого аббатства. Тут встречалась архитектура всех эпох – от готической, XII и XIII столетий, до плоских поверхностей и прямых углов новейших времен. Там и сям разрушенные стены и камни, обожженные пожаром, напоминали о переворотах и несчастьях, испытанных этим аббатством, но совокупность построек, расстилавшихся на многих дворах, имела величественный вид; огромный парк со столетними деревьями предоставлял бенедиктинцам длинные аллеи, благоприятные для размышлений.

Вне этих обширных зданий существовал одинокий павильон с особенным садом и особенным входом; это была так сказать, мирская часть аббатства; ее называли Павильоном Гостей. Он отводился лицам, имевшим дела с монастырем, родственникам и друзьям бенедиктинцев, даже простым посетителям, и всех угощали там с пышным гостеприимством. Там жил также Леоне, которому близкое родство с всемогущим фронтенакским приором доставило подобную милость. Любимый воспитанник монастыря занимал в этом корпусе здания спальную и кабинет. Пока он был ребенком, за ним с материнской нежностью ходила старая гувернантка; впоследствии один из послушников был ему внимательным и преданным слугой. Воспитанием же Леоне занимался особенно дядя его приор, но и другие фронтенакские аббаты также принимали большое участие. Все лингвисты, математики, историки, теологи, находившиеся в монастыре, поставляли себе за удовольствие украшать ум этого возлюбленного питомца монастыря, и никогда молодой человек не имел столько замечательных учителей по различным отраслям человеческих знаний. Поэтому Леоне был чудом учености, а привычка видеть в павильоне многочисленных гостей, людей замечательных по большей части, нечувствительно приучила его к обычаям света, среди которого он должен был жить со временем.

Но с тех пор как Леоне воротился из Меркоара со своим дядей, вследствие происшествий, известных нам, все переменялось в спокойном павильоне. Обитатель этих мест, прежде домосед, вечно погруженный в науки, сделался шумным и рассеянным. Он выходил и возвращался во всякое время дня и ночи; он окружал себя чуждыми монастырю людьми, ездил верхом, и его охотничьи собаки возмущали иногда своим лаем монастырский двор. В кабинете математические инструменты покрывались ржавчиной, глобусы – пылью, книги, взятые из библиотеки аббатства, валялись на полу, между тем как на мебели лежали хлысты, шпоры и ружья. Словом, обитатель павильона вдруг перешел от трудолюбивой и созерцательной жизни к жизни деятельной и шумной, возвещающей возраст страстей.

Однако эта перемена, по-видимому, не удивила и не огорчила приора и других фронтенакских сановников; напротив, все снисходительно улыбалось развлечениям Леоне, а дядя его, с благосклонностью, походившей на слабость, позволял ему без

принуждения предаваться своим наклонностям. Несколько бенедиктинцев низшего звания роптали иногда против шумной жизни молодого человека. Племянник приора сохранял решительную независимость в своем поведении.

Таким образом, началась зима. В одно прекрасное ноябрьское утро Леоне уехал на охоту со своим егерем и слугой. Приор вздумал выйти к нему навстречу и, раскрыв служебник, медленными шагами шел по дороге, которая вела в ту часть края, где находился Леоне.

Хотя холод уже начался в окружающих горах, но счастливая Фронтенакская долина еще не слишком жестоко подвергалась ему. Трава еще была зелена и каштановые рощи не потеряли своих листьев. Притом теплое, хоть и бледное солнце радовало природу и заставляло петь птиц в кустах. Приор, окончив чтение служебника этого дня, сел на парапет деревянного моста, откуда виднелся обширный пейзаж; этот мост был границей его прогулок, и тут обыкновенно встречался он с племянником. На этот раз ожидание приора не было напрасно: скоро выстрел и отдаленный лай возвестили ему о возвращении охотника, потом сам Леоне вышел из кустарника с ружьем на плече, а за ним его егерь и собаки.

Пока племянник подходил к нему, приор машинально бросил взгляд в противоположную сторону и заметил предмет, на который тотчас обратил внимание. Это были закрытые носилки, запряженные двумя мулами; употреблять экипажи тогда было невозможно в горных областях!.. Кроме погонщика, который шел, четыре лакея верхом провожали носилки. Этот маленький караван спускался с одного из пригорков, возвышавшихся над долиной, и направлялся к аббатству. Приор задумался.

«Кто это может быть? – спрашивал он себя. – Мы не ждем никого в монастырь, разве кто-нибудь из бедных соседних дворян, очень ценящих наше вино и кушанья... Но нет, эти дворяне приехали бы верхом, значит, путешествует какая-нибудь дама или какое-нибудь духовное лицо. Даму в аббатстве не примут; стало быть, это... Но духовное лицо, сопровождаемое таким образом, должно быть очень высокого звания!»

Он снова принялся рассматривать путешественников.

«Ба! – продолжал он думать, – то, чего я опасаюсь, случиться не может, по крайней мере – так скоро. Слухи, дошедшие до меня, не

имеют ничего серьезного... Это – наверно какой-нибудь аббат из Сент-Эними приехал к нам в гости».

Его размышления были прерваны Леоне, который, опередив своих провожатых, бежал к дяде в сопровождении красивой ищейки, черной с красными пятнами.

Племянник приора как будто вырос и приобрел новую крепость за эти три месяца. Лицо его загорело от солнца и движения на воздухе. У него были мужественный вид и уверенная осанка, нисколько не напоминавшие его прежнюю робость. На нем был щегольской охотничий костюм из зеленого сукна с золотыми галунами, и Леоне походил более на молодого блестящего дворянина, любителя шумных удовольствий и светских радостей, чем на прилежного ученика, воспитанного под сенью монастыря, который еще недавно просил как милости позволения постричься в Фронтенакском аббатстве.

Однако Леоне не потерял уважения к своему дяде и благодетелю. Приблизившись к нему, он снял шляпу и хотел поцеловать руку приора; уже исполнив эту обязанность, он закричал радостным тоном:

– Приятное известие, дядюшка! Великолепная охота!.. Убиты лисица и два зайца более чем за шестьдесят шагов! Дени, мой егерь и мой учитель, в восхищении. Я же не могу хвастаться моими успехами, я их приписываю превосходному карабину, который вы мне подарили, а также и чудному инстинкту этой ищейки, которую вы нашли средство, я не знаю каким образом, взять из своры принца.

Он рассеянно ласкал свою прекрасную собаку, которая прыгала вокруг них, махая хвостом.

– Не скромничайте так, дитя мое, – ласково сказал приор, – этим успехом вы обязаны, прежде всего, вашему искусству... Но я очень рад, что ваша ищейка ведет себя хорошо, и для дополнения ваших охотничьих снарядов вы найдете в аббатстве собаку Лиана Годара, того мужественного бульдога, который один из всех здешних собак осмеливается нападать на жеводанского зверя.

– Возможно ли это, дядюшка? А я слышал, что барон Ларош-Буассо...

– Барон действительно понял, как вы, важность подобного помощника, потому что он составил план кампании точно такой, как ваш. Он велел предложить Жану Годару двадцать луидоров за его собаку, но я дал сорок, и Жан Годар прислал мне это сильное

животное, которого вы найдете привязанным к конюшне павильона... Я пришел к вам на встречу для того, чтобы сообщить об этом счастливом результате моих страданий.

Леоне был в восторге и горячо поблагодарил приора.

– Но когда так, любезный дядюшка, кто мешает мне теперь же преследовать зверя? Мое воспитание как стрелка и охотника окончилось, все приготовления завершены. Дени и Жервэ, мой второй егерь, одинаково мне преданы; они последуют за мной, куда бы я ни пошел; зачем вы не отпускаете меня? По последним известиям, зверь переселился в Мезенские горы, откуда никак нельзя его выгнать; без всякого сомнения, мы найдем его там, если Господь поможет нам...

– Леоне, дитя мое, – сказал бенедиктинец со вздохом, – зачем вы так торопитесь подвергаться опасностям подобного предприятия? Я боюсь возможной опасности... Притом я всегда надеюсь, что какое-нибудь новое происшествие избавит вас от необходимости прибегать к этой крайности.

– Э, дядюшка! Как переменить совершившиеся факты? Заклинаю вас, не удерживайте меня долее. Говорят, что барон де Ларош-Буассо совсем излечился от своей раны; он может воспользоваться моей медленностью и получить обещанную награду, а если это несчастье случится, я его не переживу!

– Не говорите этого, Леоне; вы знаете, в какое отчаяние приводит меня мысль о подобной возможности! И как подумаешь, что вы не один будете страдать!.. И она также, эта гордая молодая девушка, умрет от горя и стыда, если увидит себя в необходимости принять мужа, который будет недостоин ее... Неблагодарная и неблагоразумная! Она расстроила самые благоразумные планы своим сумасбродством. Напрасно после того, как она произнесла этот пагубный обет, предлагал я ей получить разрешение от Папы; несмотря на кротость и покорность, которые она показывает теперь, она не согласилась и отвечала мне со своей обыкновенной гордостью: «Графиня де Баржак ни в каком случае не может отказаться от своих слов».

– Может быть, дядюшка, она права, – сказал Леоне грустно, – никто более меня не сожалеет об этой роковой клятве, но не лучшее ли средство загладить эту клятву, сдержав ее?

Во время этого разговора приор и его племянник возвращались в аббатство. К ним подошли Дени и Жервэ. Один нес ружье, а другой дичь его господина, Дени был человек лет шестидесяти, с честным лицом, который, несмотря на возраст, сохранил железное здоровье и неутомимые ноги. Жервэ, который был гораздо моложе, по-видимому, был одарен простотой, но в тоже время чистосердечием и прямоотой горцев. Бенедиктинец остановился и улыбнулся им.

– Здравствуйте, мои добрые люди, – сказал он со своей обыкновенной благосклонностью, – я очень рад видеть вас и поблагодарить за ваши дружеские попечения, за вашу преданность этому милому юноше... Каков ученик вышел у вас, Дени? Неужели вы думаете, что он уже в состоянии сразиться с этим страшным жеводанским зверем?

– Наш молодой барин, – отвечал Дени с энтузиазмом, – был бы способен сразиться с чертом, если кожу черта можно пронзить пулей! Хотелось бы, чтоб ваше преподобие видели, как он убил эту лисицу вот сейчас. Я сам не могу опомниться от удивления; я никогда не видал подобной ловкости, такого верного, такого быстрого взгляда... Притом, как мосье Леоне действует охотничьим ножом! Он никогда не промахнется; не следует хвалить самого себя, но если сообразишь, что мосье Леоне брал уроки только у меня...

– Вы правы, Дени, – возразил приор с веселостью, – надо быть справедливым даже к самому себе... Ну, ступайте прежде нас в аббатство, снимите поскорее вашу ношу, потом ступайте от меня к отцу эконому и скажите ему, чтобы он дал вам, Дени, двадцать луидоров, а вам, Жервэ, десять... Продолжайте верно служить моему племяннику, вы будете вознаграждены за это.

Дени и Жервэ с восторгом хотели поблагодарить приора за его щедрость, но приор сделал им знак, что желает остаться с Леоне один. Поэтому они только поклонились и пошли к монастырю. Леоне продолжал робко:

– Я удивляюсь вашей щедрости, дядюшка, но боюсь иногда, чтобы она не была вам в тягость... Мои прихоти стоят вам огромных сумм.

– Это вы совеститесь, зачем я дал денег этим бедным людям? – улыбаясь спросил приор, – Не беспокойтесь, Леоне; вы можете достойно вознаграждать все оказываемые вам услуги... С этой целью я

сам положил сегодня утром на ваш стол сверток в сто луидоров, которые вы употребите как знаете.

– Я смущен вашей добротой, дядюшка, и не знаю, должен ли я...

– Принимайте без всяких угрызений совести, дитя мое; это ваше добро. До сих пор вы были так деликатны, Леоне, что не осведомлялись о вашем наследстве; но оно значительно, и когда я дам вам отчет – а это будет скоро, – вы увидите, что ваше состояние управлялось благоразумно. Располагайте же им по своей воле; вы научились у нас с детства воздержанию, благоразумию, умеренности в желаниях; я уверен, что вы будете уметь управиться с вашим богатством.

Леоне хотел отвечать, когда главный колокол в аббатстве зазвонил, как в дни религиозного торжества.

– Это что такое, дядюшка? – спросил Леоне, задрожав.

– Не знаю; в этот час нет никакой службы в церкви; должно быть, этот звон возвещает о приезде начальника или о немедленном собрании капитула, а может быть, и то и другое. А так как наш добрый аббат страдает в эту минуту припадком подагры и ревматизма, надо поспешить к нему на помощь... Итак, Леоне, прошу вас ускорить шаги.

– Охотно; но не угадываете ли вы причину...

– Я надеюсь еще, что дело идет о каком-нибудь парадном визите. Мендский епископ объезжает епархию уже несколько дней. Но, – продолжал Бонавантюр, заметив бенедиктинца, который приближался к ним, запыхавшись, – чего от нас хочет добрый отец Ансельм? Только одно необыкновенное обстоятельство могло заставить его бежать!

Действительно, толстый бенедиктинец, на обыкновенно веселом лице которого выражались в эту минуту волнение и беспокойство, скоро их догнал.

– Ах, любезный отец приор! – вскричал он. – Пожалуйста, поспешите... Никогда наше аббатство не находилось в подобном расстройстве. Все потеряли головы, вас ищут везде; одно ваше присутствие может нас успокоить.

– Что случилось? – спросил Бонавантюр, ускорив шаги. – Разве приехавший гость не мендский епископ?

– Ах, нет! Отец приор, это точно епископ, но не мендский... Его зовут монсеньер де Камбис, епископ аленский, и он выдает себя за посланного королем к аббату и капитулу фронтенакским.

– Посланник короля? – повторил Бонавантюр, побледнев. – Зачем мирской власти мешаться в дела нашей мирной общины?

– Вы это должны знать лучше моего, отец приор; но монсеньер де Камбис говорит со всеми нами строгим тоном, к которому мы не привыкли. Он говорит, что ему дали формальные приказания от короля и от епископа мендского, от которого мы зависим... Он отказался от закуски, которую мы поспешили предложить ему, приказал собрать капитул, не большой, составленный из всей фронтенакской братии, а малый капитул только из сановников аббатства. Ему повиновались, перед ним уже дрожат, и члены малого капитула собрались в комнате настоятеля. Но вас особенно удивит, отец приор, что монсеньер, прежде всего, осведомился о вас...

– Обо мне?

– Да, и узнав о вашем отсутствии, он, по-видимому, опасался, не совсем ли вы оставили монастырь. Это очень его раздражило; он утих, только когда узнал, что вы вышли на простую прогулку. Отец настоятель находится в смертельном беспокойстве; он поручил мне бежать к вам и умолять вас поскорее воротиться...

– Ну, вы исполнили ваше поручение, отец Ансельм, мы пришли... Да сохранит нас Господь от всякого зла!

Они вошли на первый двор аббатства. Этот двор, обыкновенно столь спокойный, представлял в эту минуту оживленный вид. Носилки, которые заметил Бонавантюр, стояли еще в углу; четыре лакея, провожавшие их, оставались неподвижны, держа за узду своих лошадей, как будто ждали приказаний. Послушники ходили около них, по-видимому, как будто перебирая четки, которые шумно ударялись о складки их ряс. Несколько бенедиктинцев, собравшись у входа в коридор, который вел в комнату настоятеля, разговаривали с жаром, между тем как большой колокол аббатства потрясал старые здания своим громким звоном.

Когда подошел приор, все замолчали и взоры всех обратились на него; но или монастырский устав запрещал расспрашивать начальника, или бенедиктинцы уже узнали какие-нибудь слухи, неприятные для

Бонавантюра, никто не осмелился с ним заговорить, а только все кланялись ему, когда он проходил мимо.

Приор, со своей стороны, сделался опять спокоен. Переступив через порог аббатства, он дружески сказал своему провожатому:

– Благодарю вас, любезный отец Ансельм, но так как вы не принадлежите еще к малому капитулу, мы должны расстаться здесь. Я пойду к нашему настоятелю, а вы, любезный отец Ансельм, молитесь Богу.

– О чем? – спросил отец Ансельм с дурно скрываемым любопытством.

– Чтобы Господь дал нам всем силы исполнить тягостную обязанность и избежать неприятной огласки.

Он удвоил шаги, оставив Ансельма, очень заинтересованного этим ответом.

Когда Бонавантюр переступал порог комнаты настоятеля, Леоне, не оставлявший его, тихо удержал его сзади и спросил у него с тревожным видом:

– Дядюшка, ради бога, скажите мне, что случилось? Точно вам угрожает несчастье!.. Не можете ли вы сообщить мне...

Бонавантюр спокойно улыбнулся.

– Это ничего, сын мой, – возразил он, – напрасно вы пугаетесь. Дело идет, без сомнения, о каком-нибудь новом порядке, который легко будет устроить с аленским епископом... Воротитесь в павильон, Леоне, и не думайте более обо всем этом... Послушайте, – прибавил он с видом размышления, – если уж вы так сильно желаете отправиться на охоту за жеводанским зверем, я не вижу, почему мне долее сопротивляться вашим желанием... Приготовляйтесь же теперь к отъезду. Когда кончится заседание капитула, я приду в вашу комнату, и мы сделаем последнее распоряжение.

– Как, дядюшка! – вскричал Леоне с радостью, – вы соглашаетесь, наконец...

– Я должен, если уж вы желаете этого с таким нетерпением... Я еще не решился на эту разлуку и хочу собрать некоторые сведения, прежде чем окончательно вас отпустить.

Однако приготовьтесь только для того, чтобы оставить аббатство сегодня же вечером... Итак, до свидания, любезный Леоне; меня ждут... Господь да сохранит вас!

Он опять улыбнулся, сделал прощальный знак рукой и вошел в аббатство.

Леоне имел предчувствие, что дядя его не был так спокоен, как хотел казаться. Но радость помешала ему приметить множество обстоятельств, которые во всякое другое время возбудили бы его подозрения, и он воротился в Павильон гостей.

Глава восемнадцатая

Комната фронтенакского настоятеля была украшена скульптурой и живописью, которые представляли сюжеты из жизни святых. Глубокие окна, украшенные цветными стеклами, бросали странные оттенки на пять или шесть старых бенедиктинцев с плешивыми головами, которые составляли совет аббатства.

Эти бенедиктинцы сидели в деревянных креслах около своего аббата, почтенного старика, голова которого никогда не была очень крепка, а постоянные недуги день от дня ослабляли его разум. Глава общины полулежал на большой бержерке, ноги его были закутаны одеялом. Однако из уважения к знаменитому гостю, приехавшему в Фронтенак так внезапно, он поспешно надел на себя рясу бенедиктинцев, заменил золотой митрой свой обыкновенный головной убор, гораздо менее величественный, и приказал, чтобы к ручке его кресла привязали его настоятельский посох. Окруженный знаками своего духовного, звания, он усиливался принять холодный и серьезный вид, который не мог совершенно скрыть его внутренней тоски и физических страданий.

Напротив него, в кресле выше его кресла, сидел епископ, приехавший с королевским поручением в Фронтенакское аббатство. Тонкость стана и слабая наружность епископа де Камбиса составляли контраст с грозным могуществом, которым, как говорили, он был уполномочен. Надо было подложить бархатную подушку под его ноги, которые без того не достали бы до пола. Его худое костлявое лицо, по-видимому, было одарено необыкновенной подвижностью; взгляд его был жив и пронизателен, голос пронзителен и сух; говорил он легко и свободно. На нем была фиолетовая сутана, а голова с редкими волосами была покрыта простой фиолетовой скуфьей. Несмотря на его щедушную наружность, в нем было что-то гордое, невольно внушавшее почтение. На дубовом столе, стоявшем у него под рукой, лежали бумаги и пергаменты, на многих из них были печати, восковые и свинцовые.

Когда вошел приор, епископ говорил с капитулом задыхающимся голосом, но чрезвычайно пылко. Все слушали его в скромном

молчании, потупив головы, спрятав руки в широкие рукава своих платьев; все это собрание можно было принять за статуи. Однако при виде Бонавантюра, мудрости и силы аббатства, статуи оживились; все выпрямились и как будто свободнее вздохнули; молния надежды осветила их суровые лица. В особенности настоятель как будто был облегчен от огромной тяжести; он поднял руки к небу и с живостью сказал епископу:

– Извините; вот наш достойный отец приор; он может лучше нас отвечать на все вопросы вашего преосвященства. Ах! – прибавил настоятель, обращаясь к Бонавантюру. – В каком затруднении оставили вы меня? Да поможет мне Господь! Силы оставляют меня!

Он отер носовым платком свой лоб, орошенный холодным потом.

Аленский епископ замолчал и с жадным любопытством рассматривал фронтенакского приора. Тот нисколько не взволновался, когда увидел этот любопытный взгляд, спокойно взял святой воды из сосуда, стоявшего у дверей, перекрестился, низко поклонился аббату, потом, смиренно преклонив колена на подушки у ног епископа, сказал:

– Удостойте меня вашим пастырским благословением.

Это был церемониал, обычный в ту эпоху. Однако епископ с живостью отодвинулся.

– Позвольте, отец приор, – отвечал он сухо, – мы увидим, должен ли я... Встаньте и садитесь... Вы долго заставили нас ждать.

Бонавантюр приподнялся с колен, снова поклонился, потом занял пустой стул возле настоятеля. Наступила минута грозного безмолвия.

– Отец Бонавантюр, приор Фронтенакского аббатства, – начал аленский епископ, указывая на документы, разбросанные на столе, – я уже сообщил капитулу полномочия, в силу которого должен исследовать некоторые происшествия, уже давнишние, относящиеся к наследству покойного графа де Варина. Эти полномочия облачают меня безграничной властью для разбора всех обстоятельств... Не угодно ли вам взглянуть на эти документы?

Приор не оставил своего места и отвечал скромным голосом, что он нисколько не думает оспаривать власть монсеньера; со своей стороны, он без ропота покорится всем решениям его преосвященства. Этот ответ несколько смягчил прелата.

– Вам особенно, отец приор, – сказал он, – следует строго соблюдать в этом деле все формы правосудия. Я не должен скрывать от

вас, что вы обвинены самым серьезным образом, компрометирующим не только ваше звание приора, но и вашу репутацию как человека. Меня уверяют, что вы невиновны в ужасном преступлении, в котором вас обвиняют, и что одно ваше слово может оправдать вас. Согласитесь произнести это слово! Я облегчу вам, насколько будет зависеть от меня, способы доказать вашу невиновность. Но если вам это не удастся, ожидайте найти во мне неумолимого судью!

Бонавантюр снова поклонился. Добрый старый настоятель, который несколько приободрился, осмелился сделать попытку в пользу своего советника.

– Монсеньёр, – сказал он кротко, – повторяю вам, наш возлюбленный приор служит нам всем образцом мужества и благочестия. Все здесь присутствующее могут поручиться в его невиновности.

– Это правда, это истинная правда! – сказали другие бенедиктинцы с уважением.

– Перестаньте, – сухо возразил епископ, – вы слишком увлекаетесь духом взаимной ответственности, и, может быть, мне придется сделать серьезные упреки всем вам... Если один совершил преступление, разве другие им не воспользовались?.. Но пора приняться за дело. Выслушайте же меня и узнайте, зачем я послан сюда с полномочиями наградить и наказать.

Он подробно изложил цель своего приезда. Обстоятельства, о которых шла речь, уже известны слушателю, и мы скажем только в нескольких словах, как образовалась гроза, вдруг разразившаяся над Фронтенакским аббатством и над его приором.

Мы знаем, каким образом документ, который Фаржо хотел сначала продать отцу Бонавантюру, попал в руки Ларош-Буассо. Завладев этой бумагой, барон сначала хотел посредством ее заставить бенедиктинцев возвратить ему поместье Варина, которого он был прямым наследником после смерти последнего члена этой фамилии. По совету Легри-отца он подал просьбу королю на аббатство и его приора. Эта просьба вместе с документами была отправлена в Версаль немедленно. Ларош-Буассо, несмотря на презрение, какое он заслужил в провинции, сохранил друзей при дворе. Его титул барона Жеводанского, начальника волчьей охоты, придавал ему авторитет у некоторых влиятельных особ, которые горячо заступились за него. Его

просьба была подана королю и о ней особенно просили канцлера Франции.

Обстоятельства были благоприятны для просьбы такого рода. Лжемудрованье делало постоянные успехи; Вольтер был могуществом, сочинения Жан-Жака Руссо колебали уже Старый Свет. Герцог де Шуазель, тогдашний министр, очень дорожил общественным мнением, которому он недавно пожертвовал ненавистным орденом иезуитов. Обвинения против богатого фронтенакского аббатства, по-видимому, заслуживали самого серьезного внимания. Французский министр хотел придать себе беспристрастный вид, выказывая одинаковую строгость и к духовенству и к его врагам. Таинственная смерть сына графа де Варина и то обстоятельство, что он отдал свое огромное состояние аббатству, были способны возбудить общественное негодование; стало быть, было очень важно совершить правосудие как можно скорее, избегая огласки, которая могла иметь пагубные последствия. С этой целью министр решился тайно послать во Фронтенакское аббатство комиссара с полномочиями рассмотреть это неприятное дело и кончить его без шума. Для этого щекотливого поручения выбрали де Камбиса, человека запальчивого, неукротимого, но испытанного бескорыстия. Епископ по своему усердию и неутомимой деятельности оказался достоин этого высокого поручения. Он уехал из Парижа прежде, чем в Фронтенакском аббатстве могли это узнать; он ехал день и ночь и остановился только для того, чтобы показать свои верительные грамоты епископу мендскому, и неожиданно явился в аббатство с властью тем более страшной, что она была неограниченной.

Прелат, взяв в руки привезенные им бумаги, между которыми находилось показание жены Фаржо и просьба барона, долго исчислял обвинения против фронтенакских бенедиктинцев. Он напомнил прежний процесс Ларош-Буассо, отца и сына, близких родственников и законных наследников Варина, и утверждал, что решение судей о подлинности завещания покойного графа было бы совсем другое, если бы уже тогда были известны странные открытия, обнаружившиеся после.

– Но, – продолжал прелат, – прежде всего я обращаю ваше внимание не на дело о наследстве Варина. Если аббатство, из желания прибыли и земных благ, завлекло больного дворянина, ум которого

ослабел, и нашло предлог в ереси, почти признанной, баронов Ларош-Буассо, для того чтобы присвоить себе наследство, на которое они имели право, это, конечно, проступки действительные, но которые загладить можно; я уполномочен потребовать возвращения наследства нынешнему барону Ларош-Буассо и непременно это сделаю, потому что правосудие должно простираться и на еретиков точно также как на католиков... Но вот что раздирает сердце, вот что возбуждает и ужас и негодование: как бенедиктинец этого аббатства может быть подозреваем в сообщничестве в убийстве бедного ребенка!.. Это страшное обвинение должно опередить все другие, и на него-то я требую, чтобы вы отвечали прежде всего. Говорите без опасения: все, что будет сказано здесь, не обнаружится вне стен этого аббатства; тайна покроет ваше признание, но истина должна быть открыта.

Прелат остановился, утомленный этой длинной речью. К его великому удивлению присутствующие обнаружили более печали, чем ужаса. Даже настоятель, несмотря свои страдания, не выказал уныния и сказал, выпрямляясь с благородством:

– Именем Бога, Пречистой Девы и всех святых я протестую против дурных намерений и преступлений, в которых обвиняют Фронтенакское аббатство и особенно нашего любезного и уважаемого отца приора... Эти обвинения ложны, и вы сами, почтенный прелат, будете сожалеть когда-нибудь, что решились повторить их.

Прелат нахмурил брови.

– Очень хорошо, – возразил он, – но я не могу долее основываться на простом отрицании. Я привожу факты, и фактами мне надо отвечать... Приор фронтенакский, – обратился он к Бонавантюру, – на вас лежит самая тяжелая часть в ответственности, тяготеющей над аббатством. Что вы можете сказать в ваше оправдание?

Бонавантюр встал со скромным видом.

– Монсеньер, – отвечал он среди глубокой тишины, – прежде чем возводить обвинение против такого старинного и знаменитого аббатства, из которого вышло столько знаменитых защитников католической религии, в котором еще и теперь заключается столько людей, замечательных своей ученостью, добродетелью и своим благочестием, может быть, было бы справедливо поверить обвинения наших поносителей. А кто же, судя по документам, которые вы показали нам, осмеливается осыпать нас такими гнусными клеветами?

Я могу, не переступая за границы уверенности, характеризировать их таким образом: кормилица молодого виконта, женщина слабая и боязливая, может быть, искавшая в виновности другого извинения своей собственной небрежности; потом лесничий Фаржо, ее муж, пьяница, который хотел мне самому продать за деньги основной документ этого обвинения, но я с презрением отказался от его предложения; потом, наконец, барон де Ларош-Буассо, еретик развратного поведения, который, истратив свои деньги на разгульную жизнь, захотел поправить свое расстроенное состояние наследством дяди. А Жанно, этот бывший работник, показание которого могло бы иметь такую важность в том, что касается до меня, то он уже несколько лет страдает помешательством, называемым ликантропией, и его показание не может заслуживать никакого вероятия.

– Очень хорошо, – сказал прелат, качая головой, – я понимаю вашу защитительную систему. Вы хотите поставить высокую репутацию мудрости и благочестия, которой вы пользуетесь, против бесславия ваших противников, но и люди, недостойные уважения сами по себе, могут сказать правду, и повторяю еще раз, простых словесных опровержений недостаточно для опровержения материальных доказательств. Что касается помешанного Жанно, то бывший лесничий меркоарский утверждает под поручительством барона де Ларош-Буассо, что этот человек, несмотря на свою настоящую болезнь, имеет минуты здравого рассудка. Барон и Фаржо отыскивают этого несчастного и уверяют, что через несколько дней...

– Я могу избавить их от утомительных и, может быть, опасных поисков, – спокойно перебил приор. – Вы меня не поняли, монсеньер, я вовсе не намерен опровергать некоторые показания, и, чтобы доказать вам это, я признаюсь, что Жанно сказал правду. Всем здесь присутствующим известно, что в тот вечер, когда исчез маленький виконт, я находился в окрестностях замка Варина с... с неизвестным человеком.

Прелат сделал быстрое движение.

– Вы признаетесь? – вскричал он. – Как! Недостойный и святотатственный бенедиктинец, вы осмеливаетесь признаваться?

– Позвольте, монсеньер, мы еще не понимаем друг друга. Да, я находился в Варина во время катастрофы, но я всей силой моей

невинности опровергаю преступление, в котором меня упрекают, если действительно преступление было.

– Как же вы объясняете?..

– Я не объясняю... Торжественная клятва, произнесенная мной и всеми здесь присутствующими, запрещает нам говорить, что я делал тогда в Варина, и эта клятва принуждает нас еще хранить самое строгое молчание на этот счет около двух месяцев.

Прелат, по-видимому, был поражен удивлением.

– Клятва... данная всем капитулом? – возразил он с недоверчивой улыбкой. – Какое странное извинение! И вы мне позволите найти, что его... допустить трудно.

– Однако, – сказал настоятель, – наш достойный приор никогда не лгал.

– Во всяком случае, я могу снять с вас вашу клятву в силу моего уполномочия.

– С вашего позволения, монсеньер, только один Папа может уничтожить клятву, а с вами нет грамоты его святейшества.

– Я напишу в Рим, чтобы мне прислали эту грамоту, и тогда вы не будете иметь никакого предлога для того, чтобы молчать.

– Это действительно так; но Рим отсюда далеко, и булла его святейшества не может быть получена во Фронтенаке прежде двух месяцев, а через два месяца не будет никаких препятствий для открытия нашей тайны.

– Очень хорошо, я буду спокойно ждать два месяца вашего оправдания. Но есть другой способ заставить вас говорить... Я такое же духовное лицо, как и вы... итак, я требую, чтобы вы открыли мне под печатью исповеди известные вам события.

Это предложение произвело некоторое впечатление на членов капитула. Они обратили глаза на приора, который один не выказал нерешимости и сказал твердым голосом:

– Это было предвидено, преподобные отцы; вспомните, какие условия наложены на нас... Я отказываюсь изменить, даже под печатью исповеди, тайне, которая была вверена мне как честному человеку, как служителю алтаря.

– И мы также, и мы также! – повторили другие бенедиктинцы.

Это упрямое сопротивление его воле, это решительное доверие к приору окончательно рассердили прелата. Он встал и, несмотря на его

маленький рост, на его лице было такое выражение презрения, негодования, угрозы, что все присутствующие дрожали.

– Нет более сомнений, – продолжал прелат сдержанным тоном, – вы все сговорились уклониться от приказаний духовных и земных властей. Это открытый мятеж против всего уважаемого на земле и на небесах, это хитрость, чтобы избавиться от заслуженного наказания! Если я вам дам отсрочку, которую вы требуете, кто знает, какие козни изобретете вы еще, чтобы обмануть мое правосудие? Вы подчиняетесь дурному влиянию, влиянию смелого и хитрого бенедиктинца, распоряжающегося здесь самовластно, но я сумею убавить его гордость!.. Одумайтесь, еще есть время... Хотите отвечать на мои вопросы? Хотите, наконец, избавиться от искушения этого духа зла?

Бенедиктинцы смутились и дрожали, но не говорили ничего.

– Монсеньер, – сказал бедный старик-настоятель с горечью, – то, что вы принимаете за мятеж, есть только сознание великой обязанности. Еще раз повторяю, в тот день, когда истина станет вам известна, вы будете горько сожалеть о вашей строгости и вашей опрометчивости!

– Довольно, я в этом отдам отчет высшему судии... И так как все аббатство виновато, то все оно и разделит наказание... Я поселяюсь здесь до тех пор, когда успею укротить ваше безумное упрямство; я займу одну из ваших келий, и мне будет достаточно порции кушанья самого последнего из ваших послушников. С этой минуты я вступаю в управление этим аббатством и в силу полученного мной уполномочия воспрещаю здесь все: здесь не будет более ни настоятеля, ни приора, ни сановников какого бы то ни было рода, а только недостойные бенедиктинцы, возмутившиеся против короля. Колокола аббатства не будут уже более звонить, службы не будет в вашем аббатстве. Каждый день должен быть пост; обед ваш пусть состоит только из хлеба и овощей, сваренных в воде. Капитул не будет более собираться, никто не переступит за порог аббатства без особенного позволения. Три раза в день монахи и послушники будут читать псалмы покаяния... Это продолжится до тех пор, пока мне не ответят на мои вопросы о наследстве Варина и об убийстве ребенка; тот, кто отступит от предписания, будет отлучен от церкви, кто бы он ни был.

Слезы и рыдания раздались со всех сторон. Бонавантюр вне себя бросился к ногам прелата.

– О, монсеньер, монсеньер! – вскричал он. – Заклинаю вас, не поступайте строго с домом, где законы Божии и человеческие никогда не переставали быть уважаемы! Если кто виноват, то я один, один, взявший на себя земные интересы аббатства...

– Вы опять сознаетесь?.. Ну, имейте мужество совершенно сознаться в вашем беззаконии; мое правосудие пощадит ваших братьев, более заблуждающихся, чем виновных, без сомнения, и разразится только над вами.

– Но повиноваться было бы святотатством... Дело идет об интересах дорогих и священных, которые для меня драгоценнее жизни! Я клянусь вам, монсеньер, клянусь вам моим вечным спасением...

– Осмелитесь ли вы говорить о вашем спасении, вероломный левит? Если бы я слушался только моего законного гнева, я сейчас разжаловал бы вас и предал мирскому суду... Но если опасение огласки не допускает меня прибегать к этой крайности, не думайте, чтобы я назначал вам менее жестокое наказание; в тот день, когда ваше преступление будет окончательно доказано, вас бросят в тюрьму, где вы никогда не увидите божьего света... А пока удалитесь в вашу келью и оставайтесь там на хлебе и на воде и не имейте сношения ни с кем, а ключи от вашей кельи чтобы отданы были мне. Тот, кто заговорит с вами без моего особенного позволения, будет отлучен от церкви.

Этот страшный приговор был принят с рыданиями. Но Бонавантюр, так глубоко почувствовавший горечь и стыд, когда дело шло о наказании для всей общины, выказал большую безропотность, когда дело коснулось одного его.

– Монсеньер, – сказал он, скрестив руки на груди, – мы оба исполняем наш долг... Бог да простит вам и да просветит вас! Я покоряюсь без ропота наказанию, которое вам было угодно наложить на меня.

– И мы также, монсеньер, – повторили члены капитула со смирением.

Прелат, по-видимому, почувствовал, наконец, сомнение в виновности этих бедных бенедиктинцев. Он был судья строгий, но набожность его была искренна и глубока. Он сделал два или три шага по комнате с задумчивым видом, потом молча стал на колени перед

распятием из слоновой кости. Помолившись несколько минут, он встал и сказал бенедиктинцам:

– Извините меня; я согрешил от избытка усердия и человеческой самонадеянности; до сих пор я занимался этим делом не с тем терпением и не с той уверенностью, которых вы должны ожидать от судьбы... Я воздержусь от исполнения моих угроз на один час, считая с этой минуты. В этот промежуток, может быть, Господь внушит вам раскаяние и доверие; но если сердца ваши не смягчатся, обвиняйте сами себя в последствиях вашего упорства. Рассудите же со спокойствием; я подожду в смежной келье результата ваших размышлений и по истечении часа приду узнать ваш ответ... Да будет с вами мир!

Он вышел размеренными шагами, оставив бенедиктинцев на свободе сообщать друг другу свои опасения и планы.

После его ухода стенания продолжались, но не обнаружилось ни малейшего сомнения, ни малейшей нерешимости относительно того, как следует поступать. Члены капитула единогласно соглашались относительно того, что лучше подвергнуться унижениям и строгости, чем обнаружить тайну, вверенную их совести, и Бонавантюр своими твердыми словами поддержал в них эту решимость.

– Любезные отцы, – сказал он взволнованным голосом, – нам легко было бы опровергнуть клеветы, пущенные против нас, но мы не можем этого сделать, не изменив нашей совести. Покоримся же безропотно испытанию, посланному нам небом, мы выйдем из него и тверже и чище! Не будем, однако, осуждать руку, поражающую нас; и самые верные служители Бога подвержены заблуждению! В тот день – а этот день близок – когда обнаружится наша невиновность, мы возвратим нашу силу и наше достоинство.

Все бенедиктинцы обнялись, потом Бонавантюр хотел уйти.

– Ах, отец приор! – с беспокойством сказал старый аббат. – Неужели вы опять оставите нас? Монсеньер скоро вернется, а я очень слаб и не могу вынести его гнева!

– Я буду в отсутствии только несколько минут, – отвечал Бонавантюр, – я хочу воспользоваться этим кратким промежутком, чтобы исполнить один план, замедление которого может встретить после большие затруднения.

Он сказал шепотом настоятелю, о чем идет дело.

– Хорошо, хорошо, любезный приор! Вы всегда правы, – отвечал аббат, – ступайте же и возвращайтесь скорее поддержать нас вашим благоразумием и мужеством.

Приор поклонился и вышел.

Он поспешно прошел по безмолвным коридорам аббатства, по двору и направился к павильону. Все было спокойно на пути его; аббатство имело свой обыкновенный вид, никакие признаки еще не обнаруживали исполнения приговора, произнесенного епископом против несчастного аббатства. Двери были открыты, все могли свободно входить и выходить. Бонавантюр заметил только, что бенедиктинцы, проходившие мимо него, имели печальный и унылый вид, как будто предчувствовали готовящуюся жестокую перемену.

Леоне в своей маленькой комнате укладывал вещи.

При виде приора он подбежал к нему и сказал с беспокойством:

– Ну, дядюшка, вы пришли отменить приказание?

– Напротив, дитя мое, – отвечал Бонавантюр, – я не хочу более сопротивляться вашим желаниям. Как вы сказали сами, время проходит, и вы можете пропустить благоприятный случай для вашего предприятия. Итак, я с вами прощаюсь... Вы можете ехать сию же минуту.

– Сию минуту, дядюшка! – с удивлением вскричал Леоне.

– Почему же нет? Вы переночуете сегодня в Манде с вашими людьми и завтра утром рано отправитесь в Мезенские горы. Таким образом, выиграете целый день, а в подобном деле это может значить все... Друзья мои, – обратился приор к Дени и Жервэ, которые забирали чемоданы, – положите немедленно всю поклажу на лошадей и вьючного лошака, которые принадлежат моему племяннику... Ступайте, и чтобы все было готово через десять минут!

Егерь и Жервэ повиновались. Когда они ушли, Леоне спросил с живостью:

– Добрый дядюшка, что случилось? Ваша внезапная решимость, поспешность, с какой вы заставляете меня ехать, когда еще сегодня утром вам не хотелось отпустить меня, заставляют меня думать... притом вы бледны... на ваших щеках видны следы слез... что такое с вами?

– Вы, без сомнения, не ожидали, дитя мое, чтобы наша разлука могла совершиться без сильных огорчений с моей стороны. Но оставим это, любезный Леоне; послушайте моих советов, долго не придется вам принимать их от меня.

Он в нескольких словах дал своему племяннику благоразумные наставления, которым молодой человек обещал следовать. Потом приор продолжал с волнением:

– А теперь, сын мой, я дам вам еще один совет, гораздо более важный, чем вы можете думать... Я много раз старался предохранить вас от клеветы, которую могущественные враги распространяют против Фронтенакского аббатства, против меня самого. Заклинаю вас, никогда не слушайте этой отвратительной лжи. Если целый свет поднимется против нас, позвольте мне надеяться, что вы сохраните к нам чувство уважения и признательности.

– Можете ли вы сомневаться в этом, дядюшка? – горячо перебил Леоне. – Если кто-нибудь осмелится при мне...

– Не старайтесь опровергать эти гнусные клеветы, дитя мое, они скоро падут сами собой. Мне будет достаточно знать, что вы им не верите. Очень может быть, что вы встретитесь с бароном Ларош-Буассо; я требую от моего родственника, от моего возлюбленного воспитанника торжественного слова, что он не затеет ссоры с бароном ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом... Можете вы дать мне это слово?

– Я не вижу, дядюшка, почему мне щадить этого недостойного дворянина, который так оскорбил графиню де Баржак и вас...

– Графиня де Баржак отомстила за себя, а я христианин и умею прощать... Я имею важные причины, дитя мое, просить вас дать мне это слово... Любезный Леоне, неужели вы откажете мне?

Леоне дал требуемое обещание, но очень неохотно. Тогда дядя и племянник дружески обнялись со слезами на глазах.

– Пора! – мужественно сказал бенедиктинец. – Я передам ваше прощание тем из нашей братии, с которыми вы были особенно дружны... Они извинят этот неожиданный отъезд... Нам остается только несколько минут.

Говоря таким образом, он увлек своего племянника ко двору.

– Как, дядюшка, – спрашивал Леоне, – почему же мой отъезд из аббатства, которое служило мне домашним кровом, должен походить

на побег?

– Я после объясню вам это... Но меня ждут... Пойдемте, пойдемте!

У дверей аббатства они встретили Дени и Жервэ, которые поспешили приготовить все. Лошади были уже оседланы, на лошака навьючена поклажа, а егерь держал на своре ищейку и бульдога, которые ворчали, зачем они оказались так близко друг от друга.

Бонавантюр горячо поручил своего племянника обоим слугам, обещав им великолепную награду, если Леоне воротится здоров и невредим. Эти добрые люди возобновили свое обещание защищать своего молодого господина до самой смерти, потом они отправились вперед, потому что Леоне, у которого была прекрасная лошадь, должен был скоро их догнать.

Оставшись одни, дядя и племянник опять обнялись, и Леоне сел на седло.

– Да благословит вас Бог, дитя мое! – сказал приор. – Да защитит Он вас против опасностей и пошлет успех в вашем предприятии... а в особенности позволит Он вам скорее возвратиться к нашим друзьям!

Путешественник медленно удалился, несколько раз оборачивая голову, а бенедиктинец весь в слезах воротился в аббатство, прошептав:

– Да совершится моя судьба! Вот, по крайней мере, я избавился от сильного огорчения... Мне было бы слишком тяжело иметь этого благородного юношу свидетелем моего унижения, притом он все компрометировал бы каким-нибудь неосторожным поступком... Ах, он никогда не узнает, как дорого мне стоило его воспитание!

Он поспешил в комнату настоятеля, куда вошел только за несколько минут до часа, назначенного епископом.

Глава девятнадцатая

На некотором расстоянии от города Ленгонь, расположенного на самой высокой горе, начинается цепь гор, соединяющихся с Альпийскими и Севенскими; эту цепь гор называют Мезенк.

Как и другие цепи Велэ и Виварэ, она состоит из ряда вулканов, потухших уже тысячи лет. Невозможно найти местность, более усеянную природными препятствиями. Повсюду бесплодные пики, острые края, застывшая лава, принявшая самые странные формы; повсюду пропасти, шумные каскады, озера, образовавшиеся в прежних вулканах. Кроме нескольких долин, эта местность обнажена и бесплодна; ее богатство состоит в пастбищах, питающих многочисленные стада, и в каштановых деревьях, плоды которых составляют почти единственный ресурс жителей; поэтому мезенкские горцы чрезвычайно бедны; нищета, одиночество сделали их свирепыми, задорливыми, нелюдимыми. Даже до сих пор они завистливы, мстительны, всегда готовы схватиться за нож при малейшем оскорблении – словом, можно сказать, что их неукротимый дух согласуется с грозной и грубой природой их родного края.

В одной из самых отдаленных долин этого кантона находилась ферма, жители которой, вероятно, исключительно занимались разведением скота, потому что вокруг неприметно было обрабатывания земли. В этом-то бедном и печальном жилище, окруженном со всех сторон сосновым лесом и базальтовыми массаами, мы скоро найдем важных действующих лиц нашего рассказа.

Вечером, на третий день после отъезда Леоне из Фронтенака, мызник с семейством сидели на скамейке у ворот дома за ужином, который состоял из каштанов с молоком. Отец, в одежде из сукна, сотканного в этом краю, в широкой шляпе и в сабо, был человек лет пятидесяти, с угрюмым лицом, с холодным обращением, с мрачным видом. Семейство его состояло из жены, сильной крестьянки, корсаж которой, переплетенный шнурками спереди, и чепчик с висячими барбами говорили об опрятности, дочери, глупой девочки лет двенадцати, и двух сыновей, долговязых парней восемнадцати и

двадцати лет, одетых почти как отец и уже таких угрюмых, как он. Все они не произносили ни слова, и слышался только стук ложек.

В другое время года можно было бы подумать, что эти люди вышли за порог своего дома для того, чтобы подышать свежим воздухом, прежде чем лягут спать; но холод был очень силен, и резкий ветер дул с гор. Легкий слой снега покрывал уже землю и не позволял вести на пастбище скот, который остался в хлевах. Стало быть, у горцев была другая причина, чтобы не сидеть у огня, разведенного в доме, и ужинать на воздухе, несмотря на холод.

В самом деле, на пригорке прямо против дома четыре путешественника ехали верхом по тропинке, неправильно проложенной стадами. Эта тропинка вела только к ферме, стало быть, путешественники ехали туда, а так как это семейство жило в совершенном уединении, то подобное происшествие должно было возбудить их любопытство.

Из четырех особ, о которых мы говорили, двое ехали впереди и казались господами, между тем как двое других, очевидно, были низшего звания. Но все были одеты по городской моде, хорошо вооружены ружьями и охотничьими ножами; около них бежали несколько огромных собак, пестрая шерсть которых резко отделялась издали от снега.

Зрелище было чрезвычайно интересное для этих грубых людей, которые с незапамятных времен не видели столько посетителей в своей пустыне.

Они ждали недолго. Всадник, казавшийся начальником группы, опередил своих спутников и один подъехал к ферме. Горцы все стояли неподвижно на пороге своего дома.

– Друзья мои, – сказал всадник на жеводанском наречии, – не это ли мыза Красный Холм, в которой живет Гильом Фереоль, прозванный Правдивый Меч?

Отец семейства отвечал холодно:

– Это Красный Холм, я Гильом Фереоль... а что касается до прозвания Правдивый Меч, которое дали моему деду, я считаю себя недостойным носить его.

Путешественник не обратил внимания на эти последние слова.

– Ну, друг Фереоль, – продолжал он, – дайте мне и, моим людям гостеприимство на эту ночь. Я знаком с вашим господином мосье де

Ланжаком, и притом я щедро заплачу за все ваши хлопоты.

– У меня нет господина, – отвечал горец со свирепой гордостью, – дверь моя открыта для всякого, богача или бедняка... Войдите, у моего очага есть место для вас, ваши лошади найдут сено в моей конюшне. Я не могу принять вас прилично вашему званию, потому что я беден, но то немногое, что имею, принадлежит гостю, посланному мне Господом.

– Очень хорошо, друг, – сказал путешественник, – мы охотники и не будем прихотливы. Притом мы привезли с собой провизию и в этом отношении не будем вам в тягость.

Барон Ларош-Буассо, которого слушатели, без сомнения, узнали, сошел с лошади и сделал знак своим спутникам поспешить. Они, наконец, подъехали; это были Легри, Фаржо и егерь Лабранш, все голодные и очень усталые от продолжительного путешествия по горам.

Семейство Фереоль не рассыпалось в изъявлениях учтивости, но по знаку отца все начали принимать гостей. Лошадей отвели в конюшню, где задали им корм, собак, которые уже начали драться с собаками фермы, заперли, кроме любимой ищейки, в свиной хлев, где суп, грубый, но в полном количестве, вознаградил их за плен. Приезжих же гостей Фереоль ввел в дом; в очаге был разведен огонь, и пока путешественники грелись, мать и дочь деятельно занялись приготовлениями к ужину.

Эти приготовления были скромны: ужин состоял из свиного сала, сыра, каштанов и воды. К счастью, Ларош-Буассо, и в особенности Легри, взяли с собой холодную говядину и разную другую провизию, которая и была разложена на столе. Скоро путешественники, господа и слуги, братски сели за ужин, приправленный усталостью и аппетитом.

Между тем настала ночь; небольшая железная лампа прибавляла свой свет к свету очага. Дверь была заперта, и ветер свистел около дома. Пока путешественники ужинали, семья Фереоля окончила свои работы на ферме, и все уселись позади гостей. Их пригласили без церемонии разделить ужин, они отказались с серьезным видом; один отец взял стакан вина в знак гостеприимства, но только омочил губы и поставил его на стол.

Это странное обращение несколько раз возбуждало веселость людей, но Ларош-Буассо строгим взглядом удерживал эпиграмму или

смех, которые могли расположить к неприятности хозяев, без сомнения, не весьма терпеливых.

По окончании ужина барон захотел покороче познакомиться с обитателями фермы.

– Ну, мэтр Фереоль, – сказал он фамильярным и дружелюбным тоном, – вы здесь только в двух лье от леса Со, где в последний раз показался страшный жеводанский зверь. Можете вы мне сказать, убежал ли он оттуда?

– Я этого не знаю.

– Говорят, что он ранен, – продолжал Ларош-Буассо, – и это был бы благоприятный случай, потому что вы, верно, угадали, приятель, что мы приехали в Мезенк охотиться за жеводанским зверем.

Что-то похожее на улыбку промелькнуло на губах Фереоля.

– Мне точно рассказывали, – отвечал он, – что его ранил лесничий Ланжака; но ранен зверь или нет, а вам лучше, господа, отказаться от вашего предприятия.

– Как, мой милый, – спросил Легри насмешливым тоном, – разве вы из тех, которые считают этого зверя неуязвимым?

– Я не считаю его неуязвимым, сударь, – возразил Фереоль, одушевляясь, – потому что собственными глазами видел следы его крови на снегу; многие стрелки видели, как он падал под их выстрелами, и думали, что убили его, однако дня через три он являлся сильнее и ужаснее прежнего. Раны его закрывались, к нему возвращались силы и свирепость... Чего еще нужно? – продолжал он со свирепой пылкостью. – Не выказывается ли здесь перст Божий? Не очевидно ли для глаз смертных, что этот страшный зверь был послан сюда в наказание за наши грехи? Говорю вам, не пулями и ружьями, не охотничьими ножами и шпагами убьете вы этого посланца божественного мщения, а постом и молитвой... Воротитесь к Богу, нечестивые люди, и зверь исчезнет в бездне, из которой вышел.

Члены семьи приняли почтительным наклоном головы это библейское поучение Фереоля. Легри, на минуту оторопевший, хотел было расхохотаться, когда Ларош-Буассо движением руки удержал его вовремя.

– Мэтр Фереоль, – продолжал барон, – ваши речи подтверждают подозрение, которое внушил мне вид изображения Святого Духа, которое ваша жена и ваша дочь носят на шее; вы и ваше семейство,

наверно, принадлежите к протестантской религии? Хозяин гордо выпрямился.

– Какое вам дело? – сказал он. – Когда я принял вас в моем доме как гостя и друга, спрашивал ли я вас к горделивой ли римской церкви принадлежите вы или к бедным и рассеянными членам церкви воинствующей?.. Но, – продолжал он грубо, – я не отрекусь никогда от моей веры. Отцы мои присутствовали при протестантских проповедях с ружьями на плечах и положив руку на эфесы своих сабель... Мои сыновья и я готовы сделать то же самое!

Энтузиазм его отразился в глазах его двух сыновей и даже в глазах жены и дочери, которые слушали молча.

Очевидно, барон находился у потомков тех страшных раскольников, которые шестьдесят лет тому назад под именем камизаров облили кровью Севенны. Принужденные избегать больших центров народонаселения, где королевские указы запрещали им публично заниматься своей религией, камизары удалились в самые неприступные части страны. Терпимость правительства распростерлась на них с тех пор и, несмотря на строгость предписаний, не слишком справлялись о том, что происходит в этих уединенных частях; протестантские горцы сохранили свой прежний неукротимый фанатизм, фанатизм тем более восторженный, что гонение могло возобновиться для них с минуса на минуту.

– Вы ошибаетесь, мэтр Фереоль, – возразил барон серьезным тоном, – в моих словах нет глупой нескромности... Но это прозвище Правдивого Меча, которое дали вашему деду, и которое дают теперь вам, не носил ни один храбрый партизан, который разделит страдания благочестивого и благородного Пьера де Варина во времена Бервика и Виллара?

Мызник поднял голову.

– Точно так, сударь, – отвечал он, – мой дед был именно тот верный слуга, который никогда не оставлял графа во время гонений и долго жил с ним в гроте Варина; они питались кореньями и дикими плодами, а спали, опираясь о свои ружья; раз двадцать посылали драгунов их взять, они всегда спасались своей ловкостью и неустрашимостью... Мой дед Правдивый Меч, которого я знал в детстве, любил рассказывать при мне события той жестокой эпохи, и

сам я рассказывал их часто после того моим детям... Мы, бедные люди, остались верны религии наших отцов, а владельцы Варина...

– Вы говорите, – перебил барон, – о последнем графе де Варина, который, сделавшись католиком, умер жалким образом в Фронтенакском аббатстве? Он был жестоко наказан за свое отступничество, мэтр Фереоль, и пресекновение его отрасли, может быть, было наказанием небесным... Но вам не может быть неизвестно, что младшая отрасль Варина строго сохранила свою веру, и к этой-то я с гордостью принадлежу, мэтр Фереоль; ведь и я также происхожу от этого неустрашимого Варина, о котором вы говорили сейчас; я барон де Ларош-Буассо.

Это известие, по-видимому, не произвело на мызника того действия, которое барон, может быть, ожидал, но зато его жена и дети не могли удержаться от движения, выражавшего их удивление и уважение. Однако Фереоль встал.

– Не скрываю от вас, господин барон, – сказал он сдержанным тоном, – что мне говорили о вас как о дворянине весьма твердом в вере, расточившем отцовское наследство... Но это все равно. День, когда в доме Правдивого Меча принимают потомка графа де Варина, – праздник. Да будет благословен этот день!

Он поцеловал руку своего гостя, и каждый член семьи поочередно приходил воздавать барону ту же почесть. Этот церемониал совершился с той пуританской холодностью, которая отличала все движения Фереолей; но Легри уже не смеялся, его изумляла новая серьезность, выражаемая его патроном. Действительно, Ларош-Буассо терпеливо принаравливался к нраву своих единоверцев.

– Вы не должны, любезный Фереоль, быть слишком строги к городским протестантам. Королевские эдикты не шутят, и если мы сделаем какую-нибудь неосторожность... Но я вижу, что вы нахмурили брони... Оставим же предмет, относительно которого мы, может быть, не согласимся... Я хочу оставаться с вами в хороших отношениях, мэтр Фереоль, как это и следует единоверцам, и прежде всего я должен спросить вас, можем ли мы рассчитывать завтра на вашу помощь. Мне нужен проводник, знающий окрестности, чтобы проводить нас в лес Со, куда, говорят, укрылся жеводанский зверь.

– Итак, вы настаиваете на этом безумном и святотатственном предприятии?... Повторяю вам, никакое оружие не может поражать это

чудовище; пули будут бессильны, острие ножа притупился о его шкуру, потому что ему поручено от неба мстить и истреблять... Но, пожалуй, – продолжал Фереоль, переменив тон, – ваше желание будет исполнено... Вот Рюбен, мой старший сын, проводит вас завтра утром в лес Со, и может быть, я сам решусь вас проводить.

Рюбен, красивый парень почти колоссального роста, сделал знак, что он слышал это приказание и исполнит его. Барон поблагодарил сына и отца.

– Это еще не все, – прибавил он, – я отыскиваю одного человека, найти которого будет для меня так же интересно, как и самого зверя, и этот человек также не может быть очень далеко отсюда. Он здешний, долго жил в поместье Варина и Меркоаре, но, кажется, воротился в Мезенк недавно. Он лишился рассудка и живет в лесу. Его зовут Жан Пейра, но он больше известен под прозвищем Зубастого Жанно... Не можете ли вы, любезный Фереоль, доставить мне несколько сведений о нем?

Эта просьба сделала некоторое впечатление на протестантскую семью; только глава дома сохранил хладнокровие.

– Господин барон, – сказал он после краткого молчания, – прежде чем вы приехали ко мне, не останавливались ли вы на мызе Грансень, находящейся за одно лье отсюда по ту сторону горы?

– Нет; мы прямо из Лангоня, где нам показали ваш дом как самый близкий к лесу Со... Но к чему этот вопрос, мэтр Фереоль?

– Сегодня в Грансене была большая толпа охотников, объявивших, так же как и вы, о своем намерении преследовать зверя и отыскать следы Зубастого Жанно. Мартен, мызник грансенский, приходил уведомить меня об этом за два часа до вашего приезда и в то же время спросить у меня совета... о том, что касается одного меня. Итак, вы не останавливались у Френена?

– Нисколько, – сказал барон с волнением, – и мне хотелось бы знать дерзких охотников, которые осмеливаются идти по нашим следам.

– Как! Вы не угадываете? – вскричал Легри. – Это племянник приора, ягненок, как вы называете... Я вам говорил, что он скоро должен был отправиться на зверя.

– Уверены ли вы в этом, Легри? В самом деле, это возможно... Но если я объясняю себе его интерес для охоты за зверем, я не понимаю

хорошенько, по каким причинам отыскивает он Жанно.

– Так как ходят слухи о близости зверя и сумасшедшего, то очень важно было осведомиться об одном, чтобы отыскать другого.

– Это может быть, – сказал барон с задумчивым видом, – эта конкуренция мне не нравится, хотя этот Леоне, кажется мне, не очень опасен... Без сомнения, он имеет намерение отправиться на охоту завтра утром; надо предупредить его.

– Мы можем отправиться до рассвета.

Фереоль спокойно слушал этот разговор.

– Ну, любезный хозяин, – продолжал барон, – не знаете ли вы что об этом Жанно, которого я горячо желаю отыскать для интересов нашей религии?

Фереоль колебался с минуту.

– Господин барон, – сказал он, наконец, – Жан Пейра мне родственник в дальней степени, и я знаю то место, где его можно найти... Но, я скорее дам растерзать себя на куски, чем выдам его убежище, если только я не узнаю, чего от него ждут!

Ларош-Буассо сообщил ему о споре насчет наследства Варина и старался доказать ему, как было важно для протестантов, чтобы это состояние вернулось к законному наследнику в ущерб жадным фронтенакским бенедиктинцам. Весь фанатизм горца был возбужден этим искусным рассказом.

– Стыд и посрамление римской церкви! – вскричал он. – С которых пор имущество сынов Божиих должно переходить в жадные руки сынов Измаила?! Я готов пожертвовать жизнью моей и всех моих детей, чтобы доставить вам перевес в этом правдивом деле... К несчастью, я очень боюсь, что мой родственник не в состоянии свидетельствовать в вашу пользу; сказать правду, его рассудок помрачен безвозвратно. Он проходил здесь месяц тому назад и сел перед нашим домом, куда он приходил часто. Мои дети боялись его и не смели к нему подойти. Когда я воротился с пастбища, я нашел его на том же месте и узнал тотчас, несмотря на его лохмотья и нищету. Он также меня узнал, но я мог добиться от него только бессвязных слов и глупого смеха. Он не хотел войти ко мне, зато когда ему принесли пищу, он с жадностью бросился на нее и всю съел вмиг. Потом он нас оставил, и с того времени бродит по окрестностям и живет неизвестно чем. Мы часто его встречаем, но он всегда бежит

при нашем приближении и прячется в кустарнике, куда нельзя следовать за ним. Однако, так как он мне родственник, я время от времени кладу в те места, где он бывает, хлеб или каштаны; эта провизия всегда исчезает на другой день. Вы видите, что нелегко захватить этого бедного Жанно; притом я имею причины думать, что в некоторые минуты было бы очень опасно подходить к нему!

– Я все-таки хочу попробовать, друг Фереоль, – продолжал барон, – вот этот человек обещает не только подойти к этому несчастному сумасшедшему, но и усмирить его, как только найдут его следы... Не правда ли, Фаржо? – обратился он к бывшему лесничему, который тотчас после ужина сел у огня.

– Да, да, барон, – отвечал Фаржо с уверенностью, – мы давно знаем друг друга, и я имею средство приманить его... Правда, он прежде был не так дик, как теперь, но я ручаюсь, что он не убежит, если узнает меня или только услышит мой голос.

Горец в своем преувеличенном уважении к узам крови потребовал от барона обещания, что Жанно, его родственнику, не будет сделано никакого вреда и что его выпустят на свободу, после того как допросят. Потом условились, что Фереоль и Рюбен проводят завтра охотников в лес Со, где сумасшедший, как и прежде, казалось, жил в хороших отношениях с жеводанским зверем.

– Это прекрасно, – сказал Легри, когда условились о некоторых подробностях, – но то, что мы должны сделать, барон, сделаем скорее. Соседство этого Леоне и его людей начинает очень меня беспокоить. Если волк действительно ранен, с ним можно справиться легко, и нас извинить будет нельзя, если мы позволим предупредить нас.

– Ну, Легри, – сказал барон, – мы поедем при первых лучах дня. Чего вы еще хотите?

– Я ничего не хочу, Ларош-Буассо, совсем ничего, – возразил Легри с досадой, – теперь, когда некоторые предприятия, интересующие вас, удаются, я вас нахожу очень холодным для этого... Вы гораздо более заняты Жанно, чем зверем.

Барон сказал ему несколько слов шепотом, чтобы его успокоить.

– Хорошо, хорошо... Но я должен завтра убить жеводанского зверя... Мы увидим завтра, как должно дорожить вашим словом.

Он сел у огня с надутым видом, а барон презрительно пожал плечами. Впрочем, беседа продолжалась недолго. Путешественники

устали и чувствовали потребность собраться с силами для завтрашнего дня, который, по всей вероятности, должен был быть очень тяжел. Ларош-Буассо выразил желание идти спать. Но Фереоль холодно пригласил его присоединиться к молитвам семьи, которые, по патриархальному обычаю, происходили каждый вечер.

Ларош-Буассо почувствовал, что отказ оскорбит его гостя; но он не мог решиться выносить часа полтора чтение псалмов и молитв. Он извинился, что его клонит ко сну до такой степени, что он не может исполнить эту обязанность со всем необходимым благоговением. Фереоль нахмурил брови, однако только пробормотал:

– Так написано: «Молитва облегчает, а размышление живит ум». Да простит Господь грешнику и ветренику!

Через несколько минут путешественники легли, одни на постелях своих хозяев, другие на сене в конюшне, где дыхание скота поддерживало теплую температуру. Часть ночи можно было слышать среди рева ветра серьезный и монотонный голос главы семейства, который давал религиозное наставление своим детям.

Глава двадцатая

На другое утро, на рассвете, как условились, охотники под предводительством самого Фереоля и его старшего сына вышли из фермы в лес, где надеялись найти Жанно и его ужасного друга, жеводанского зверя. Все шли пешком; затруднения и опасности пути не позволяли употреблять лошадей в этой части страны. Ларош-Буассо и сопровождавшие его имели ружья; но Фереоль и его сын, убежденные в бесполезности нападения на зверя, взяли только палки, окованные железом.

Небо было немного серое; ни один из тех блестящих оттенков, которые обыкновенно предвещают восход солнца в горах, не виднелся на высоких вершинах гор. Новый слой снега, выпавшего ночью, скрывал неровности почвы под своей однообразной белизной. К счастью, ветер перестал дуть, и день обещал быть очень тихим.

Путешественники шли по следам, оставляемым проводниками на снегу. Несмотря на эту предосторожность, они спотыкались почти на каждом шагу, и падение могло быть смертельно; с проложенных дорог уже сошли, то спускаясь с крутых покатостей, то идя вдоль пропастей, глубину которых взор не осмеливался измерить. Снег, прилипавший к ногам, увеличивал опасность. Глубокая тишина царила в этой пустыне, как будто брошенной всеми живыми существами. Ни одна хищная птица не носилась вокруг обнаженных вершин. Собаки, которые при выходе из фермы бежали живо и весело впереди охотников, теперь не отходили от них, оттого, что скрытые острия лавы ранили их лапы или, скорее, отсутствие всяких следов дичи заставляло их приберегать для другого случая свою силу и свой пыл.

Шли около часа, однако лес Со еще не был виден, и Легри, не такой сильный, как его товарищи, начал роптать.

– Мы приближаемся, – сказал Фереоль со своей ясной серьезностью, – но если вы теперь жалуетесь на трудность дороги, что же будет, когда мы придем в Со?

Понадобилось еще полчаса, чтобы дойти до назначенного места; глухой и глубокий шум, производимый падением воды, становился все сильнее по мере того, как они приближались, и когда путешественники

дошли наконец до вершины утесистой скалы, на которую взобрались с трудом, они вдруг очутились в царстве страшной и грандиозной природы.

Пусть представят себе четыре горы неравной высоты, расположенные как бы по углам квадрата, так что их подножия на первый взгляд как будто соединялись. Однако между этими подножиями шла долина, глубокая, как пропасть, в которой деревья и груды камней, странно разбросанных, являли хаос. Взор терялся в этом страшном беспорядке, где все казалось смешано, потому что снег покрывал весь пейзаж. Большая часть деревьев, вырванных обрывами, лавинами, даже ветром, врывавшимся иногда в это страшное ущелье, были согнуты, перепутаны одно с другим, обвиты ползучими растениями. Колоссальный папоротник, дикий терн и тысячи колючих кустов окончательно делали непроходимым это место.

Несколько потоков, спускавшихся с горы, низвергались в эту долину. Самый значительный падал с горы, находившейся напротив охотников, и составлял каскад. Холод был еще не силен, потоки не замерзали и обрисовывались как черные или серые полосы на белом фоне снега. Эти обильные воды, которые текли со всех сторон, соединялись в центре долины; но там они или терялись под землей, как это часто случается в странах, опустошаемых вулканами, или убегали в какое-нибудь русло – это было неизвестно; деревья, скалы и высокие травы скрывали от людей эту тайну природы.

Таково было страшное место, которое охотники должны были старательно осмотреть; с первого взгляда самые смелые могли сомневаться в успехе предприятия. Однако они пошли по рубежу этого неправильного леса и осмотрели места, где несколько раз видели следы Жанно и зверя. Самые внимательные исследования не произвели никакого результата. Никаких следов человека или зверя не виднелось на снегу. Собаки шли печально, как будто сами пугались своего трудного дела.

Остановились возле одной огромной глыбы базальта, который часто встречается в этих горах.

– Да поможет нам Господь! – сказал Фереоль. – Я ничего не понимаю... Не может, однако, быть, чтобы Жанно и зверь ушли отсюда.

– В самом деле, – продолжал барон, – они не могут найти нигде более верного убежища, более неприступной крепости... Ну, Фаржо, – обратился он к бывшему лесничему, – настала минута сдержать ваши слова... Теперь вы должны отыскивать этого ужасного Зубастого Жанно.

– Любезный барон, – с живостью сказал Легри, – не лучше ли сначала заняться волком и...

– Черт побери! Легри, неужели вам надо повторять тысячу раз, что если мы отыщем Жанно, то и волк будет недалеко? Ну, Фаржо, – с нетерпением продолжают Ларош-Буассо, – о чем же вы думаете? Или вы только похвастались? Я думал, что вы с большим нетерпением желаете отомстить за вашу несчастную дочь!

Фаржо, который казался задумчив и нерешителен, вздрогнул при этом имени.

– За мою дочь! – повторил он с живостью, подняв голову, – да, да, вы правы... Я не решался изменить этому бедняге, который имел ко мне доверие; но если он покровительствует гнусному зверю, который растерзал мою дочь... я примусь за дело, и если Жанно недалек отсюда, мы скоро его увидим.

– Да, Фаржо, не теряйте время... Помните мои обещания и ваши... А пока вы будете действовать один, что делать нам?

Фаржо подумал.

– Подождите моего возвращения, – сказал он, – а до тех пор не показывайтесь на высоких местах и говорите шепотом, потому что мы имеем дело с теми, у кого слух тонкий, а зрение острое... Надо также привязать собак и не выпускать их пока. А мне не нужно ружья, увидев которое, Жанно непременно убежит, если мы встретимся; пистолетов в моем кармане будет достаточно в случае надобности.

Он отдал ружье Лабраншу и удостоверился, что пистолеты его могут стрелять. Потом пошел в чащу.

Вдруг из того самого места, где он исчез, раздался страшный вой, заглушивший даже шум каскада. Собаки подняли уши, охотники не могли удержаться от движения ужаса.

– Зверь, зверь! – пробормотал Легри, взводя курок своего, ружья. Но опытный слух Ларош-Буассо различил, в чем дело.

– Это сам Фаржо, – возразил он, смеясь, – он не забыл, что с волками жить – по-волчьи выть... Но ш-ш! Посмотрим, будут ли ему

отвечать.

Несколько минут не слышалось ничего, кроме глухого ропота каскада. Казалось, Фаржо перешел на другое место, потому что вой поднялся с другой стороны с новой силой; но на этот раз он повторился слабо на большом расстоянии. Фаржо вышел из леса к охотникам.

– Он здесь, – сказал он оживленным тоном, – он узнал мой сигнал... Он должен быть там, у большого каскада... Обойдите лес и встаньте с той стороны очень осторожно, пока я пройду через чащу. Когда я выстрелю из пистолета, бегите все вдруг, не теряя ни минуты, и спустите собак... Вы поняли?

Условившись наскоро, как им идти, охотники направились к каскаду, а Фаржо вошел в лес, где опять начал выть и охать.

Отправимся сначала за Ларош-Буассо и другими охотниками. Они пошли вдоль леса так скоро, как могли. Они хранили глубокое молчание, и шум их шагов затихал на снегу. Однако им пришлось делать большой обход, и они были еще далеко от назначенного места, когда барон, несмотря на приказание, которое он сам отдал, молчать и идти скоро, вдруг остановился и вскрикнул от удивления и гнева.

– Что такое, – спросил Легри, который тотчас к нему подошел.

– Посмотрите, – отвечал Ларош-Буассо.

На главной горе, возле самого каскада, появилось несколько человек, по наружности также походивших на охотников. Две сильные собаки бегали по снегу, как будто нашли след, который напрасно отыскивал барон. Эти незнакомцы составляли группу немного многочисленнее группы Ларош-Буассо и казались хорошо вооружены.

– Клянусь всеми чертями! Это племянник приора! – сказал раздосадованный Легри.

– Да, это не может быть никто другой, как он, – отвечал барон, нахмутив брови. – Не кажется ли вам, так же как и мне, Легри, что эти люди встали в такую позицию, что прежде нас могут воспользоваться добычей, и человеком и волком, которых этот дурак Фаржо поднимет на ноги?

– В самом деле, и как это дерзко... Но мы этого не позволим, не правда ли, барон? Пойдем к ним скорее и прикажем уйти, а не то...

– В случае ссоры мы не будем сильнее их, Легри, и, несмотря на ваши задорливые ухватки, вы первый заметите это. Надо лучше

действовать хитростью, если возможно.

– Я нахожу, что вы очень холодны и терпеливы, Ларош-Буассо, – сказал Легри недовольным тоном.

К ним подошел старик Фереоль, оставшийся несколько позади, чтобы рассмотреть другую группу охотников.

– Это те люди, которые остановились в Грансене, – сказал он оживленным тоном, – я узнал Мартена, грансенского мызника, который служит им проводником. Лицемер! Лжец! Он обещал мне не изменять моему родственнику и, наверно, продал его за несколько динариев... Но клянусь душой моего отца, я отмщу за мою кровь, если с Жанно случится несчастье из-за Мартена!

Пуританин исчез в эту минуту, чтобы уступить место мезенкскому горцу, мстительному и неукротимому в своем гневе. Ларош-Буассо, несмотря на свою досаду, не мог не улыбнуться; ему показалось странно, что Фереоль так раздражен против другого за поступок, в котором он сам был виновен; однако он сказал ему повелительно:

– Не надо ссориться с этими людьми, слышите, Фереоль?.. Пойдемте вперед; никто не смеет послушаться меня!

Он пошел быстрыми шагами, не примечая яростных взглядов старого раскольника, не очень способного преклоняться перед чьей бы то ни было властью. Наконец дошли до того места, где находились Леоне и его люди. Во время этого перехода Фаржо несколько раз звал внутри чащи, ему отвечали точно так же; но, наконец, вой совершенно прекратился, или потому, что те, которые были, встретились, или шум воды покрывал теперь их голоса. Впрочем, выстрел, который должен был служить сигналом, не раздавался, и охотники продолжали продвигаться, стараясь не показываться на открытых местах.

Несмотря на эти предосторожности, Леоне и его спутники очень хорошо приметили противников, приближавшихся к ним. Они остановились на краю лесистой пропасти, не смея идти далее, прежде чем намерения другой группы станут им известны. Леоне при виде Ларош-Буассо, который шел впереди, сделал движение, чтобы стать в оборонительное положение; но, вспомнив тотчас, что дядя приказал ему избегать ссоры с бароном, он старался принять спокойный вид и был готов действовать как друг или как враг, смотря по обстоятельствам.

Ларош-Буассо, со своей стороны, размышлял. Ему пришло на мысль, что было бы забавно употребить племянника приора для успеха своих собственных намерений, что было очень легко по неопытности молодого человека. Он думал, что ему будет гораздо удобнее расстроить планы Леоне, если он успеет внушить ему доверие; а может быть, также, он питал надежду искусно помучить своего ненавистного соперника. Он приблизился к нему с улыбкой на губах и вежливо поклонился.

– Мосье Леоне... кажется? – сказал он тоном почти дружеским. – Я уже, если не ошибаюсь, имел честь видеть вас в Меркоаре?

Леоне холодно отвечал на его поклон.

– Это правда, но наши отношения были так непродолжительны и так холодны, что лучше было бы...

– Не продолжать их? Позвольте мне не разделять этого мнения... Я не хочу припоминать моих неудовольствий против Фронтенакского аббатства, – продолжал барон с мнимым добродушием, – хотя, может быть, вы теперь знаете, как законно это неудовольствие, но зачем такому благородному человеку, как вы, принимать участие в этом деле? Вы сделали, как кажется, охотником после нашего последнего свидания, и я действительно помню, что вам следует отомстить этому проклятому жеводанскому зверю... Одна и та же причина привела нас сюда; почему же, пока обстоятельства нас сближают, не иметь нам друг к другу чувств взаимно доброжелательных, братства, отличающего вольных охотников?

Это предложение согласовалось с тайными намерениями Леоне, однако он отвечал с холодным видом:

– Может быть, я найду другие причины к неудовольствию, кроме тех, которые имеют фронтенакские аббаты против вас, барон де Ларош-Буассо. Но хорошо; в свою очередь я хочу забыть их на это время. Я не стану препятствовать тому, что вы предпримите, барон, если вы обязуетесь не идти наперекор моим планам в то непродолжительное время, которое мы должны провести вместе.

– Согласен; разумеется, каждый из нас сохранит совершенную независимость.

Их прервал шум сильного спора, поднявшегося между Фереолем и другим мызником. Фереоль энергически упрекал Мартена в вероломстве, а Мартен, со своей стороны, уже хватался за нож – это

страшное оружие, которое мезенкский горец всегда носит при себе. Собаки Леоне, вышедшие из чащи, скалили зубы собакам Ларош-Буассо, и драка казалась неизбежной как между животными, так и между людьми.

Начальники обеих трупп поспешили вместе. Несколько твердых слов Леоне и барона прекратили, по крайней мере, внешне, спор Мартена с Фереолем, которые удалились друг от друга, бросая мрачные взгляды. Нескольких ударов хлыстом было достаточно для того, чтобы привести к послушанию четвероногих.

– Черт побери, мосье Леоне! – весело сказал барон, когда все было кончено. – Согласие нелегко восстановить между нами, однако мы его достигнем, если вы так же этого желаете, как и я... Для начала я не стану спрашивать, откуда вы достали эту прекрасную медеянскую собаку, которая ворчит там в кустах; она должна стоить вам дорого, и, клянусь честью, в то время когда мы живем, племянники приоров подрезывают траву под ногами дворян... Но оставим это... Настоящие обстоятельства принуждают нас соединить наши способы к действию; я не стану скрывать от вас моего плана кампании. Этот безумец, которого зовут Зубастый Жанно, спрятался в лесу, а так как для меня чрезвычайно важно захватить его, один из моих людей, который его знает, отправился его отыскивать.

– Как! – вскричал Леоне, как бы облегченный от сильной тяжести. – Вы ищите только Жанно? А я думал... Но если Жанно действительно находится в этом кантоне, с ним должен быть и жеводанский зверь. Посмотрите!

Он указывал на снегу широкие следы, которые шли вдоль пропасти. Барон узнал их сейчас, но выказал полное равнодушие.

– Решительно, – отвечал он, – один не ходит без другого, и это объясняет нам, мосье Леоне, некоторое обстоятельство, относящееся к знаменитому волку, которое очень удивляет народ. А я непременно пошлю в него пулю, если он попадется мне, потому что мне известно, какой награды может потребовать победитель зверя; но прежде всего я хочу захватить этого проклятого Жанно – по причине, которую вы узнаете впоследствии... Но, мосье Леоне, – продолжал барон, указывая на Легри, который наблюдал за ними с раздраженным видом, – вот охотник, рассчитывающий сильно соперничать с вами.

Легри, видя, что говорят о нем, приблизился к двум собеседникам и, небрежно поклонившись, сказал барону с дурно сдерживаемым гневом:

– Разве мы должны отказаться от нашего предприятия, Ларош-Буассо? Я должен это думать, видя, каких новых союзников выбрали вы себе!

Его патрон нахмурил брови; это показало Легри, что он должен понизить тон.

– Фаржо уже не слышно, – продолжал он, – и я не знаю, что думать о его молчании... Почему не приискать нам склон менее крутой, чтобы спуститься в эту гадкую бездну?

– Я спущусь туда здесь же, – решительно сказал Леоне, – мои собаки отыскивали след... Мои спутники свободны следовать за мной, если хотят.

Он пошел к узкому карнизу, который шел вдоль пропасти; это была единственная дорога с этой стороны, которая вела к большому каскаду. Слой льда и снега покрывал ее шагов на сорок и еще увеличивал опасность этой ужасной тропинки.

– Сумасбродство! – вскричал Легри, побледнев.

– Послушайте, мосье Леоне, – сказал барон в свою очередь, – я обещал быть честным противником; дорога, по которой вы идете, удобна только для дикой козы... Притом еще не подали никакого сигнала, и вы можете дожидаться здесь...

– Вспомните наши условия, господа, – с живостью сказал Леоне, – я не буду стеснять ваших поступков, не стесняйте и вы моих.

В эту минуту у каскада раздался выстрел. Потом послышались пронзительные крики, смешанные с ужасным воем.

– Это Фаржо! – закричал Легри.

– Это, должно быть, Жанно, – сказал барон.

– Мне послышался вой волка, – сказал Леоне.

Он прыгнул гибко и легко на опасный выступ и, подняв карабин над головой, направился к каскаду. Другие охотники следовали за ним глазами, ожидая каждую минуту, что он полетит в пропасть, но эта смелость должна была остаться безнаказанной. Леоне дошел до конца карниза, быстро проскользнул под арку, составляемую водопадом, и появился здоров и невредим, с другой стороны. В ту же минуту он

подошел к двум человеческим фигурам, внезапно показавшимся на покатости горы.

Зрители были изумлены этим неожиданным успехом. Легри первый возвратил присутствие духа.

– Стало быть, по этой дороге можно пройти! – вскричал он. – Барон, нечего колебаться; если мы замедлим присоединиться к этому Леоне, он способен заслужить награду... Вспомните ваше слово и пойдите со мной.

– Конечно, – отвечал барон, – было бы стыдно для всех предоставить первенство молокососу! Он после будет хвалиться, что совершил предприятие, от которого отступили мы... Вперед, черт побери!

Он пошел в свою очередь по опасному карнизу; когда его спутник, который шел впереди него на несколько шагов, вдруг исчез со страшным криком, Ларош-Буассо остановился. Легри упал с ужасной высоты. К счастью, кусты смягчили его падение, и скоро услышали, что он зовет из глубины пропасти. Барон сначала колебался, но вспомнив, что горцы могут подать его несчастному другу необходимую помощь, он продолжил свой путь.

Глава двадцать первая

Воротимся теперь к Фаржо, которого мы оставили в чаще леса.

Он зашел недалеко; в этом девственном лесу его скоро остановили серьезные препятствия. То надо было обходить скалу, то впадину, наполненную снеговой водой, то терновник, с которым мог бы справиться только огонь. Фаржо, как мы знаем, был довольно толст для того, чтобы эти затруднения казались ему вдвойне непреодолимыми; однако он время от времени повторял вой, который должен был привлечь к нему ликантропа, и так как ему беспрестанно отвечали, он не терял мужества.

Настала, однако, минута, когда он очутился в смертельном затруднении. Он дошел до края скользкой скалы, под которой ревел подземный поток. Кустарник и лесной подрост, по которым прошел Фаржо, сомкнулись позади него, так что ему казалось равно невозможно подвигаться или отступить. В своем затруднении Фаржо еще раз завыл, но на этот раз ему отвечали не таким тоном: недалеко послышался хохот – насмешливый, глупый, странный.

Фаржо посмотрел очень внимательно вокруг себя и ничего не увидел; но хохот принимал характер иронии и злой радости, и он, наконец, различил у подножия кустов, составлявших для него непреодолимую преграду, бородатую отвратительную голову с длинными выдающимися зубами, красные глаза и пронзительный взгляд которой устремились на него. Остальное было спрятано, только эта ужасная голова показывалась неподвижно на полфута от земли между тростником и терновником.

Может быть, Фаржо почувствовал в эту минуту усиленное беспокойство, но остерегся обнаружить это впечатление. Напротив, придав своим чертам все спокойствие и всю ласковость, к каким только они были способны, он сказал сладеньким тоном:

– Здравствуй, волк... к тебе пришел в гости другой волк!

Не поможешь ли ты мне выбраться отсюда?

Но ликантроп продолжал хохотать, как будто зрелище затруднения его бывшего приятеля было для него очень забавно.

– А! а! Так-то ты меня принимаешь? – сказал Фаржо. – Ну, слушай, волк, ты должно быть, голоден, как всегда... а у меня в кармане большой кусок хлеба, который я оставил для тебя.

Бородатая голова замахала своей нечесаной гривой и отвечала голосом едва внятным, но с очевидным гневом:

– Волки предпочитают не хлеб, а мясо баранов и... и еще кое-что другое!

Это было сказано таким тоном, что Фаржо не мог не затрепетать.

– Полно, полно, не сердись, – продолжал он, – у волков, таких как ты, также есть дни, в которые они постятся и едят что найдут. А здесь вы должны поститься часто!

Этот аргумент показался неопровержимым сумасшедшему, он расширил своими жесткими мохнатыми руками проход, который сделал для себя в кустах, потом сказал хриплым голосом:

– Ну, пойдем к волкам; дай мне твоего хлеба, и мы поговорим как друзья. Тут есть другой, которым я не совсем доволен... Я тебе расскажу; пойдем.

Он вошел в чащу, Фаржо за ним. Проскользнув в проход, сделанный ликантропом, он шел так же, как и он, на четвереньках. Без сомнения, такая ходьба должна была быть для него очень утомительной, но другой не могло быть в этом почти непроходимом лесу. К несчастью, одежда лесничего не имела удобства простой холстинной блузы, составлявшей весь костюм сумасшедшего. Каждую минуту Фаржо останавливали низкие ветви, колючие пни, схватывавшие его, как тиски; только необходимость и тайное желание мщения придавали ему рвение для преодоления этих препятствий.

Однако ему было бы трудно следовать за человеком-волком, который ползал с невообразимой ловкостью, если бы тот не останавливался время от времени прислушаться. Казалось, что нечто необыкновенное возбуждало любопытство, если не недоверчивость Жанно, и бедный лесничий пользовался этими минутами, чтобы перевести дух. Но скоро сумасшедший, успокоенный, без сомнения, мыслью, что на него нельзя напасть в этом лабиринте скал, кустов и пропастей, принимался насмешливо смеяться и продолжал путь.

Наконец они выбрались из нижней чащи леса и поднялись на гору. По мере того как они поднимались, лес становился не так густ, и хотя Жанно продолжал ползти на четвереньках, к чему он давно привык,

Фаржо воспользовался этим случаем, чтобы подняться на ноги и идти, как ходят люди. Платье его было все изорвано, дыхание со свистом вырывалось из груди, и крупные капли пота падали со лба его на снег.

Поднимались еще несколько минут, и, несмотря на это возвышение, дорога не представляла более непреодолимых затруднений. Фаржо должен был еще хвататься иногда за папоротник, чтобы сохранить равновесие, но в него уже не впивались тысячи острых колючек. Они находились теперь возле водопада; сырой и холодный туман, испарявшийся из него, пронизывал их насквозь; казалось даже иногда, что надо пройти под потоком белой пены, шумно устремлявшейся со скалы, оставляя между ним и скалой большое пустое пространство, занимаемое страшным карнизом, уже нам известным.

В том месте горы, где кусты становились реже и мельче, Жанно, который шел впереди, наконец, остановился; он обернулся подождать своего товарища, который, пыхтя, догнал его; тогда сумасшедший, раздвинув вереск, проскользнул во впадину скалы, почти невидимую снаружи. Прежде чем отважиться войти в это подозрительное место, Фаржо быстро осмотрелся вокруг: не виднелось ни одного охотника, и, если бы случилась ссора, он должен был рассчитывать на себя одного. Однако он не испугался этого и решительно вошел в грот.

Это природное подземелье было очень темно, но скоро глаза Фаржо привыкли к этой темноте, и он мог рассмотреть жилище своего «друга».

Эта пещера, высота которой не превосходила роста обыкновенного человека, имела десять футов глубины. В ней было довольно тепло, и так как она была окружена кустами снаружи, то в нее сырость не проникала. Тут не виднелось ни одежды, ни утвари, ни провизии: только толстый слой листьев и мха составлял мягкую постель и представлял разумную предусмотрительность.

Но Фаржо не имел времени делать продолжительные наблюдения; товарищ его сел в глубине грота и говорил с дикой жадностью:

– Хлеба! Хлеба! Скорее!.. Волк хочет есть... Волк голоден!

Лесничий вынул из кармана большой кусок хлеба, который Жанно схватил обеими руками и с жадностью начал есть. Скоро весь кусок был съеден, но аппетит ликантропа, по-видимому, далеко не был удовлетворен. Фаржо сказал ему тихо:

– Мне кажется, волк, что ты долго голодал!.. Право, тебе плохо приходится в этом пустынном краю; я побьюсь об заклад, что ты ничего не ел целых три дня!

– Это правда, – отвечал Жанно, подмигнув своими огромными свирепыми глазами. – Тот другой дурно поступает со мной! Он не приносит мне ничего... Он уходит далеко и насыщается, а ко мне возвращается, только когда ему придется плохо... Тогда надо за ним ухаживать... Это неблагодарный, негодный, неблагодарный!..

– Тот другой, – повторил Фаржо, который понимал очень хорошо, – о ком это ты говоришь, Жанно?

Когда сумасшедший услышал свое имя, с ним сделался припадок бешенства.

– А! а! – сказал он. – И ты также хочешь уверять, будто я человек и будто меня зовут Жанно? Если бы я это думал...

Он вдруг замолчал, взгляд его стал пристальным, точно присутствие его бывшего хозяина возбуждало в нем смутные и отдаленные воспоминания.

– Иногда... в самом деле, – продолжал он с задумчивым видом, – мне кажется, будто я был прежде человеком и назывался Жанно... будто я жил между людьми, ел хлеб и ночевал в домах... Но, может быть, мне все это привиделось во сне!

Фаржо увидел в этих словах начало возвращения к рассудку и хотел воспользоваться этим промежутком ясности, чтобы получить сведения, за которыми он пришел.

– Конечно, ты был человек, – сказал он утвердительным тоном, – разве ты не помнишь, что ты был моим работником на ферме Варина? Разве ты забыл жену мою Маргариту, кормилицу маленького виконта, мою дочь Марион и твоего товарища Симона Гранжэ, с которым ты так часто дрался из-за того, что он терял своих баранов, а говорил, будто ты крал их у него?

Каждое из этих имен производило сильное впечатление на человека-волка; его огрубевшее лицо обнаруживало размышление. Ободренный этим успехом, Фаржо продолжал:

– Есть еще одно обстоятельство, которое не может выйти у тебя из памяти. Помнишь ты тот вечер, когда пропал бедный ребенок – виконт де Варина? Всегда думали, что он погиб по какому-нибудь несчастному случаю, но ты знал... ты видел...

– Ни я, ни тот другой, мы не растерзали ребенка! – сказал Жанно, как бы увлекаемый своими воспоминаниями. – Волков не было там... Тогда совсем не было волков... Но я встретил вечером монаха, который шел в замок с другим человеком; я знаю точно, что ребенка взял монах!

– А! Вот какое важное признание! – сказал Фаржо, забыв всякую сдержанность. – Ну, слушай, Жанно, согласишься повторить при людях, которые недалеко отсюда, то, что ты сказал о монахе, и в награду с тобой поступят очень хорошо: тебе дадут вдоволь и хлеба и говядины, ты не будешь страдать ни от голода, ни от холода, у тебя будет дом, платье... – Он остановился, заметив, что слишком поторопился положиться на разум ликантропа. Тот, прельщенный было этими обольстительными обещаниями, вдруг опять принял свой свирепый вид.

– Я не человек, – сказал он с бешенством, – я волк... Посмотри на мои когти, взгляни на мои зубы... Неужели я должен разорвать тебя и сожрать для того, чтобы доказать тебе, что я волк?

В то же время он протянул свои руки с острыми ногтями, годившимися и для хищного зверя, щелкнул длинными зубами, которым он обязан был своим прозвищем. Фаржо ощупал под своим платьем дуло пистолета, что бы быть готовым в случае надобности, однако отвечал, скрывая свой страх:

– Ну, ну! Кто же с тобой спорит? Ведь это видно, что ты волк... Да еще самый страшный! Уж не тебя ли зовут жеводанским зверем, который заставляет дрожать весь здешний край?

Эта странная лесть показалась восхитительной сумасшедшему Жанно.

– Нет, нет, – отвечал он тоном ложной скромности, качая своей толстой головой на чешуйчатой шее, – это не я, это тот... Однако спрашиваю тебя, что было бы с ним, если бы меня не было? Кто открывал бы ему двери, чтобы входить в дома? Как избавлялся бы он от засад, которые ему расставляют со всех сторон? Кто придумывал бы для него хитрости, чтобы прятаться, когда за ним гонятся облавой? Кто перевязывал бы его раны, когда охотники его ранят? Он такой упрямый, такой неосторожный! Если бы не я, он умер бы раз двадцать... Однако если б ты знал, как он дурно поступает со мной! Мы беспрестанно ссоримся; он думает только о себе... Говорю тебе,

это неблагодарный. Однако я его вскормил, я его воспитал, я могу почти сказать, что я ему отец!

– Но если этот волк такой злой, зачем ты его не бросишь?

– Не могу, – отвечал ликантроп тоном меланхолии, довольно странной в подобном случае, – у меня не хватает сил; мы так давно друзья! Прежде у меня были родные между людьми; мне кажется даже, что я встретил одного недавно... Но я так ненавижу людей! А так как все-таки надо же любить кого-нибудь... знаешь, я и привязался к нему. Не правда ли, как стыдно, что он поступает так нехорошо? Например, он теперь вышел, но скоро воротится, потому что я сейчас слышал на рубеже леса охотников, которые беспрестанно нас подстерегают; ну, ты увидишь, что он не принесет мне ни барана, ни зайца, ни кролика, как сделал бы всякий другой; зато он ужасно зол, потому что будет ранен ружейным выстрелом, или зубами собаки, или охотничьим ножом... И он еще не оправился от своей недавней раны! Надо будет его перевязывать, вынимать из него дробь, а он еще, пожалуй, станет кусаться; видишь ли, он часто совсем меня не щадит!

Когда угрюмый ликантроп выражал эти жалобы плачевным тоном, на глазах его были слезы. Это невероятное заблуждение человеческих чувств, по-видимому, вовсе не тронуло Фаржо, который продолжал с притворным равнодушием:

– Ты говоришь о баранах, зайцах и кроликах, волк; друг мой, разве вы питаетесь здесь только ими?

Жанно улыбнулся с таинственным видом.

– Не надо говорить, – отвечал он шепотом, – все охотники будут бросаться за мной, как бросаются за ним, а теперь дураки принимают меня за человека и оставляют в покое, когда встречаются со мной в лесу; не правда ли, как забавно, что они принимают меня за человека? Да, да, – продолжал он, – мы часто пожираем этих проклятых людей, но это не надо говорить... это секрет.

– Не ты ли, – сказал Фаржо, дрожа, – сожрал в Меркоарском лесу мою дочь, мою бедную Марион?

– Нет, не я, – отвечал сумасшедший, – это он... Я для шутки обещал ему твою дочку, но он не шутит, он принял это за серьезное, и я не мог с ним сладить.

– Надо было вырвать у него язык, выколоть глаза, позвать на помощь...

– Да, если бы я был человек, но мы, волки, действуем не таким образом, ты это знаешь.

– По крайней мере, надо было разбудить меня, – закричал Фаржо с энергией, забыв всякую осторожность, – меня, несчастного отца, который спал пьяный, между тем как эта адская скотина пожирала мою дочь!.. Но я отомщу за этого милого невинного ребенка, которого я делал таким несчастным, когда он был жив!.. Да, я не выйду отсюда, пока она не будет отмщена. Зови же это гнусное животное, которое отняло от меня мою милую Марион! Где он? Я его жду; почему он не приходит?

Может быть, ликантроп не совсем ясно понял эти слова, но тень подозрения начинала распространяться по его одурелым чертам. Фаржо не тревожился этим и встал с видом вызова.

Вдруг, как будто судьба хотела исполнить его горячее желание, в кустах, закрывавших вход в грот, послышался шелест. Огромный зверь крался сквозь листья; но остановился с первых шагов и начал ворчать, как будто новый предмет возбудил его недоверчивость и гнев. Его странный силуэт отделился от светлого отверстия пещеры, а глаза сверкали как огонь. Волнение Фаржо вдруг исчезло, он оставался неподвижен и безмолвен. Напротив, сумасшедший, по-видимому, забыл все остальное и, ползя на четвереньках к зверю, сказал веселым тоном:

– Ну, беглец, откуда ты? Не поймал ли чего-нибудь? Ты такой веселый и добрый, как будто на свете охотников и не бывало. Я бьюсь об заклад, что ты ложишься на снег, чтобы освежить твою последнюю рану! Это удивительно, как снег полезен тебе... Но зачем же ты ворчишь и поднимаешь шерсть? Тот, кого ты видишь, друг, такой же волк, как мы... Ну, входи, говорю тебе, не бойся ничего.

Несмотря на это приглашение, свирепый зверь не двигался, и его огненные глаза как будто освещали внутренность грота. Между тем Фаржо мало-помалу оправлялся от своего испуга; гнев и жажда мщения преодолели его первое впечатление. Он украдкой взял по пистолету в каждую руку.

– Жанно, – пролепетал он, – это – то чудовище, которое... это жеводанский зверь?

Не дожидаясь ответа, он прицелился в свирепого зверя. Но Жанно, преодолев страх, который обыкновенно внушал ему вид

огнестрельного оружия, бросился на лесничего, и, когда пистолет выстрелил, пуля ударила в стену грота. Зверь казался более раздражен, чем испуган выстрелом, его глухое ворчание превратилось в страшный вой, он бросился вперед – или для того, чтобы защитить своего товарища, или для того, чтобы отомстить за себя. Сумасшедший все цеплялся за Фаржо и не допускал его выстрелить из второго пистолета.

– Ко мне, волк, – кричал он хриплым голосом, – нам изменили!.. Это не волк, это человек, это охотник. У него есть маленькие ружья... Отомстим! Надо его разорвать на куски!

Пещера была полна дыма, и ничего не было видно; впотьмах происходила страшная борьба. Фаржо чувствовал, как в его тело вонзаются страшные клыки. Был это зверь или Жанно, он не знал, но сопротивлялся изо всех сил, и, так как он был силен, его нельзя было опрокинуть. Он направлялся к выходу из грота, несмотря на усилия его врагов, и кричал:

– Помогите!.. Охотники, ко мне!.. Зверь здесь! Здесь и Жанно! Они здесь!.. Помогите мне!

Однако было сомнительно, чтобы Фаржо, покрытый ранами, теряя кровь, мог освободиться от своих врагов. Инстинкт самосохранения, потребность мщенья внушили ему способ в эту ужасную минуту. У него был еще пистолет, но рука, державшая его, была сжата. Палец его, однако, прижал курок, и выстрел раздался. Пуля, как и в первый раз, не попала ни в кого, но порох обжег волка, который на минуту выпустил свою добычу. Фаржо почувствовал, что одна из его ног вдруг освободилась от тисков; он воспользовался этим, чтобы освободиться от ликантропа, который, ведя такой образ жизни, не мог быть очень опасен, и выбежал из грота, продолжая кричать. Однако опасность еще не прошла для него: он находился на площадке, а под ним расстилался колючий непроходимый лес, где его враги непременно должны были его настигнуть, а над ним возвышалась голая отвесная скала. Однако обстоятельства не оставляли ему времени для продолжительных размышлений. Человек и волк жаждали возобновить борьбу. Тогда Фаржо приметил выступ скалы под каскадом. Во всякое другое время он отступил бы перед затруднениями на этом единственном пути спасения, но его побуждала необходимость, он отважился вступить на карниз. Едва он сделал

несколько шагов, как заметил под сводом, образуемым водопадом, Леоне, который шел к нему со своей собакой.

– Помогите, помогите! – кричал несчастный лесничий, силы которого истощились, и он упал на сырую скалу.

Но помощь явилась слишком поздно. Фаржо лежал неподвижно на краю пропасти, когда тяжелое тело бросилось на него; это был Жанно, который догнал его и сжимал с новой яростью. За ним жеводанский зверь показал свою огромную голову.

Отчаянная мысль оживила лесничего. Вместо того чтобы оттолкнуть ликантропа, который бешено его грыз, он обнял его одной рукой, а другой старался схватить хищного зверя. Он действительно успел схватить ногу чудовища и старался увлечь обоих своих врагов в бездну.

– А! – хрипел он прерывающимся голосом, – мы сдохнем все вместе – и дочь моя будет отмщена!

Но те поняли его намерение и старались удержаться на узком выступе, на котором происходила борьба. Могучее усилие волка, сломавшего зубами руку несчастного Фаржо, освободило зверя. Зато лесничий крепко ухватился за Жанно; тот напрасно усиливался уцепиться за скалу, сырую поверхность которой раздирали его крепкие ногти. Вдруг земли не хватило под ними, они оставались несколько секунд, сцепившись друг с другом, вися над бездной, но скоро ликантроп ослабел и вдруг выпустил добычу; оба упали в пропасть и исчезли в бурной пене каскада. Эти происшествия, борьба и катастрофа произошли гораздо скорее, чем мы могли их рассказать.

В эту минуту подошел Леоне в сопровождении верного Кастора, за ним шел издали барон Ларош-Буассо, гораздо осторожнее ступавший по этой вероломной покатости. Леоне видел с другой стороны потока двух человек, с ожесточением бросавшихся друг на друга, но, занятый своей безопасностью, он не мог пристально наблюдать за ними. Когда он дошел до того места, где они находились за несколько минут перед тем, он не удивился, что не видит их более. Он думал, что они закрыты каким-нибудь возвышением или кустами. Притом, одно важное обстоятельство сейчас привлекло все его внимание: в нескольких шагах от него огромный волк наклонился над бездной и смотрел в нее с жалобным воем.

Можно легко понять, что у Леоне не достало присутствия духа. Он колебался узнать в этом животном, который вдруг представился его глазам, того страшного жеводанского зверя, за смерть которого назначалась такая великолепная награда. Может быть, также волнение, неизбежное во всяком охотнике-новичке, способствовало его бездействию. Однако он скоро возвратил свое хладнокровие.

«Это он! – думал он, – непременно он!»

Он прицелился из карабина. Но и зверь, зоркость которого отвлекло необыкновенное обстоятельство, почуял врага. Он повернул голову и бросил на неподвижного Леоне тот страшный взгляд, блеск которого не многие могли выдержать; потом, перестав выть, он бросился по травянистому склону в лес, где должен был найти верное убежище. Леоне все целился в него; к несчастью, зверь укрывался за кустарниками и неровностями почвы с ловкостью, которой он, без сомнения, был обязан продолжительной опытности. Охотник не мог стрелять с надеждой на успех, и волк находился уже довольно далеко, на самом рубеже леса, когда Леоне спустил курок. Пуля провела борозду по непроницаемой шкуре животного, волк заворчал и опять бросил страшный взгляд на молодого охотника, однако он исчез в кустарнике. Кастор видел зверя и преследовал его с жаром.

– Я попал в него, я в этом уверен! – кричал Леоне, дрожа от волнения.

– Вы в него попали, но не убили, – насмешливым тоном возразил Ларош-Буассо, который подошел в свою очередь, – пуля только обожгла его густую шерсть. Однако, соображая расстояние и затруднение стрельбы, можно сказать, что этот выстрел – совершенство... Черт побери! Какая у вас неустрашимость, какой жар, молодой человек! И какая твердость в ногах! Вы прыгаете, как газель, среди скал и пропастей. Если бы к этому не примешалось самолюбие, я сам не осмелился бы следовать за вами.

Но Леоне не слушал этих иронических комплиментов.

– Я в него попал, – повторял он в чрезвычайном волнении, – он теперь ранен и не может устоять перед Кастором. Я пойду в лес поддержать мою собаку и может быть...

– Вы пойдете в лес? – возразил барон, пожимая плечами. – Как же вы будете защищаться, если зверь на вас нападет? Конечно, ваша собака сильна и смела, но вы сейчас увидите, что с ней случится!

– Это все равно, я хочу пойти в лес.

– Как вам угодно, – беззаботно сказал барон, – но поверьте мне, не ходите туда, не зарядив вашего карабина.

На этот раз Леоне понял, что Ларош-Буассо прав, и, несмотря на свое нетерпение, стал заряжать свой карабин. Пока он занимался поспешно этим делом, болезненный вой слышался в лесу, и Кастор перелетел через кустарник, переброшенный, вероятно, волком.

– Я вам говорил, – продолжал барон, смеясь, – ваша собака получила отставку... Зверь не пугается подобных врагов, и бедная собака явится к вам в весьма плачевном состоянии... А теперь, когда наш храбрый волк освободился от своего врага, он скоро скроется подальше и не захочет изменить своей репутации осторожного зверя! Едва он кончил говорить, как волк, как бы желая подтвердить все предвидения опытного охотника, вышел из леса с противоположной стороны долины и проворно пробрался в соседнее ущелье.

– Ну что, вы еще сомневаетесь? – сказал Ларош-Буассо смущенному Леоне. – Наш молодец убрался подобру-поздорову, хотя вы немножко испортили его шубу. Не удалось вам, мосье Леоне... Но, право, я вас считаю теперь способным наверстать потерянное. Черт побери! Как вы охотитесь за волком, хотя вы мирный воспитанник Фронтенакского аббатства!

Леоне с отчаянием ударил себя по лбу.

– Он бежит, он бежит! – говорил он с гневом на самого себя. – А между тем он был здесь передо мной, и я мог бы... Но я пушусь за ним в погоню, – продолжал он с волнением, – я буду преследовать его по следам, которые должны быть очень заметны на снегу.

– В таком случае вы пойдете за ним один, потому что ваша бедная собака не в состоянии провожать вас, – сказал барон. – Послушайте меня, мосье Леоне, не торопитесь гнаться за этим сильным зверем; если судить по его ухваткам, он остановится не раньше, как лье за тридцать отсюда... Притом человеколюбие предписывает вам не оставлять нас. Посмотрите, вон бедного Легри вытаскивают из пропасти, и мне приятно думать, что по милости ветвей, на которые он упал, у него не переломаны ребра... Но я боюсь, мосье Леоне, что нам остается оплакивать не одно это несчастье... Приближаясь сюда, вы, вероятно, видели двух человек, боровшихся на том месте, где мы находимся теперь; не подозреваете ли вы, что случилось с ними?

Леоне, поглощенный до этой минуты волнениями охоты, как бы опомнился от сна.

– В самом деле, – сказал он, задрожав, – они находились здесь сейчас, и я не могу понять... Вы знаете этих людей, барон?

– По всей вероятности, один был Фаржо, бывший меркоарский лесничий, а другой – несчастный сумасшедший, Зубастый Жанно... Мне очень интересно знать, что случилось с ними.

– Будем их искать. Право, это внезапное исчезновение объяснить нельзя иначе, как несчастием.

Позвали горцев, решившихся отважиться сойти по опасному выступу, и начали осматривать местность. Осмотрели грот, где нашли пистолеты, пошли за следами крови Фаржо до того места, где происходила окончательная борьба. Там барон с точностью опытного охотника изучил местность и без труда узнал, что случилось. Но, напрасно измерял он взором дно бездны, там виднелись только черные скалы и пена.

– Кто бы ни были эти люди, – с жаром сказал Леоне, – мы ничем не должны пренебречь, чтобы спасти их, если они не погибли, или, по крайней мере, отыскать их тела, чтобы похоронить их по христианскому обряду... Я отказываюсь от преследования жеводанского зверя; я после отыщу его след... А пока, барон, располагайте мной и моими людьми.

Ларош-Буассо принял с дружелюбным видом эти великодушные предложения, хотя его насмешливая улыбка обнаруживала тайную мысль. Через несколько минут все разошлись, чтоб спуститься в пропасть различными путями. Легри горцы уже вытащили из пропасти, и, кроме ушибов, принудивших его не вставать с постели несколько дней, его падение не должно было иметь неприятных последствий.

Глава двадцать вторая

К концу того же дня барон и Леоне с охотниками и горцами возвращались, истощенные усталостью, на ферму Красный Холм. Их деятельные и опасные поиски были бесполезны. Напрасно с величайшей опасностью обыскали впадины и кусты у подножия каскада: тела Фаржо и ликантропа не нашлись. Однако нельзя было сомневаться, что оба эти несчастных погибли; и действительно, через несколько месяцев после этих происшествий один пастух нашел в потоке, очень далеко от водопада, два отвратительных скелета, все еще так крепко сцепившиеся, что их разделили с трудом.

Приближалась ночь; снег падал густыми хлопьями, но без ветра. Это обстоятельство делало невозможным исполнение плана Леоне немедленно преследовать волка. Новый снег должен был скрыть его следы. Притом приближалась ночь, и молодой человек, несмотря на свое мужество и силу, устал до крайности в этот день, исполненный стольких событий, и с трудом добрался до фермы, где должен был найти своих людей.

Леоне и барон шли рядом, немного позади других. Вежливость самая изящная, если не очень дружелюбная, не переставала господствовать между ними, несмотря на их скрытое соперничество. Племянник приора по расчету и по характеру не хотел дать себя победить в этой борьбе за вежливость и старался, чтобы никакой намек на прошлое не мог оскорбить спутника, навязанного ему необходимостью. Однако, может быть, втайне он с нетерпением желал вернуть себе свободу действий.

Ларош-Буассо, наговорив ему комплиментов, все несколько иронических, о его энергии, ловкости, усердии в поисках несчастных, вдруг сделался озабочен. Леоне, в свою очередь, сказал ему вежливо:

– Вы, кажется, огорчены, барон... надеюсь, однако, что состояние вашего друга не имеет ничего опасного, и что мы получим удовлетворительные сведения о нем.

– Легри не друг мне, – презрительно сказал барон, – это сын одного из моих поверенных, и поэтому я захотел продвинуть его в свете. Его ушибы не опасны, но я думал, мосье Леоне, что вам

известно, как для меня важно найти здоровыми и невредимыми этих двух бедняков, которые исчезли как дым.

– Один из них, если я не ошибаюсь, был долго в службе графини де Баржак, перешел на службу к вам, а о другом говорят как об опасном сумасшедшем...

– Возможно ли? – перебил барон, пристально смотря на Леоне. – Как! Вам неизвестно, какой сильный интерес должен принимать я и вы сами к участи этих двух человек?

– Я? Я совсем их не знал, и одно человеколюбие...

– Когда вы с таким жаром отыскивали сейчас этих несчастных, которые могли быть только ушиблены, я приписывал ваше усердие чувствам другого рода, например, желанию обнаружить истину в деле, которое касается вас столько же, как и меня, хотя совершенно различным образом.

– Клянусь моей душой, я вас не понимаю.

– Мне кажется, однако, невозможно, чтобы вы, воспитанник фронтенакских аббатов и племянник их приора, не знали уголовного процесса, который я веду против аббатства и лично против вашего дяди по поводу исчезновения молодого виконта де Варина, моего родственника... Бывший меркоарский лесничий и Жанно были единственными свидетелями, на которых я мог сослаться в подкрепление фактов, выставляемых мной, и смерть их, может быть, повлечет за собой уничтожение моих притязаний. Стало быть, это происшествие очень счастливо для ваших друзей, и вы можете их поздравить.

Бедный Леоне напрасно старался понять эти слова, вероломно рассчитанные, может быть, на то, чтобы его мучить.

– Это загадка для меня, – сказал он. – Я слышал о ваших прежних правах на поместья Варина, но эти права давно уничтожены, и их нельзя уже возобновить.

Ларош-Буассо принял серьезный вид.

– Может быть, вы имеете благородные причины для того, чтобы выказывать притворное неведение того, что известно всем, и не мое дело отыскивать эти причины. Однако вы признаетесь, что вам известен проезд архиепископа аленского в Фронтенакское аббатство, интердикт, наложенный на все аббатство, и, наконец, заключение в келью... одной особы, весьма близкой к вам?

На этот раз Леоне смутно увидел ужасную истину.

– Постойте! – сказал он с волнением. – Я действительно помню, что в тот день, когда я уезжал из аббатства, туда приехало какое-то духовное лицо... Потом угрюмые физиономии монахов, очевидное беспокойство моего дяди, а в особенности его желание, чтобы я уехал поскорее... О! Ради бога, барон, – продолжал он умоляющим тоном, – не скрывайте от меня ничего; какие причины могли заставить епископа так строго обойтись с добрыми отцами, а особенно с моим возлюбленным дядей... вы, без сомнения, говорили о нем?

– Я уже, может быть, и то слишком много сказал, – отвечал Ларош-Буассо с лицемерным вздохом, – мне не хотелось бы вас огорчать, мосье Леоне, потому что вы действительно славный молодой человек, и я не распространяю на вас мою законную ненависть к этим презренным монахам... Оставим этот предмет, он неприятен для обоих нас. Смерть моих двух свидетелей, вероятно, переменит дело; обвинение, недостаточно доказанное, падет само по себе, и меня же, может быть, обвинят в клевете... Увидим!

– Барон, – продолжал Леоне, с возрастающей тоской, – я не могу судить вас, но умоляю рассказать мне происшествия, случившиеся в Фронтенаке после моего отъезда.

– Я предпочел бы, чтобы кто-нибудь другой рассказал вам эти подробности, – возразил Ларош-Буассо тоном отвращения, искусно разыгранного, – но если я вас оскорблю, вспомните, что вы принудили меня к этим открытиям... Узнайте же, что фронтенакских монахов обвиняют в убийстве моего молодого родственника виконта де Варина, чтобы захватить его богатое наследство.

Леоне был испуган важностью этого обвинения, однако пробормотал:

– Подобное обвинение невероятно, и оно так нелепо...

– Вы свободны думать таким образом, однако оно опирается на многочисленные улики, и, без сомнения, оно показалось нелепо не всем, потому что король счел за нужное послать знаменитого прелата начать следствие в аббатстве, и королевский посланный, после собранных сведений, наложил интердикт на монастырь и осудил приора на строгое заточение.

– Неужели, – спросил Леоне задыхающимся голосом, – мой дядя замешан в этом деле?

– Скрывать от вас было бы бесполезно, что фронтенакский приор компрометирован весьма сильно. Он, по-видимому, был главным виновником смерти молодого виконта де Варина; и как в этом сомневаться, когда Жанно, один из погибших несчастных, встретил отца Бонавантюра переодетым возле замка Варина за несколько минут до трагической кончины бедного малютки?

– Это неправда, это неправда! – вскричал Леоне, бледнея, но с чрезвычайной энергией. – Добрый, мудрый, великодушный приор виновен в подобном преступлении? Это нелепо, говорю я вам! Ваша ненависть против всех фронтенакских монахов, и особенно против моего уважаемого дяди, должна была совершенно ослепить вас, чтобы заставить верить подобным гнусностям!

Это горячее возражение не могло не возбудить гнев Ларош-Буассо, но он сдержался и продолжал снисходительным тоном:

– Я не стану сердиться за некоторые не совсем сдержанные слова, вырвавшиеся у вас; весьма естественно, что вы защищаете близкого родственника, который вас кормил и воспитал, будь он виновен в глазах всего света. Впрочем, вы, может быть, скоро одержите верх; я вам говорил, что невозможность представить двух важных свидетелей переменит, может быть, дело, и аббаты, не имеющие недостатка ни в искусстве, ни в связях, выйдут белы как снег... хотя я еще не признаю себя побежденным.

Эти последние слова были произнесены угрожающим тоном, потому что Ларош-Буассо, преследуя свою жестокую мысль – мучить племянника приора, не мог не обнаружить своих истинных впечатлений. Впрочем, он скоро успел в своем тайном намерении; несчастный Леоне был уничтожен этими ужасными открытиями. Однако он вдруг поднял голову.

– Барон, – сказал он с жаром, – я думаю и уверяю, что это обвинение фальшиво, ложно, клевета... И когда правосудие решит дело, я надеюсь в свою очередь потребовать отчета у клеветника!

Он бросился бежать, чтобы догнать группу, шедшую впереди, между тем как Ларош-Буассо улыбался с видом удовлетворенного мщения.

Приближались к ферме, строения которой виднелись издали в вечернем тумане. Как только показались охотники, какой-то человек

вышел из дома и побежал навстречу. Это был Лабранш, доверенный слуга Ларош-Буассо. Он поспешно сказал своему господину:

– К вам есть письма, барон; их принес конюх мадам Ришар; этот бедный малый гонится по нашим следам уже два дня и с трудом нас нашел. Зная, с каким нетерпением вы желаете иметь известия, я поспешил...

– Очень хорошо, Лабранш; за твое внимание ты получишь луидор, сразу как я буду при деньгах... Но где же эти письма?

– Посланный хочет вам отдать в собственные руки. Одно из Флорака, другое из Меркоара.

– Из Меркоара? – повторил Ларош-Буассо с удивлением. – Кто может отсюда мне писать? А другое, верно, от отца Легри, моего поверенного, и должно быть, он сообщает мне важные вещи... посмотрим скорее!

Он удвоил шаги и скоро очутился рядом с Леоне, который шел мрачный и печальный, опустив голову, с глазами влажными от слез. Он подошел к нему с притворным сочувствием к его горестям; молодой человек отвернулся.

– Вы на меня сердитесь, – продолжал барон тоном дружеского упрека, – а между тем я не дал вам повода сердиться на меня. Послушайте, сейчас вы сомневались в некоторых фактах, сообщенных мной вам, и я хочу доказать их справедливость. Мне сказали, что ко мне присланы письма из Флорака и Меркоара, согласитесь остановиться на несколько минут на этой ферме, и я сообщу вам содержание этой корреспонденции, которая, вероятно, относится к этим событиям. Или я ошибаюсь, или вы найдете в ней доказательства того, что слова мои справедливы.

Леоне не имел недостатка в причинах, чтоб подозревать внезапное расположение и неограниченное доверие, которое показывал к нему Ларош-Буассо. Однако он чувствовал горячее желание узнать полученные известия; особенно письмо из Меркоара подстрекало его любопытство, потому что в нем наверняка говорилось о Кристине де Баржак, с которой он давно уже был в разлуке. После короткой нерешимости он отвечал задыхающимся голосом:

– Хорошо, барон, я выслушаю известия, которые вы сообщите мне. Однако Бог мне свидетель, что я с радостью отдам мою жизнь, чтобы приобрести уверенность, что вы обманули меня.

Они дошли до фермы. Мартен и другие горцы не захотели войти к Фереоллю, сделавшемуся их врагом; они предпочли ждать Леоне у дверей на вечернем холоде и на снегу. Фереоль, со своей стороны, не приглашал их отдыхать у своего очага и бросал на них мрачные взгляды. С тех пор как он узнал о трагическом результате предприятия, то есть о смерти своего родственника Жанно, его мучило тайное угрызение, но будучи слишком горд, чтобы сознаться в своей ошибке, и не смея сердиться на барона – первую причину этого несчастья, – он возымел смертельную вражду к Мартену, его соседу и ровне. Это дело, тотчас после отъезда посторонних, должно было сделаться началом продолжительной и ожесточенной ссоры, где ножи и ружья должны были играть кровавую роль.

Главная комната мызы была уже освещена. У огня грелся гонец. На большой кровати, занимавшей угол комнаты, лежал Легри, обложенный компрессами. Фермерша и ее дочь суетились около раненого. Сильный запах лекарств показывал, что все домашние рецепты против ушибов были уже употреблены.

Ларош-Буассо прямо подошел к гонцу, который при виде его поспешил встать и отдал ему письма. Барон схватил их с жадностью и хотел читать, когда Легри, приподнявшись на локте, сказал плачевным тоном:

– Ах, любезный барон, вот и вы, наконец! Жеводанский зверь убит?

Ларош-Буассо не отвечал и распечатал одно письмо. Вдруг он радостно вскрикнул.

– Победа! – сказал он, махая письмом. – Я не смел ожидать подобного результата... Поздравляйте меня все... Я теперь граф и владелец Варина!

Присутствующие смотрели на него с удивлением.

– Что вы говорите, барон? – спросил Легри. – Если это будет, я вас знаю, вы безжалостно бросите меня!

Ларош-Буассо обернулся к Леоне.

– Вы просите доказательств, – сказал он, – пойдете со мной. Он взял лампу со стола и увлек племянника приора в смежную комнату, где они были избавлены от докучливого любопытства.

– Читайте, – сказал он со злобной радостью, подавая Леоне распечатанное письмо.

Это письмо было из Флорака от отца Легри, поверенного Ларош-Буассо. Оно заключалось в следующем:

«Барон, наше дело идет прекрасно. Вам уже не нужно гоняться по горам и по долам за этим Зубастым Жанно, свидетельство которого притом мало послужило бы вам в пользу, потому что он был помешан; даже в уверениях Фаржо мы не имеем теперь надобности, потому что приор, наш самый опасный противник, во всем признался аленскому епископу. Я не говорил бы, что хитрый Бонавантюр мог сделать подобное признание, если бы епископ, с которым я виделся по вашему делу, сам не уверил меня в этом.

Вы, вероятно, легко угадаете, барон, последствия этого нового обстоятельства. Епископ, убежденный в виновности фронтенакских монахов, готов отдать вам поместье Варина, как только я доставлю доказательства, что вы самый близкий родственник и прямой наследник покойного графа и маленького виконта. Я занимаюсь отыскиванием документов, которые должны находиться в ваших фамильных бумагах, и скоро доставлю их в законной форме. Однако ваше присутствие здесь может быть для нас необходимо, и, если вы можете остаться с нами несколько дней, я не сомневаюсь, что ваши интересы выиграли бы при этом.

Пока королевский комиссар еще сильно раздражен против фронтенакских монахов и круто обходится с ними. Вы угадываете, что здесь идет много толков, но думают, что для чести духовенства оправдают настоятеля и братии, все наказание падет на приора, который действительно виновнее всех в этом деле, и он, вероятно, будет без огласки заперт в подземную тюрьму, которые всегда есть в монастырях...»

Остальное в этом письме состояло из подробностей, уже известных слушателю, и разных советов сыну Легри. Пусть судят о горе Леоне! Никакое сомнение не было более возможно, приор признался в своем преступлении, и прелат, которому было поручено следствие, был убежден в его виновности. Бедный молодой человек выронил роковую бумагу и, рыдая, закрыл руками лицо.

Между тем барон распечатал письмо из Меркоара и быстро пробежал его. Без сомнения, содержание было не столь серьезно, потому что Ларош-Буассо громко смеялся, когда горе, которое Леоне не мог сдержать, отвлекло его внимание от письма.

– Мужайтесь, друг мой, – продолжал он слащавым тоном, – быть принужденным ненавидеть, презирать человека, который вас воспитал, который умел внушить вам и любовь и уважение, это жестоко, я сознаюсь... однако не приходите в отчаяние. Епископ аленский не захочет заводить этого дела слишком далеко; я, со своей стороны, если спокойно войду во владение моим фамильным имуществом, не стану строго преследовать этого дела. Оно уже так старо, что я могу отказаться от многих пунктов, и, если сказать правду, мосье Леоне, расположение, которое я чувствую к вам, конечно, расположит меня к милосердию.

Эти утешения, если бы они даже были искренни, произвели на Леоне действие совершенно противоположное тому, которое барон, по видимому, ожидал.

– Что за нужда до наказания? – возразил племянник приора с отчаянием. – Меня занимает только преступление, одно преступление... Но чем более я думаю об этом, – продолжал он, одушевляясь, – тем более мне кажется, что это преступление гнусное, возмутительное, ужасное, совершенно невозможное! Наружность обманывает, улики ложны, все ошибаются. Тут есть какое-то недоразумение, тайна, которая объяснится, может быть, впоследствии, я твердо в этом убежден.

– Оставим этот предмет, огорчающий вас. Вы свободны считать действительностью предположения, которые могут быть вам приятны... Чтобы развлечь вас от этих мыслей, не хотите ли взглянуть на письмо, которое я получил из Меркоара? Оно очень забавно, уверяю вас.

– Из Меркоара? – возразил Леоне, забывший об этом обстоятельстве.

– Да, прочтите: в нем не содержится ничего такого, что вы ожидаете, может быть, но оно вас развлечет, я надеюсь.

Это второе письмо было подписано кавалером де Меньяком, и слог вполне характеризовал его.

«Барон, – писал почетный конюший Кристины де Баржак: я слышал, что вы взяли к себе бывшего меркоарского лесничего по имени Фаржо. А так как вы не заблагорассудили в этом деле спросить согласия моей благородной госпожи, знатной и могущественной девицы Кристины де Баржак, графини Меркоарской, я, Антоан Леонар,

кавалер де Меньяк, почетный конюший вышесказанной девицы утверждаю, что вы поступили не как дворянин. Если вы не согласны со мной, барон, я вас попрошу назначить мне как можно скорее место, куда я поспешу явиться со скромным другом, и мы кончим этот спор, как прилично людям благородного происхождения.

Вы, может быть, подумаете, что причина этой ссоры довольно ничтожна, и что, вызывая вас на поединок, я вспоминаю какие-нибудь прежние и более серьезные вины; нет, барон. В вашем кратковременном пребывании в замке Меркоар вы не изменили обязанностям, налагаемым на вас гостеприимством, и если какие-нибудь глупые люди осмелятся уверять противное, я думаю, что вы, так же как и я, барон, будете готовы заставить их молчать. В надежде скорого ответа, остаюсь, барон, и проч...

Антоан кавалер де Меньяк».

Это странное послание, испещренное орфографическими ошибками, кончилось постскриптумом следующего содержания:

«Меня уверили, что вам помогал в этом невежливом поступке Легри, ваш друг. Так как не нужно щадить подобную ничтожность, то я прошу вас, барон, передать господину Легри, что я отдую его палками повсюду, где найду».

Прочтя это письмо, Леоне оставался задумчив.

– Что вы скажете о вызове этого оригинала? – спросил Ларош-Буассо, громко смеясь.

– Кавалер не говорит о Кристине, – рассеянно прошептал Леоне.

Но тотчас, стыдясь, что громко выразил свою мысль, он прибавил с усилием:

– Вы имеете намерение отвечать на вызов де Меньяка?

– Я? Фи! Стану я драться с шутком, с дураком. Я сделаюсь так же смешен, как и он. Притом у меня есть другие дела; вы видите, что мойстряпчий находит мое присутствие необходимым. Я уеду завтра утром в Флорак... Я буду, таким образом, принужден оставить здесь бедного Легри в ожидании того, пока его отдует палками доблестный кавалер. А вы, мосье Леоне, разве не намерены отправиться в Фронтенак? Мы могли бы ехать вместе.

Несмотря на наружную благосклонность барона, Леоне заметил, наконец, что каждая минута с ним приносила ему новую муку. Он встал.

– Я не знаю еще, что я сделаю, – сказал он с расстроенным видом, – я имею причины думать, что мой бедный дядя, удалив меня так поспешно, хотел скрыть от меня свое унижение, и, может быть, мое присутствие увеличит его огорчение. Благодарю за ваше предложение, барон, я не принимаю его... Мы должны теперь расстаться, и без сомнения – надолго, потому что пути наши не одинаковы.

– Как вам угодно, – отвечал Ларош-Буассо с насмешливой улыбкой, вставая в свою очередь. – Я вижу, мосье Леоне, что награда, обещанная счастливому охотнику, который убьет жеводанского зверя, занимает вас еще более, чем участь вашего возлюбленного дяди. Поезжайте же и не теряйте мужества! Но не надейтесь, что мы не встретимся, несмотря на разность наших путей; я думаю, напротив, что вы найдете меня еще на вашей дороге. Прощайте!

Они обменялись поклонами, ироническим с одной стороны, холодным – с другой, и Леоне вышел. Через несколько минут он удалялся от фермы со своими людьми.

Глава двадцать третья

Зима свирепствовала в Жеводанских горах, в особенности же в окрестностях Меркоара. Не потому, чтобы холод достигал чрезмерной степени суровости, как в некоторые годы, а именно в 1709 году, оставившем такие ужасные воспоминания во всей Франции, но беспрестанные резкие переходы от дождя к морозу и наоборот, бури, вскрытия рек и оттепели совершенно изменили вид страны и затруднили до крайности сообщения. К довершению несчастья множество волков, которых голод делал лютыми, наносили значительный вред в этой части провинции, и более всех жеводанский зверь, недавно возвратившийся в меркоарские леса – он к ним как бы имел предпочтение, – снова принялся за жестокие опустошения.

Понятно, что при подобных обстоятельствах в замке не могло быть большого числа посетителей, а следовательно, ничто в нем теперь не нарушало глубокой тишины. С самого начала зимы он принял вид пустынный и унылый; ставни оставались закрытыми, снег лежал сугробами во дворах, хищные птицы вили гнезда в его трещинах; можно было предположить, что он необитаем. Одинокие охотники, которых необходимость вынудила искать в нем гостеприимства на одну ночь, приняты были кавалером де Меньяком от имени хозяйки с щепетильной учтивостью, но уехали, не увидев самой владельницы замка. Кристина, некогда постоянно деятельная и в движении, которую ежеминутно встречали скачущей верхом вдоль аллеи въезда или по длинным просекам леса, почти не выходила из части здания, ею занимаемой, и ограничивалась непродолжительными прогулками по саду.

В мрачный день января месяца мадмуазель де Баржак сидела в гостиной замка с сестрой Маглоар и кавалером де Меньяком. Хотя в массивном камине сгорал почти целый ствол дерева, порой в обширной комнате ощущался леденящий холод. Занавеси у окон, совершенно раскрытые, чтобы не заслонять света, давали возможность видеть низкое серое небо, тучи странных очертаний, которые тяжело тянулись по склонам гор, и обнаженные старые деревья, уродливые

остовы леса. Сильный ветер завывал вокруг замка, и мелкий дождь стучал в стекла резким и равномерным стуком.

Кристина и сестра Маглоар сидели друг против друга за рабочим столом, на котором лежали рубашки, чепчики из толстого холста и другая одежда, предназначенная бедным детям деревни. Монахиня нашла рукоделие лучшим способом, чтобы наполнить ничем не занятое время молодой хозяйки, и Кристина тем охотнее согласилась на ее желание, что она могла свободно предаваться своим тайным мыслям, в то время как работала иглой для бедных сирот в ее поместье. Итак, неутомимые швеи много наработали в течение длинных дней, и еще более длинных вечеров этой скучной зимы, а в окрестных хижинах за то благодарили Бога.

Наружность Кристины изменилась с некоторых пор не менее ее нрава. Прежняя смуглая и сильная молодая девушка не существовала более, загар сошел с ее лица одновременно со здоровым румянцем. Зато бледность и некоторая худоба придавали ее чертам чрезвычайное изящество. Выражение ее лица было задумчиво и грустно, хотя ее кроткие черные бархатные глаза по временам вспыхивали ярким блеском, который мгновенно потухал. Щеголеватость ее Туалета также составляла разительную противоположность с ее прежним равнодушием к нарядам. В своем пустынном замке она причесана была с пудрой, по всем требованиям моды; ее дорогое шелковое платье на фижмах оставляло открытыми руки, окруженные облаками кружев. И при всем том она имела вид грустный и унылый; в ней проглядывало какое-то болезненное настроение духа, изобличавшее у богатой молодой красавицы тайные страдания сердца.

Однако в ту минуту, когда мы находим Кристину де Баржак в гостиной ее замка, лицо ее как бы приняло опять прежнее свое оживление, ту страстную живость, которая его отличала некогда. Она только что прервала свою работу и с поднятою иглою слушала, нахмутив брови, важные известия, сообщаемые ей ее почетным конюшим. Кавалер де Меньяк стоял перед нею навтыжку, приложив одну руку к боку, а другой, перебирая свое жабо, и с беспокойством замечал эти признаки раздражения, давно уже не выказываемого его молодой госпожой. Он, быть может, и раскаивался в откровенности, которая произвела на мадмуазель де Баржак такое сильное

впечатление, хотя его добросовестная правдивость и гордость не позволяли ему более опровергнуть сказанное.

– Повторяю вам, кавалер, – сказала Кристина тоном, который заставил вздрогнуть сестру Маглоар, – это один из тех нелепых рассказов, которые вам передают люди, и которым вы всегда придаете веру. Повторяю вам, это невозможно, а если бы это было... – она залилась слезами и проговорила сквозь рыдания, – я умерла бы с горя!

При виде слез мадмуазель де Баржак сестра Маглоар испытала чувство к такой святой особе наиболее подходящее на гнев. Она отбросила свое шитье и сказала довольно резко:

– Господи Иисусе Христе! О чем вы думаете, мосье де Меньяк? Очень вам было нужно прийти рассказывать этот вздор нашей дорогой мадмуазель де Баржак. Над вами посмеялись, и вы могли бы избавить себя от труда повторить ей эту нелепицу.

Она обняла Кристину и стала ее утешать с величайшей нежностью. Но некоторые выражения, ею употребленные, оскорбили щекотливого дворянина. Он закинул назад голову и произнес напыщенным тоном:

– Вздор, сестра Маглоар! Нелепица, говорите вы! Черт возьми! Ваше счастье, что вы женщина и вдобавок еще монахиня... однако знайте, поймите и убедитесь, раз и навсегда, что надо мной смеяться нельзя, слышите ли – нельзя. А если бы кто-нибудь осмелился это попробовать, будь он простолюдин или крови дворянской, у меня есть шпага, чтобы требовать удовлетворения от дворянина, и палка, чтобы наказать дерзкого простолюдина. Потрудитесь этого не забывать, любезная сестра!

К сожалению, эта прекрасная речь пропала даром; обе женщины, исключительно занятые своим горем, вовсе не думали о бедном де Меньяке, которого сумасбродство относительно взгляда на честь, несмотря на его отличные свойства вообще, им известно было с давних пор. Однако кавалер, довольный собой, не счел нужным сохранять свою воинственную позу, когда Кристина, высвободившись из объятий своей воспитательницы, продолжала тоном уже более спокойным:

– Простите мне, мои добрые друзья; отвергая возможность опасности, ее не уменьшаешь. Потрудитесь, мосье де Меньяк, повторить мне эту важную новость, которая должна бы меня радовать,

однако повергает в ужас. Действительно ли правда, что жеводанский зверь убит вчера вечером в Лабейсерском лесу, в трех лье отсюда?

– Я не могу утверждать честным словом дворянина то, чего не был свидетелем сам; я ограничусь точным повторением слов сторожа Жерома. Сегодня утром в Крансакском кабаке лесничий из Лабейсера объявил самым положительным образом, что зверь убит. Он пал вчера вечером от выстрела охотника, который его подстерегал в течение нескольких часов. Пуля, говорят, попала в самое сердце. Смерть страшного зверя до того несомненна, что ему отрубили голову и правую ногу, чтобы выставить трофеями победы. Вот слово в слово, что мне было рассказано. Впрочем, не угодно ли вам призвать Жерома и расспросить его самого.

– Это лишнее; а имя охотника неизвестно?

– Лабейсерский лесничий не мог дать никакого сведения на этот счет; он только заметил, что счастливого охотника сопровождали люди, по-видимому, ему подвластные, следовательно, он должен быть высокого звания.

– А есть ли повод предполагать, – спросила Кристина глухим, едва слышным голосом, чтобы он знал о роковой клятве, о неосторожном обете...

Она не была в силах договорить.

– Не хочу вас обманывать, – ответил де Меньяк, – он отрубил голову и ногу зверя, что мне кажется мерой предосторожности, не предзнаменовывающей ничего хорошего.

– О, не говорите этого, не говорите! – вскричала Кристина с отчаянием. – Бог не накажет меня так ужасно за мое безумство, за мою опрометчивость!

– Друзья мои, – продолжала она робко после минутного молчания, – нет ли в округе охотника из ваших знакомых, который мог бы совершить этот подвиг?

– Как не быть; их найдется и несколько, – сказал де Меньяк.

И он стал перечислять всех соседних дворян, которые старались напасть на след лютого зверя. Мадемуазель де Баржак слушала его с напряженным вниманием и, казалось, ждала имени, которое не было произнесено.

– И более никого? – вскричала она с нетерпением. – Разве вы меня хотите свести с ума вашей нелепой пощадой? Я знаю, что есть еще

охотники, о которых вы не упомянули.

– Так знайте же, – возразил де Меньяк с некоторой грубоватостью военного, которая в нем проявлялась, когда он бывал поставлен в тупик, – что носят слухи, будто барон де Ларош-Буассо и друг его Легри вернулись в окрестности Меркоара несколько дней тому назад; а я знаю, наверное, что ничего подобного нет на самом деле.

– Итак, невозможно, чтобы этот ненавистный барон убил волка?

Кавалер де Меньяк раскрыл рот для ответа, когда сестра Маглоар предупредила его словами:

– Конечно, это дело невозможное. Надо вам сказать, мое милое дитя, что посланный от его преподобия фронтенакского приора проездом останавливался в замке на этих днях, чтобы собрать необходимые сведения. Цель его поручения состояла в том, чтобы отыскать барона де Ларош-Буассо и пригласить его от имени его преподобия отца приора, королевского комиссара и его преосвященства епископа аденского немедленно отправиться в Фронтенак, где должно было произойти открытие приписки к духовному завещанию его покойного родственника графа де Варина. Так как посланный не проезжал обратно, надо полагать, что он встретился с бароном и с ним вместе уехал в Фронтенак. Вчерашний день именно назначен был для съезда; стало быть, барон де Ларош-Буассо находился в аббатстве в то самое время, когда здесь убивали волка в Лабейсерском лесу.

– Это все очень хорошо, любезная сестра, – сказал сухо де Меньяк, нахмутив брови, – но так как я сам вручил посланному письмо, которое должно было заставить барона вернуться во весь опор, если у него в жилах хоть одна капля благородной крови, я вынужден предполагать, что его отыскать не могли. Никакие соображения по поводу денежных выгод или семейных вопросов не могли бы помешать дворянину явиться на мой зов. Впрочем, вам известно, сестра Маглоар, что посланный имел подобное же поручение к другому лицу, которое также не явилось по приглашению, когда...

Кавалер замолк по знаку, поданному ему украдкой сестрой Маглоар.

– А это лицо, – вскричала Кристина, тяжело переводя дух, – не правда ли, Леоне? Не старайтесь этого скрыть от меня. Он в здешних

краях, я это знаю, я его видела!

– Вы видели? – спросила урсулинка в изумлении.

– Там на горе перед нами я вижу часто, когда гуляю в саду, охотника, который останавливается на вершине скалы со взором, обращенным к замку. С первой минуты я угадала, кто он, несмотря на расстояние. Но если действительно это Леоне, отчего он не показывается в замке? Чего ему опасаться от меня?

– Быть может, он оценивает себя по достоинству? – несколько холодно заметил кавалер. – Когда вам известно его возвращение в эти края, вы не можете не знать, что страшное преступление его дяди ему воспрещает...

– Стыдитесь, стыдитесь, кавалер! – перебила его сестра Маглоар в негодовании. – Как вы можете верить этой клевете, вы, который был благодетельствован отцом приором? Что касается Леоне, то кто же возложит на него ответственность за проступки другого, если бы даже эти проступки и существовали на самом деле? Он так кроток, так добр, так великодушен! Узнав обвинение, которому подвергся его дядя, и строгие меры, принятые в отношении к нему, мосье Леоне прискакал в Фронтенак его утешить и защитить. Ему не позволили видеть отца Бонавантюра, который содержится в своей келье под строжайшим присмотром. Тогда этот славный молодой человек решил доставить дяде средства к побегу. Все было подготовлено, когда заговор был открыт. Он не упал бы духом от первой неудачи и пошел бы против всех властей – светских и духовных, чтобы оказать помощь своему несчастному родственнику, если б сам приор, уведомленный о его смелых попытках, не послал ему строгого приказания не предпринимать ничего и выжидать, что угодно будет Богу послать ему в удел.

– Да, Леоне иначе поступить не мог! – вскричала Кристина с жаром. – Но умоляю вас, сестра Маглоар, расскажите мне все это подробно.

– Я знаю очень немного, милое дитя; с тех пор как аббатство подверглось интердикту, ничего неизвестно из того, что там происходит. Эти сведения я имею от последнего посланного из Фронтенака. Пока он грелся в кухне, я всячески старалась заставить его говорить; но беглец этот до того был труслив, что я с трудом добилась нескольких слов. Как бы то ни было, а мосье Леоне был

вынужден отказаться от своих отчаянных попыток, и, повинаясь воле приора, он вернулся в Меркоар подстергать жеводанского зверя, пока процесс будет производиться в аббатстве.

– Ага! – заметила Кристина с горькой усмешкой. – Несмотря на ужас своего положения, приор, кажется, не упускает из виду своих прежних планов. Но не в том дело! Не странно ли было бы, сестра Маглоар, если б Леоне оказался победителем жеводанского зверя?

– А почему же он и быть бы не мог? Он ловок, храбр, неутомим.

– Как! Вы полагаете?.. А вы, кавалер, вы более нас можете быть судьей в подобном деле; находите ли вы мое предположение возможным?

Кавалер де Меньяк задумался.

– К несчастью, нахожу, – ответил он, наконец, с очевидной досадой. – Я имею положительные сведения, что мосье Леоне в аббатство не поехал, несмотря на полученное приглашение. Он не оставлял Кронсакской фермы, где поселился на это время, и ничего невозможного я в том не вижу, если бы, напав случайно на след жеводанского зверя... повторяю, это большое было бы несчастье, потому что он не дворянин... и, наконец, племянник монаха, обвиняемого в преступлении.

Последнего замечания мадмуазель де Баржак не слышала. Вскочив с живостью, она вскричала дрожащим голосом:

– О, если бы это была правда, если бы это действительно оказалось так! Но тогда он мог бы уже быть здесь! Отчего же он еще не являлся в замок?

Она не успела договорить, как в гостиную вбежал слуга с растерянным видом.

– Мосье Леоне только что приехал и просит позволения вас видеть, – доложил он своей молодой госпоже.

Если бы действием сверхъестественной силы замок вдруг подняло на воздух, три лица, находившиеся в гостиной, не могли бы испытать большего изумления. Никто не думал отвечать слуге. Наконец Кристина пробормотала с невыразимым волнением:

– Он! Стало быть, это он! Благодарю тебя, милосердый Боже! Ты не захотел меня наказать за мое непростительное безрассудство!

– Я вас умоляю обдумать...

– Кристина, милое дитя, вспомните, что вы еще можете ошибаться!

Мадмуазель де Баржак точно очнулась от этих слов; она поблагодарила своих двух советников улыбкой и, сев на свое прежнее место, сказала им:

– Оставайтесь при мне; я приму его, как подобает мадмуазель де Баржак. Франсуа, – обратилась она к слуге, – просите мосье Леоне войти.

Спустя немного минут робкие шаги послышались в прихожей, и вошел Леоне. Он был одет чрезвычайно просто, вид же имел грустный, стесненный, униженный. Однако при взгляде на Кристину де Баржак щеки его покрылись ярким румянцем, и большое изумление, по-видимому, примешивалось к бурным чувствам, которые его волновали. Он всегда представлял себе Кристину гордой и смелой, в мужском костюме – словом, какой она была прежде; в этой же изящной и нарядной молодой девушке, скромно сидящей между своей гувернанткой и старым конюшим, он как бы с трудом узнавал прежнюю смелую резвушку. Так или иначе, однако, ни одна из фраз, приготовленных им заранее, не приходила ему теперь, вероятно, на память; он остановился в нескольких шагах от прекрасной владетельницы замка, пораженный безмолвием и трепетом, и ограничился одним глубоким поклоном.

Со своей стороны, Кристина не могла выдерживать более холодное достоинство, которым хотела блеснуть. Уступая влечению сильнее ее воли, она побежала навстречу к другу своего детства и, протянув ему руку, сказала голосом, исполненным кротости:

– Леоне, мой милый Леоне, вы дорогой гость в Меркоаре.

Этот дружеский прием, которого он, может быть, не ожидал, вызвал в истерзанной душе бедного молодого человека неудержимый порыв чувств. Он схватил протянутую ему руку и едва мог произнести сквозь рыдания:

– О, как вы добры! Вы меня не презираете, вы не возненавидели меня!

– Ненавидеть, презирать вас, мой друг! Вы этого не могли думать. Бедный Леоне! Мне известно ваше горе; я разделяю его. Но куда же теперь девались твердость духа, высокий разум, упование на Бога, которым я удивлялась в вас прежде?

Они сели друг возле друга. Сестра Маглоар усердно приседала перед племянником приора, а кавалер, более сдержанный, приветствовал его немного холодно. Леоне вскоре успел побороть волнение.

– Простите мне, – обратился он опять к Кристине де Баржак, – простите взрыв чувств, которые вам должны быть понятны. Мог ли я надеяться на подобный прием теперь, когда я подвергся такому жестокому унижению, между тем как в счастье и в радости я встречал в вас одну суровость!

– Это упрек, Леоне, отчасти, быть может, и заслуженный. Но если мой причудливый нрав порой побуждает не щадить того, кто счастлив и горд, слабый и страждущий никогда не подвергались моим оскорбительным причудам. Простите мне мои прошлые вины против вас; я искупила их дороже, чем вы полагаете.

Разговор продолжался в этом тоне дружеской короткости, сестра Маглоар и кавалер не замедлили принять в нем участие. Но Леоне оставался мрачен и смущен. Кристина наблюдала за ним украдкой и, казалось, испытывала возрастающее нетерпение. Наконец она перебила де Меньяка посреди длинного поучительного рассуждения, спросив вдруг:

– Я знаю, мосье Леоне, что вы с некоторых пор отыскиваете следы жеводанского зверя; много ли у вас состязателей в этих опасных поисках?

– Слишком много, графиня. Награда победителю так велика!

– Но в числе состязателей разве есть такие, которым известна безумная клятва, произнесенная мной в минуту помешательства?

– Этого я не знаю, но какой же благородный человек захотел бы пользоваться опрометчивым обещанием и вынудить вас к выбору, недостойному вас? Чтобы заслужить руку прекрасной и благородной Кристины де Баржак, недостаточно безупречной жизни, надо еще незапятнанное имя, знатный род и все наружные преимущества, которым придают значение в свете. Тот, кто не наделен этими преимуществами, захотел бы употребить во зло необдуманый обет, он стал бы презренным человеком, которого с негодованием должны отвергнуть все благородные люди. Ваш выбор, свободный и обдуманый, один мог бы придать цену подобной победе!

Слушая эти слова, произнесенные страстным тоном, Кристина не могла удержаться от радостного содрогания. Очевидно, Леоне был победителем зверя, но чрезмерное чувство деликатности, происходящее в особенности от унижительного положения его дяди, не позволяло ему высказываться.

– Я не сделала никакой оговорки, Леоне, когда произносила этот страшный и торжественный обет, – сказала она, опустив взор, – кто бы ни исполнил условие, он вправе требовать от меня обещанного, и будь он происхождения самого скромного, самого низкого, я покорюсь своей судьбе, если не без сожаления, то, по крайней мере, без жалоб и без ропота.

Леоне задумался на мгновение.

– Этого недостаточно, – сказал он потом, – для человека, который любил бы вас глубоко, бескорыстно. Ему необходимо было бы убедиться в вашем уважении и преданности.

– Так пусть бы осведомился! – ответила Кристина с некоторого рода гневом.

Однако Леоне молчал, погруженный в свои мысли. Их опять перебила Кристина, спросив тоном равнодушным:

– Слышали ли вы, мосье Леоне, что жеводанский зверь убит вчера вечером в Лабейсерском лесу?

– Что вы говорите, графиня? – вскричал молодой человек, быстро подняв голову. – Жеводанский зверь убит в Лабейсерском лесу! Да это невозможно!

– Отчего невозможно, Леоне?

– Потому что в это самое время, пока мы с вами говорим, мой егерь Дени в чаще Монадьерского леса, около лье отсюда, высматривает следы волка с полной надеждой его скоро обойти.

Сперва Кристина не знала, радоваться ей или пугаться этому известию.

– Слышите, кавалер? – сказала она. – Что же вы нам тут наговорили?

Кавалер де Меньяк повторил от слова до слова рассказ, слышанный им от сторожа Жерома. Леоне слушал с напряженным вниманием.

– Это непостижимо! – вскричал он с очевидной тоской. – Неужели Дени, всегда такой осторожный, такой опытный в своем деле, мог

ошибиться на этот раз? Разве он принял за след зверя следы одного из тех больших волков, которых теперь такое множество в окрестных лесах? Но в таком случае, – продолжал он с волнением, – вы можете ожидать с минуты на минуту появления в замке какого-нибудь дерзкого охотника, который придет требовать вознаграждение за победу.

– Я сильно этого опасуюсь, Леоне! Увидев вас, я было надеялась... но если не вы убили зверя, что же вас привело в Меркоар теперь, скажите ради бога, когда вы оставались столько времени в соседстве, не удостоив посещением ваших друзей?

Леоне ударил себя по лбу.

– Вы правы; благодарю, что вы мне напомнили, почему я явился сюда, тогда как сознание моего унижения не должно было мне позволить переступить порог вашего дома. Дело в том, что я на днях получил от аленского епископа письменное приглашение явиться в Фронтенак, «где я узнаю, – говорилось в письме, – дело величайшей важности». Я совершенно стал равнодушен к собственной судьбе, в которой отчаиваюсь; к тому же я не хотел повиноваться приказанию надменного епископа, ожесточенного преследователя моих друзей, итак, я велел сказать, что мне невозможно быть в аббатстве. Вскоре мне прислали второе уведомление, на этот раз уже от человека мне дорогого, несмотря на его кажущуюся вину.

Это уведомление ставило мне в обязанность явиться сегодня же в Меркоар и ожидать в замке известных сообщений. Я всегда повиновался безусловно воле того, кто мне прислал это предписание; менее чем когда-либо я решился бы его послушаться, когда он в несчастье. Следовательно, я поспешил сюда, несмотря на дурной прием, которого опасался, и от которого меня избавила ваша доброта; теперь же позвольте вас спросить, графиня, не прислано ли сюда на мое имя письмо или не имеется ли чего-нибудь мне сообщить?

Кристина вопросительно взглянула на своего конюшего и на наставницу.

– Никого не было, – сказал де Меньяк.

– Еще нет ничего, – отозвалась в свою очередь сестра Маглоар, – но теперь рано, позднее может прийти.

– В таком случае, – обратился Леоне к мадмуазель де Баржак, – вы, вероятно, позволите мне занять скромный уголок в вашем доме,

чтобы ждать обещанные сведения. Мне много места не нужно, а коль скоро настанет вечер и мне ничего не будет прислано, я удалюсь с извинением, что обеспокоил вас.

Это смирение поразило Кристину прямо в сердце.

– Леоне, мой друг, мой брат, – вскричала она, – можете ли вы говорить таким образом? Оставайтесь здесь со мной. Мы припомним вместе чудные дни нашего детства; я так давно лишена этого наслаждения! К тому же, – прибавила она с озабоченным видом, – глупая история, переданная нам кавалером, меня тревожит против моей воли и не выходит у меня из головы. Если бы мои опасения, конечно нелепые, внезапно осуществились, мне служило бы отрадою иметь при себе преданного друга, который поддержал бы меня и пожалел.

– Разве при вас нет вашего почетного конюшего, графиня? – вмешался де Меньяк тоном оскорбленного достоинства. – Я считаю себя вполне способным оградить вас от всех и каждого.

Кристина не отвечала, а наклонилась к Леоне и стала ему что-то говорить шепотом. Молодой человек, быть может, смущенный этой перестановкой ролей, отвечал сначала односложно, но Кристина, то грустная, то улыбающаяся, не теряла надежды и успела мало-помалу отвлечь Леоне от его печальных размышлений. Вскоре молодые люди, казалось, увлеклись вполне; они все более и более понижали голос, но разговаривали с большим оживлением, и слезы не раз навертывались на их глазах. Этот тихий шепот искренней любви производил на двух свидетелей его влияние совсем различное. Добрая сестра Маглоар, быть может, любила в своей молодости, почему и улыбалась снисходительно. Кавалер де Меньяк, напротив, вертелся на своем кресле, нюхал табак раз за разом и время от времени громко прочищал горло значительными гм! и ам! на которые, однако, не обращали никакого внимания. Поэтические воспоминания прошлого легко могли увлечь бедных молодых людей к смутным надеждам в будущем, и будущее это могло им уже представляться в свете менее мрачном и грустном, когда на парадном дворе послышался лошадиный топот и почти тотчас вслед за ним громкие звуки охотничьего рога раздались в стенах старого Меркоарского замка. Молодые люди вздрогнули и стали прислушиваться к этим зловещим звукам, грозно повторявшимся в дальних коридорах и дворах.

– Милосердный Боже! Это что? – воскликнула сестра Маглоар, сложив руки.

– Кто осмеливается так дерзко возвещать о своем прибытии в Меркоар? – удивился де Меньяк.

В сенях раздавались торопливые шаги; дверь внезапно растворилась, и слуга доложил:

– Граф де Варина!

Вошел барон де Ларош-Буассо.

Глава двадцать четвертая

Де Ларош-Буассо был в своем богатом мундире начальника волчьей охоты. Он шел гордо, высоко подняв голову и улыбаясь, как человек уверенный в себе. За ним егерь нес плотно закрытый сундучок, который поставил у двери и по знаку своего господина тотчас удалился. Все присутствующие были поражены до оцепенения смелостью, с какой барон являлся в дом, где имели столько причин его презирать и ненавидеть. Сестра Маглоар была пунцовая от негодования, а впалые щеки кавалера приняли зеленоватый оттенок. Леоне, раздираемый разнородными чувствами, казался неспособным двинуться с места. Одна мадмуазель де Баржак, именно вследствие чрезмерной силы испытываемого ею волнения, вскоре приняла вид гордого достоинства, которое ей изменило при встрече с Леоне. Она встала и заметила с иронией, в то время как барон раскланивался с ней:

– Граф де Варина! Что означает этот новый способ являться в мой дом? Разве вы, милостивый государь, надеетесь другим именем изгладить воспоминания, оставленные вами здесь под прежним?

Несмотря на всю свою самоуверенность, Ларош-Буассо несколько смутился от этого резкого приветствия.

– О, моя прелестная! – сказал он, сияясь улыбнуться. – Великодушно ли напоминать мне вину, которую вы мне простили и за которую я так жестоко был наказан? Что же касается титула и нового имени, принятых мной теперь, то они принадлежат мне по праву рождения и никто более не может у меня их оспаривать.

– Итак, милостивый государь, – спросила владетельница замка, у которой женское любопытство на мгновение подавило чувства иного рода, – вы уже владеете поместьями рода Варина?

– Нет еще, моя очаровательница, но остается соблюсти простую формальность, так как я имею уже слово его преосвященства королевского комиссара. Быть может, ввод во владение произошел бы и вчера, отправься я в Фронтенак, как меня приглашали, но дела, не терпящие отлагательства, удержали меня в этих краях, и я предпочел послать вместо себя своего поверенного, который лучше сумеет

защищать мои интересы против этих гнусных монахов. Между тем, как видите, я принял звание и фамилию, которые составляют мое законное родовое наследство.

Леоне не мог сдерживать себя более.

– Мне бы казалось, однако, – заметил он сухо, – что вы слишком торопитесь чваниться званием, вам еще не принадлежащим по закону и по справедливости.

Ларош-Буассо быстро обернулся и поглядел на Леоне, как будто теперь только заметил его присутствие.

– Ага! Это вы, мой веселый товарищ охоты? – сказал он с презрительной фамильярностью. – Я бы мог вам ответить, что мнение ваше не много, значит в этом деле; но я хочу быть снисходителен к вам, угадывая причину вашего вмешательства в подобный вопрос. По вашему мнению, вероятно, мое настоящее звание доказывает преступление тех, чьи тайные происки лишали меня его так долго? Быть может, вы и правы, и я вообще прощаю много приятелю, озлобленному несчастьем.

– Приятелю, милостивый государь? Я не подозревал, что имею честь считаться вашим другом.

– Прошу покорно! Раз наши отношения были так коротки, так искренны! Впрочем, да будет воля ваша; я настаивать не буду, могу вас уверить!

Он стал посмеиваться презрительно; Леоне дрожал от гнева, но, помня слово, данное приору, он говорил себе:

«Я не причиню горя моему несчастному дяде; я сдержу свою клятву, во что бы то ни стало!»

Ларош-Буассо, быть может, собирался отпустить насчет Леоне какой-нибудь новый сарказм, когда кавалер де Меньяк отвлек от него внимание барона.

– Мосье де Варина, – сказал конюший, отвесив глубокий поклон, – по-видимому, забыл обязательство чести, взятое им на себя под именем Ларош-Буассо. Вероятно, по этой причине он не получал моих посланий и не отвечал на них, как подобает дворянину хорошего рода. Но теперь я решил не терять его из виду, будь он Варина или Ларош-Буассо, пока я не добьюсь от него нескольких слов объяснения с глазу на глаз. Барон засмеялся еще громче.

– Черт побери! Мой прекрасный странствующий рыцарь, мой отважный защитник красавиц, мой храбрый поборник угнетенных дам! – вскричал он. – Вы чертовски упорны в своих фантазиях! Вероятно, опять речь о стороже Фаржо да о вольности, мной взятой, охотиться в лесах Меркоара без вашего разрешения? Хорошо, хорошо, мы потолкуем об этом, и хотя бы нам пришлось решать спор деревянными саблями и пряничными шпагами, я вам обещаю полное удовлетворение. Но в настоящее время я занят делами поважнее и прежде всего сообщу вашей госпоже причину моего посещения, по-видимому, ей не очень приятного.

– Если вы это полагаете, барон, – заметила Кристина с большой холодностью, – длить его с вашей стороны непростительно.

– Вы очень со мной жестоки, графиня. Входя в ваш дом, я, однако, полагался вполне на прощение, которое вы мне даровали с таким великодушием.

– Мое прощение не давало вам права на короткость. Потрудитесь мне сообщить скорее цель вашего посещения; вы правы, предполагая, что оно мне в тягость.

Вследствие особенного взгляда на женщин де Ларош-Буассо, должно быть, не ожидал со стороны Кристины такого явного и настойчивого отвращения. Он был озадачен и молчал, когда кавалер де Меньяк повторил тоном холодным и бесстрастным:

– Ну что ж, господин барон или граф – спорить о вашем звании я не намерен, – разве вы не слышали? Мадмуазель де Баржак, моя благородная госпожа, желает, чтобы вы ей сообщили цель вашего посещения, и потом...

Он указал рукой на дверь. Барон вскипел гневом.

– Клянусь всеми чертями! – вскричал он. – Этот старый грубиян не шутя входит в свою роль лакея. Если бы я мог думать...

– Милостивый государь, – в свою очередь перебил его с живостью Леоне, – вы забываетесь в присутствии дамы и в ее доме!

Барон бросил яростный взгляд на обоих защитников Кристины и вдруг разразился громким хохотом.

– Позвольте вас поздравить, графиня, – сказал он, наконец, – противиться вашей воле в Меркоарском замке не совсем безопасно, поскольку у вас храбрые защитники, которые готовы были бы

вышвырнуть дерзновенного за ворот, только дайте волю. Однако мне пора объясниться и попробовать поменяться с ними ролями.

Мадмуазель де Баржак, которая стояла все время, теперь опустилась на стул, дрожа от волнения. Кавалер де Меньяк и сам Леоне, забыв личные обиды, ожидали с тяжелым опасением на душе, что скажет де Ларош-Буассо. Последний находил явное наслаждение в том, чтобы длить эту мучительную неизвестность; однако, наконец, он сказал с ударением на каждом слове:

– Помните ли вы, графиня, вашу клятву отдать руку тому охотнику, который убьет жеводанского зверя, если только он не простолюдин?

– Помню, – ответила Кристина слабым голосом.

– И эту клятву, – продолжал де Ларош-Буассо, – вы намерены сдержать? Вы, вероятно, не откажете в вашей руке благородному человеку, который, положившись на данный вами обет, пренебрег утомлением и опасностью, чтобы исполнить требуемое условие?

– Это сомнение обидно, милостивый государь.

– В таком случае, – вскричал барон с торжествующим видом, – я заявляю свое право на все преимущества, обещанные победителю жеводанского зверя! Я имел счастье убить его в Лабейсерском лесу. Вот мои доказательства.

Он взял сундучок, поставленный слугой у двери, перенес его на середину комнаты и отпер. В нем оказались волчья голова и одна лапа, из которой еще сочилась кровь. Кристина не имела духа взглянуть на эти страшные трофеи; она откинулась на спинку кресла, готовая лишиться чувств. Остальные присутствующие были не менее взволнованны, хотя могли предвидеть эту развязку. Леоне казался совсем убит; кавалер, всегда медленный в своих соображениях, имел вид, будто взвешивает все стороны вопроса, тогда как сестра Маглоар воздевала глаза и руки к небу, бормоча молитвы. Ни одна из подробностей этой сцены не могла укрыться от де Ларош-Буассо.

– Однако, – заметил он насмешливо, – моя победа здесь, по-видимому, не возбуждает порывов необузданной радости! Барон де Ларош-Буассо, граф де Варина, кажется, партия не такая жалкая, когда случай мог сделать владельцем замка Меркоар какого-нибудь презренного браконьера.

Опять настала минута молчания.

– Друзья мадмуазель де Баржак, – сказал, наконец, Леоне с отчаянием, – не могут слепо принять на веру ваших слов. Сперва следовало бы доказать несомненно, что волк, вами убитый, именно и есть жеводанский зверь, в чем я имею некоторый повод сомневаться.

– Каждый беспристрастный человек убедится с первого взгляда на эти доказательства, – возразил де Ларош-Буассо, указывая на раскрытый сундучок, – эта чудовищная голова, эти грозные клыки, эти сильные когти разве могли принадлежать другому волку, кроме знаменитого жеводанского зверя?

– А что же нас удостоверяет в том, что вы один положили на месте волка, которого остатки представляете здесь? – настаивал Леоне.

– Можно допросить Легри, моего протеже; хотя он теперь на меня дуется и отказался сопровождать меня сюда, он не может не засвидетельствовать истины. Еще может дать показание мой старший егерь Лабранш, да кроме того, целая толпа крестьян, служивших мне загонщиками. Не беспокойтесь, мосье Леоне; все надлежащие гарантии будут представлены тем, кто вправе их требовать. На первый случай я только желаю знать, исполнит ли мадмуазель де Баржак свой обет даже относительно меня.

Бедная Кристина ответила с усилием:

– Исполню, хотя бы умерла с горя.

Эта форма согласия не совсем была по вкусу де Ларош-Буассо, который скорчил выразительную гримасу.

– Вы дворянин, можете ли вы принять подобную жертву? – вскричал Леоне с увлечением. – Вы должны быть слишком горды и слишком деликатны, чтобы употреблять во зло преимущество, данное вам счастливым случаем, над молодой дамой, достойной всякого уважения и всякой пощады! Она вас не любит, вы это знаете; руку свою она отдала бы вам, только чтобы исполнить опрометчивый обет. Союз при подобных условиях может ли составить счастье, как ваше, так и ее? Не будет ли он для вас постыдным и смешным? Откажитесь же благородно от права, данного вам необдуманном обещанием. Этого требуют от вас достоинство вашего имени, благородство, честь!

– Чтобы уступить место, – с иронией заключил барон, – некоему юному селадону, чувствительному герою одной из тех страстишек, которые порой существуют между школьником и пансионеркой, не так ли, мосье Леоне? Право, если кто-нибудь возымел подобные надежды,

он не мог избрать адвоката, менее способного склонить меня к согласию!

На этот раз твердая решимость Леоне не забывать слова, данного дяде, не устояла против овладевшего им бешенства.

– Барон де Ларош-Буассо, – сказал он твердым голосом, – вы подлец. Любовь не имеет никакой доли в вашем домогательстве руки благородной девушки, которая вас ненавидит и презирает. Цель ваших желаний – ее богатство, ее большие поместья, как средство позолотить вновь ваш померкший герб, запятнанный вашей развратной жизнью!

В свою очередь барон не мог сохранить своего презрительного хладнокровия при таком жестоком оскорблении, брошенном ему прямо в лицо.

– Черт возьми! Господин авантюрист, – вскричал он вне себя, – ваша дерзость заходит слишком далеко. Но будь вы десять раз простолудин, я вас заставлю взять назад ваши дерзкие слова.

– Не заставьте, барон; напротив, где бы вы ни были, я везде намерен повторять во всеуслышание...

– Довольно, милостивый государь! Вы, вероятно, чрезмерностью оскорбления хотите сгладить расстояние между нами. Вам это удалось; выйдите отсюда, выйдите тотчас!

– Наконец! – сказал Леоне.

Они направились уже к двери, между тем как Кристина, почти без чувств, не могла сделать ни малейшего усилия, чтобы их остановить, когда кавалер де Меньяк преградил им дорогу с большей живостью, чем от него можно было ожидать.

– Позвольте, господа, – сказал он торжественно, – этого я допустить не могу. Господин барон или, вернее, граф не может располагать собой; я давно уже заявил мое право требовать от него удовлетворения, а право это только усилено неприличными эпитетами, которыми он меня наградил с минуту назад. Итак, я не уступаю своего преимущества и, пользуясь прекрасным настроением барона де Ларош-Буассо, графа де Варина, прошу его сделать мне честь...

– Умоляю вас, кавалер, – вскричал Леоне убедительно, – дайте мне отомстить за себя и за тех, которые мне дороже всего на свете! Вы не можете знать, сколько горечи и злобы у меня накопилось в сердце против этого недостойного дворянина!

– Очень жалею, мосье Леоне, но уступить вам в этом не могу. Мне принадлежит право мстить за оскорбление, нанесенное моей молодой госпоже; это входит в обязанности моего звания; к тому же обида даме должна быть наказана прежде ваших и моих личных обид. Я в отчаянии, что вынужден вам отказать, но...

– Ах, черт вас возьми! – перебил де Ларош-Буассо в порыве бешенства. – Идите оба. Очень я буду бояться молокососа, воспитанного трусливыми монахами, и беззубого старикашку, который вздумал еще раз обнажить свой заржавленный обломок шпаги! Идите оба, говорю вам! Вместе или порознь, я вам обоим дам полное удовлетворение, будьте в том уверены.

– Так выйдемте, – сказал Леоне, – подобный разговор не должен происходить при даме.

– Конечно, идемте, – подтвердил барон.

– К вашим услугам, господа, – произнес де Меньяк с поклоном.

Наконец мадмуазель де Баржак стряхнула с себя оцепенение, в которое ее повергла эта бурная сцена. Она быстро встала и, отстранив сестру Маглоар, желавшую ее удержать, вскричала повелительным тоном:

– Оставайтесь, господа, оставайтесь, прошу вас... приказываю даже, если мои приказания для вас еще имеют какой-нибудь вес!

Все трое остановились и после минуты колебания медленно приблизились к молодой хозяйке.

– Ради бога, господа, выслушайте меня, – продолжала Кристина, – я обращаюсь в особенности к вам, мой милый Леоне, товарищу моего детства, и к вам также, мой добрый кавалер, который окружал меня таким заботливым вниманием. Насколько в силах этому противиться, я не допущу, чтобы вы имели ссору с мосье де Ларош-Буассо из-за меня. Барон, по-видимому, в точности исполнил условие, положенное в данном мной обете. В награде, которую он пришел требовать, не может ему быть отказано. Я не должна допускать вмешательства моих друзей, чтобы отклонить от меня последствия моего опрометчивого обета; меня справедливо могли бы обвинить в недостойных уловках, чтобы изменить моему слову. Итак, я требую, чтобы вы оставили без всякого последствия настоящий вызов, которому я единственная причина. Кто не исполнит этого, будет мне враг.

– Кристина, – возразил Леоне, – этот человек отзывался о несчастном моем дяде и обо мне в выражениях самых оскорбительных.

– Он оскорбил честь рода де Меньяк, – подхватил кавалер.

– И прибавьте, господа, – заключил де Ларош-Буассо, – что я ни одного слова не беру назад.

Кристина продолжала, обращаясь к Леоне и де Меньяку:

– Не старайтесь меня обмануть, мои добрые друзья, защищать вы хотите не себя, а меня. Откажитесь от этой мысли, умоляю вас. Страшное положение, в котором я нахожусь, дело мое и ничье более. Моя роковая опрометчивость, мое гордое упорство всему виной; итак, я одна и должна подвергаться заслуженному наказанию!

Она поочередно отводила в сторону каждого из противников барона и, казалось, прибегала к самым убедительным доводам, чтобы их заставить отказаться от своего намерения. И тот и другой, казалось, сдались, наконец, на ее просьбы, но угадать было нетрудно, что они воспользуются первым случаем, чтобы возобновить ссору. К де Ларош-Буассо вернулось все его прежнее хладнокровие, как скоро он заметил, что мадмуазель де Баржак добивается своей цели.

– Благодарю, моя прелестная, – сказал он, улыбаясь, – вы благородно держите свое слово! Позвольте мне теперь питать надежду, что эта честность будет началом чувств менее враждебных к будущему владельцу замка Меркоар.

Он поцеловал ей руку.

– Владельцу замка Меркоар! – повторил Леоне. – Вы еще им назвать себя не можете, милостивый государь.

Мадмуазель де Баржак зависит от опекунов, разумных и строгих, которых долг ограждать ее от увлечений собственного великодушия. Или я очень ошибаюсь, или в достойных отцах Фронтенакского аббатства найдется достаточно мудрости, власти и энергии, чтобы союзу этому положить преграду непреодолимую.

– Вы полагаете, мой друг? – с живостью спросила Кристина.

Леоне повторил свои слова еще с большим жаром.

– Черт возьми! Мы это увидим, – возразил барон со своей презрительной улыбкой, – в избытке нежности к фронтенакским монахам этот милый юноша забывает, что у них дела не совсем блистательны и некий епископ недавно им порядком пообстриг ногти.

Я их не боюсь; увидим, кто из них осмелится выступить против меня. Уж не дряхлый ли старец-аббат, почти впавший в детство, не способный двинуться от подагры и ревматизма, который одной ногой стоит в гробу? Или, быть может, доблестный поборник монастыря, мудрец общины, ловкий, осторожный, красноречивый отец Бонавантюр? К несчастью, это светило в настоящую минуту несколько померкло; святой отец, обвиненный в убийстве бедного ребенка, засажен под замок в собственную келью, из которой он, вероятно, вскоре перейдет в мрачную темницу.

– Уверены ли вы в том? – спросила сестра Маглоар странным тоном.

С некоторых пор на главном дворе замка опять послышались лошадиный топот и говор. Побуждаемая беспокойством, а может быть, и тайным предчувствием, монахиня выходила из гостиной осведомиться о причине шума. Из окна, выходявшего во двор, она увидела двое носилок на лошаках и несколько слуг верхами. Одного взгляда на носилки ей было достаточно, чтобы вернуться в гостиную, дрожа от радостного волнения и надежды. Заметив это, присутствующие обратились к ней с расспросами, но не успели еще получить ответа, как дверь растворилась вновь и слуга доложил голосом, подавленным от благоговейного трепета:

– Его преосвященство епископ аленский... его преподобие фронтенакский приор.

Епископ и приор вошли рука об руку, очевидно, в самых дружественных отношениях.

Глава двадцать пятая

Невзирая на свой небольшой рост, епископ имел величественную осанку и вид благородного достоинства, которые внушали к нему глубокое уважение всех, кто его видел. Он был в фиолетовом дорожном плаще и шапочке того же цвета, из-под которой блестели его пронизательные серые глаза. Возле него шел смиренно отец Бонавантюр, по-прежнему естественный, спокойный и улыбающийся. Некоторая худоба и бледность только свидетельствовали о перенесенном им недавно испытании.

– Мой милый дядя, мой благодетель! – вскричал Леоне вне себя от восторга. – Вы мне опять возвращены!

Он бросился на шею приора со слезами на глазах. Отец Бонавантюр, не менее тронутый, отвечал на его ласки, говоря с кротостью:

– И вы сохранили такую нежную привязанность к святотатственному служителю Божию, к преступнику, сын мой?

– Я никогда не верил этим клеветам, хотя они мне истерзали душу. Вы, без сомнения, легко оправдали себя...

– Разве я принимал бы ваши ласки, если бы чувствовал себя недостойным их, сын мой? Но довольно! – сказал он, указывая на епископа. – Мы находимся в присутствии святителя церкви.

В это время владелица замка в сопровождении сестры Маглоар поспешила навстречу епископу де Камби. Монахиня распростерлась у его ног, между тем как мадмуазель де Баржак склоняла перед ним голову, говоря с замешательством:

– Монсеньер, я проникнута глубокой признательностью за честь...

Потом вдруг, не будучи в силах сдерживать своих чувств, она в свою очередь упала к его ногам, вскричав:

– О, монсеньер! Само небо посылает вас ко мне на помощь в эту минуту. Вы всемогущи, защитите меня!

Она заливалась слезами. Епископ поднял ее со снисходительной добротой.

– Да снизойдет мир Господень на этот дом! – сказал он с торжественностью. – А вы, дочери мои, преклоняйтесь перед одним Богом. Даже те, которые думают действовать от его имени, существа слабые, способные заблуждаться. Недавно еще я испытал это жестоко!

Обратившись потом к приору, который подходил с Леоне, он посмотрел на молодого человека с пытливым вниманием.

– Это он, отец приор? – спросил де Камби.

– Он, монсеньер.

Епископ осенил Леоне крестным знаменем.

– Да благословит вас Господь, сын мой! – сказал он тоном искреннего расположения. – Сохраните вашу нежную привязанность к достойному человеку, чистому душой, драгоценными наставлениями которого вы пользовались. Вы не хотели явиться ко мне, невзирая на мое настоятельное приглашение; я и приехал сам – иных обрадовать, других привести в смущение. Вы также, барон, – обратился он к Ларош-Буассо, который кланялся довольно сухо, – не приехали вчера в аббатство, как вас приглашали.

– Меня здесь удержало важное дело, монсеньер; но к вам должен был явиться мой поверенный, старый Легри.

Епископ кивнул головой.

– Все равно, – сказал он, – вы услышите теперь, что произошло вчера. Вас само Провидение привело сюда сегодня, чтобы присутствовать при торжественном оправдании.

Он сел, и все заняли места вокруг него, кроме сестры Маглоар и кавалера де Меньяка, которые держались несколько поодаль в почтительной позе. Не зная, о чем речь, Леоне и Кристина с тоской во взоре смотрели то на спокойные черты приора, то на строгое лицо епископа. Менее терпеливый или, предвидя, быть может, неприятное для себя событие, Ларош-Буассо не мог долее владеть собой.

– Скажите же, монсеньер, – вскричал он с обычной ему самоуверенностью, – что случилось со времени нашего последнего свидания в Фронтенаке? Странные произошли перемены, как вижу! Тогда вы исполнены были ужаса к этим гнусным монахам, которые убили ребенка, чтобы завладеть его наследством; вы их подавляли всем гнетом вашего гнева; вы объявляли всенародно, что загладите совершенную несправедливость и безжалостно накажете виновных. Теперь же вы оказываете величайшую милость главному зачинщику

ужасного убийства, тому монаху, которого коварство, по всему вероятию, совратило с пути истины всю общину.

– Остановитесь, барон, – перебил его с живостью епископ, – не оскорбляйте более благородного и достойного человека, который нас слушает, и святую обитель, которой он слава и образец. Вы говорите справедливо, что много произошло перемен за несколько часов!.. Истина обнаружилась явными доказательствами. Господь дозволил, чтобы я усмотрел, в какое впал заблуждение по избытку усердия и, быть может, также отчасти по человеческой самонадеянности. Когда я подвергал гонениям братьев фронтенакской общины, они были мучениками своего долга. Добрый приор, которого я в моем ослеплении оскорблял незаслуженными мерами строгости, ни в чем не был виновен, что лишало бы его права на мое полное уважение и удивление к нему.

– Я знал это наперед, – шепотом сказал Леоне, поднося к губам руку отца Бонавантюра, возле которого сидел.

– О, преподобный отец! – вскричала Кристина. – Простите ли вы мне, что я могла поверить...

Приор заставил замолкнуть обоих ласковым движением руки.

– Монсеньер, вас обманули, – возразил пылко Ларош-Буассо, – и это, верно, дело этого хитрого монаха, которого язык одарен всей гибкостью и ядовитостью змеиного. Но не так будет легко провести меня. Прежде даже, чем я узнаю, какой сетью ловких измышлений успели затмить вашу прозорливость, я объявляю, что не отступлюсь от моего преследования. Мой священный долг как главы семейства – наказать убийцу моего маленького родственника. Отец Бонавантюр, по его собственному сознанию, сопровождал таинственное лицо, которое в вечер, когда совершили преступление, подошло к кормилице Фаржо в саду замка Варина. Прежде всего, приору следовало бы назвать этого презренного и пояснить...

– Это лицо теперь известно, барон, – холодно сказал епископ.

– Кто же это?

– Ваш дядя, граф де Варина, родной отец исчезнувшего ребенка.

Ларош-Буассо оторопел, точно его обухом ударили по лбу.

– Вы сомневаетесь, – продолжал де Камби, – но вы убедитесь вполне, когда увидите приписку к духовному завещанию покойного графа, приписку, которая, по распоряжению самого завещателя,

прочтена была только вчера при фронтенакском капитуле. Граф рассказывает самым подробным образом, как в помянутый вечер он прокрался в сад замка Варина через калитку, от которой он один имел ключ, и как нашел предлог удалить кормилицу, чтобы овладеть ребенком.

– Повторяю еще раз, что вас обманывают, монсеньер, – перебил его речь барон, – отец, даже в помешательстве, которым мог страдать покойный дядя де Варина, не может быть таким варваром, чтобы убить малютку, родного сына.

– Кто же вам говорит, что ребенок убит? Он жив.

– Это невозможно!

– Жив, повторяю вам, а доказательство – то, что мы его знаем все и что он теперь перед вами.

– Как! Неужели это...

– Мнимый племянник приора, так называемый Леоне, который, наконец, примет теперь свое настоящее имя и титул графа де Варина.

Это неожиданное открытие было встречено восклицаниями радости и удивления. Леоне – мы все еще будем называть его этим именем – вскочил со своего места и смотрел на приора, как бы ожидая от него подтверждения слов епископа.

– Его преосвященство может только утверждать строгую истину, сын мой, – сказал ему отец Бонавантюр, – вот тайна, которую я так тщательно от вас скрывал, подготавливая вас, однако, воспитанием к вашему настоящему величию. Вы со мной не связаны никакими узами, кроме уз нашей обоюдной привязанности.

– А они не расторгнуться никогда! – вскричал Леоне, бросаясь к нему на шею.

У всех присутствующих на глазах были слезы; оставался холоден один барон. Леоне принимал поздравления Кристины, кавалера де Меньяка и сестры Маглоар. Пока он предавался этим сладостным ощущениям, Кристина улучила минуту, чтобы нагнуться к приору и спросить его тихо:

– Вы на него намекали, отец мой, когда говорили про жениха богатого и знатного рода?

– Которого вы отвергли, которым пожертвовали для безумного порыва, несчастное дитя!

Кристина откинулась на спинку кресла и закрыла лицо руками. Ларош-Буассо еще не сделал ни одного движения, чтобы приблизиться к своему молодому родственнику. Опомившись от оцепенения, в которое его повергло неожиданное открытие, он заметил с иронией:

– Все это очень трогательно, без сомнения, но, вероятно, от меня требовать не станут слепого доверия к такой романтической истории? Я желаю доказательств неоспоримых; я хочу ясно усмотреть степень этого нового родства, которое меня лишает большого наследства.

– В доказательствах недостатка не окажется, барон, – ответил епископ, – они ясны и положительны. У отца приора документы, которые вы имеете полное право рассмотреть.

Действительно, отец Бонавантюр положил на стол связку бумаг, которые Ларош-Буассо принялся рассматривать с величайшим вниманием, пока епископ передавал факты, пояснявшие происхождение Леоне. Мы передадим эти события в немногих словах.

Мы знаем, что граф де Варина отрекся от протестантизма. Это поселило раздор между ним и его младшим братом, бароном де Ларош-Буассо, отцом того, который играет важную роль в этом рассказе. Однако граф принял католическую веру не из расчетов чисто человеческих, которые нередко побуждают к перемене веры. Его обращение, дело фронтенакской братии и в особенности отца Бонавантюра, было искренно и сознательно; более того, его религиозное чувство, воспламененное уединением и мечтательностью, развилось до степени, граничащей с аскетизмом и мистицизмом. Страдая неизлечимую болезнью, которая его медленно сводила в могилу, граф удалился в Фронтенакское аббатство и там мало-помалу поддался одной преобладающей мысли, превратившейся почти в мономанию. Будущность его единственного ребенка, тогда около трех лет, составляла предмет его забот. По его смерти опекуном этого дорогого для него малютки, по праву родства, следовало быть его брату, Ларош-Буассо; барон мог воспользоваться своим влиянием на племянника, чтобы внушить ему предпочтение к вере протестантской. Эта мысль терзала бедного больного день и ночь. Конечно, назначив опекуном другого, он мог оградить сына от опасного влияния; но граф, до крайности робкий, преувеличивал себе вес, которым пользовался в свете барон. Он опасался, чтобы с его характером, деятельным и энергичным, ему не удалось уничтожить духовную, лишавшую его

опеки, или в противном случае, чтобы он из мести не искал средства тайно отвратить ребенка от католицизма. Эти мучительные вопросы постоянно вертелись у него на уме, и, чтобы преодолеть все затруднения, граф придумал престранный способ.

Надо было похитить его сына, тогда находившегося в замке Варина, и распустить слух о его смерти. Поместье Варина не было майоратом, и граф мог его завещать Фронтенакскому аббатству для пользования на известное число лет. Что же касается молодого виконта, то он жил бы в монастыре под чужим именем, слывя за родственника одного из монахов. Его тщательно воспитали бы в правилах католической веры и скрывали от него настоящее его имя и звание до двадцатилетнего возраста. Тогда же открытие, кто он, уже совершенно для него было бы безопасно, благодаря отличным правилам, вселенным в него с детства.

В первый раз, когда граф де Варина сообщил об этом плане своему другу и поверенному отцу Бонавантюру, приор старался ему представить его опасности, даже непреодолимые затруднения. Граф сначала как бы дал себя уговорить, но вскоре опять вернулся к своей мысли. Он долго обсуждал все возможные случайности, он все предвидел, все расчел. Чтобы заставить согласиться на придуманный им план, он поочередно прибегал к убеждениям и к просьбам. Болезненная восторженность его мыслей доходила до той степени, что слишком долгое сопротивление могло нанести ему роковой удар. Уступая мольбам графа, отец Бонавантюр посоветовался, наконец, с капитулом насчет его странного предложения, и только после продолжительного колебания было решено общим голосом, что испробуют его исполнить, но отступятся тотчас, если бы представились непреодолимые преграды.

Все удалось свыше всякого ожидания. Граф, несмотря на слабость, хотел сам принять деятельное участие в исполнении замысла. Он тайно уехал из Фронтенака с отцом Бонавантюром и двумя преданными слугами и прибыл вечером к калитке сада своего замка. Удалив ловким вымыслом кормилицу, он показался сыну, который его узнал и позволил себя унести без малейшего сопротивления. Шляпу маленького виконта с намерением оставили на земле, а для большой предосторожности спустя немного часов в лоток брошено было тело ребенка, которое достали в соседнем городе и

одеди в платье молодого Варина. Все эти меры, хладнокровно обдуманые заранее, должны были привести в отчаянье бедную кормилицу, удостоверяя ее в гибели питомца; но при болезненном настроении мыслей бедного отца, что значили слезы простой крестьянки в сравнении с будущностью и вечным спасением наследника рода Варина? К тому же Маргерита Фаржо поручена была отцу Бонавантюру, и в вознаграждение за душевную тоску она и близкие ее стали предметом постоянной заботливости.

Благодаря такой предусмотрительности, никто и не подозревал истины; даже правосудие осталось убеждено, что молодой виконт нечаянно упал в поток, протекавший близ замка. Тогда граф, чувствуя приближение смерти, думал только о довершении начатого им дела. Опасаясь, чтобы впоследствии не стали оспаривать у его сына имя и звание, принадлежащие ему по праву, граф принял самые тщательные предосторожности, чтобы отстранить всякое сомнение. Он велел составить в трех экземплярах подробное изложение всех обстоятельств похищения, им самим учиненного; два экземпляра отданы были на сохранение разным нотариусам, а третий остался в архиве аббатства. Каждая из этих бумаг была подписана им самим; двумя нотариусами и шестью старшими монахами обители, включая в это число аббата и приора. Потом граф написал два завещания, из которых одно должно было отрыть после его смерти, а другое – в тот день, когда его сыну минет двадцать лет. Кроме того граф потребовал от тех из фронтенакской братии, которые знали про эту тайну, чтобы они торжественной клятвой обязались не открывать до истечения назначенного срока имя и звание их воспитанника. Приняв все эти меры, он умер спокойный, в уверенности, что его воля точно будет исполнена.

Действительно, мы знаем, с какою тщательной добросовестностью фронтенакские монахи, под влиянием приора, сдержали свою клятву. Они подверглись оскорблению и преследованиям, но не нарушили волю покойного их друга. Но срок, им назначенный, истек накануне, приписка к духовному завещанию была распечатана и прочтена, а, следовательно, истина ни для кого более не оставалась тайной.

Таков был рассказ епископа. Слушая его, Леоне неоднократно выказывал признаки глубокого умиления.

– Вы видите, мой любезный сын, – заключил епископ, – каких жертв стоило вашему отцу и вашим друзьям воспитание в правилах веры и нравственности, которое вы получили. Не давайте же заглохнуть доброму семени в вашей благородной душе и в блистательной будущности, вас ожидающей, не забывайте скромной простоты вашей первой молодости. Особенно не забывайте ваших благодетелей, добрых отцов святой обители, где вы выросли, и достойного приора, который окружал ваше детство сердечной заботливостью.

– Ах, монсеньер! – вскричал Леоне с увлечением. – Если бы мой несчастий отец сам еще был жив, он не мог бы от меня ожидать большего уважения, благодарности и безграничной любви, чем я чувствую к этому бесценному моему другу.

Он опять обнял доброго приора, у которого глаза полны были слез.

– Итак, я один оказываюсь виновным во всем этом, – продолжал епископ, – можно ли было допустить хоть на минуту, чтобы мирные монахи, известные набожностью и святой жизнью, совершили преступление до того гнусное! С первых дней, видя, с какой простотой и трогательной покорностью они переносили жестокое обращение, я стал сомневаться в справедливости этих строгих мер; позднее, когда граф де Варина попытался доставить мнимому своему дяде средство к побегу и тот отказался, мои сомнения усилились, но только вчера, при чтении духовной покойного графа, я понял вполне всю свою вину. Я ни минуты не колебался признать ее в присутствии всего капитула и просил прощения у достойного отца приора, как прошу и теперь.

– Ах, монсеньер! – перебил отец Бонавантюр со смирением. – Как вы можете так унижать себя? Наружность говорила против нас, и вы поступали с нами снисходительно, если принять во внимание громадность приписываемого нам преступления.

– Но мне по одному наружному виду судить не следовало, – возразил прелат тоном строгим, – соблазн, мной причиненный, будет мне вечным укором совести. Как бы то ни было, я хотел искупить мое заблуждение, сопровождая приора, несмотря на затруднительное сообщение, в этом доме, где соблазн произвел наибольший вред, хотя нигде, быть может, имя фронтенакских отцов не имело более права на уважение.

Во время этого разговора барон был то рассеян, то внимателен. Однако он не оставил без тщательного осмотра бумаги, приведенные приором, как бы ища в них предлога к опровержению.

– Ну, мое графство решительно полетело ко всем чертям! – вскричал он, наконец, с видом философического добродушия. – Однако нужды нет, я все же остаюсь Ларош-Буассо, а это что-нибудь да значит. Любезный кузен, – продолжал он с иронией, – примите мои поздравления. Черт меня побери, если я подозревал, допуская вас с минутой назад до чести драться со мной, что честь обоюдна!

– Дуэль, Леоне! – сказал приор. – То ли вы мне обещали?

– Простите, добрый отец; теперь я понимаю, отчего вы так горячо настаивали на том, чтобы я избегал всякой ссоры с мосье де Ларош-Буассо. Но, – прибавил он тотчас, – не я буду виной, если мы с бароном впредь не будем в лучших отношениях, как подобает близким родственникам, и в доказательство я протягиваю ему руку.

Барон пожал плечами.

– Вас это поссорит с вашими друзьями, – ответил он, посмеиваясь, – рука зачумленного еретика может вам сообщить заразу, которой опасался для вас отец. Нам лучше жить порознь. Слава и благополучие новому графу де Варина! Что до меня касается, то благодаря вчерашнему счастливому выстрелу мне завидовать ему будет не в чем.

– Вы правы, – со вздохом согласился Леоне, – я охотно променял бы мое состояние и титул на...

– О чем же речь? – спросил приор с удивлением.

Леоне ему сообщил в немногих словах, как Ларош-Буассо убил жеводанского зверя. Это известие поразило унынием отца Бонавантюра и даже епископа, которому была известна мысль, лелеянная фронтенакскими отцами. Однако, подумав немного, епископ сказал с твердостью:

– Этот брак состояться не может, и церковь никогда не согласится его благословить. Мадмуазель де Баржак, добрая католичка, не может выйти за протестанта. Опрометчивый обет, ею произнесенный, должен быть уничтожен по всем правам.

– Вот они, ваши монашеские-то хитрости! – вскричал Ларош-Буассо с раздражением. – Этого случая не предвиделось, протестанты и католики имели одинаковые права. В доказательство, – прибавил он,

обращаясь к Кристине, – я прибегаю еще раз к справедливости мадмуазель де Баржак; эта справедливость, знаю, мне не изменит.

Кристина молчала.

– Говорите, дочь моя, – сказал епископ, – вас легко могут разрешить от вашего рокового обета, если вы это пожелаете.

Несчастливая молодая девушка испытывала мучения невыразимые.

– Я принадлежу, – ответила она, наконец, – к семейству, где честность и добросовестное исполнение данного слова вошли в предание уже много веков. Я не сделаю ни одного движения, не скажу ни одного слова, чтобы уклониться от последствий моего несчастного обета.

Мертвое молчание последовало за этим решением.

– Черт возьми, – вскричал, наконец, Ларош-Буассо, потирая руки, – я могу утешиться во многих неудачах. Наслаждайтесь вашим титулом и вашим богатством, кузен Варина, у меня будет сокровище получше. Я не мог более, чем кстати убить жеводанского зверя!

– К несчастью, вы еще не убили его, любезный барон! – произнес сзади насмешливый голос.

Два человека только что тихо вошли в гостиную, незамеченные никем. Один был поверенный барона, другой старый егерь Леоне. Любопытство, возбужденное утверждением Легри, не дало заметить неприличия его внезапного вмешательства. Барон, однако, вспыхнув от гнева, подбежал к нему с угрожающим видом.

– Что тебе надо? – спросил он вполголоса. – Как ты смел явиться сюда?

– Потому, – ответил Легри громко, и не пугаясь грозной мимики своего патрона, – что, с вашего позволения, вы не убили жеводанского зверя, и я поспешил предупредить недоразумение или опрометчивый поступок.

– Как! Ты, который вчера видел сам, что я всадил пулю в сердце этого проклятого зверя, ты можешь опровергать...

– Спросите у этого человека, – сказал Легри спокойно. – Ну что, Дени, – обратился он к егерю, который, не стесняясь несколько присутствием важных лиц, принялся рассматривать волчьи лапу и голову, положенные у дверей, – уж не ошибся ли ты?

– Напротив, сударь, – возразил Дени, – что я подозревал, оказывается совершенно справедливо. Эта голова и эта лапа никогда

не принадлежали жеводанскому зверю.

Все вскрикнули при этом неожиданном известии. Старого егеря забросали вопросами; он не знал кому отвечать. Голос Ларош-Буассо покрыл все остальные.

– Что означает эта глупая шутка? – спросил он. – Что это за старый грубиян, который приходит учить дворянина в гостиной дамы?

– Мне не здесь место, господин барон, я это знаю, – ответил егерь, – но, с вашего позволения, я утверждаю только то, в чем совершенно уверен и что относится к моему ремеслу. Эти голова и лапа не жеводанского зверя, но старого большого волка, бродившего последнее время в соседних лесах и названного Черным волком. Он очень был лют и много производил опустошений, которые приписывались обыкновенно жеводанскому зверю. Много раз я нападал на его след в лесу, и чуть было сам не дался в обман; но его нога двумя линиями меньше ноги зверя, и мосье Леоне, мой господин, может припомнить, что я ему указывал на разницу следов.

– Это справедливо! – вскричал Леоне. – К тому же теперь, когда я всматриваюсь внимательнее, я не вижу на этой волчьей голове знака удара штыком, нанесенного ему маленьким сыном Шаналейля, а знак этот, однако, был замечен всеми охотниками.

– А я, – сказал Легри, которого зверь повалил однажды в овраге Кабаньей лощины, – могу прибавить, что у него шерсть была серее.

– Действительно, – подтвердил кавалер.

Ларош-Буассо был поражен этим единодушием свидетелей.

– Стало быть, тут ошибка или обман? – спросила мадмуазель де Баржак, задыхаясь от волнения. – Убит не жеводанский зверь, итак, условие не исполнено, и я свободна?

– Нет еще, графиня, – возразил барон, сильно взволнованный, – я утверждаю, что волк, которого остатки я представляю, именно и есть пресловутый жеводанский зверь. Чтобы убедить меня в противном, надобны доказательства положительные.

– Вам нужны доказательства, господин барон? – опросил Дени тоном немного насмешливым. – Я с утра высматривал след одного зверя, который, наконец обойден; мне удалось его загнать в каменоломни Монфишэ за Монадьерским лесом. Преследуемый упорно, он имел неосторожность войти в эту лощину без выхода. Проход в нее я поручил стеречь Жервэ и нескольким крестьянам,

ребятам не робким, а сам прибежал, что было духу уведомить мосье Леоне. Волк, попавший в западню, и есть единственный и настоящий жеводанский зверь.

– Что ты говоришь, Дени? – вскричал Леоне пылко. – Может ли это быть?

– По приходе сюда я велел седлать вашу лошадь и приготовить ваши ружья и весь охотничий снаряд. Извольте последовать за мной, мосье Леоне, и менее чем за полчаса я вас сведу с этим страшным зверем.

– Скорее на лошадей! – вскричал Леоне. – Богу, вероятно, не угодно, чтобы мое счастье было неполно. Не надо терять ни минуты, а то волк может ускользнуть!

– Этого опасаться нечего, но вы должны быть готовы к жестокой борьбе...

– Нужды нет! Живо на лошадей – и в путь!

Он подошел к приору и к епископу.

– Отец мой и вы, монсеньер, благословите меня, – сказал он с восторженностью, – благословите и помолитесь за меня! Графиня, – обратился он потом к мадмуазель де Баржак, – я исполню условие, налагаемое на того, кто вами будет обладать, или умру!

С этими словами он исчез в дверях, из которых уже вышел старый егерь.

– Будьте бодры, Леоне, и надейтесь! – вскричала ему вслед Кристина. – Да ниспошлет вам небо успех!

И она упала без чувств на руки сестры Маглоар, изнемогая под бременем сильных душевных потрясений. Пока ей подавали помощь, Ларош-Буассо стоял мрачный и задумчивый в углу комнаты; возле него Легри, казалось, наслаждался его унынием.

– Черт возьми! – воскликнул, наконец, барон, подняв голову. – Сегодня, по-видимому, везет только этому красавчику! Но почему бы мне не воспользоваться удобным случаем? Я также охотник, и неплохого десятка, мои люди и лошади меня ожидают на дворе... Дело еще, может быть, не совсем проиграно!

Он сделал Легри знак последовать за ним.

– Оставьте меня, – с сердцем сказал ему тот, – вы меня обманули, все кончено между нами.

– Ага! – сказал барон с презрением. – Ваш отец разве вам уже написал о моем совершенном разорении и гибели всех моих надежд? Пойдемте, однако, говорю вам; мы объяснимся в другом месте. Разве вы полагаете, что вам позволят остаться в этой гостиной без меня? Посмотрите, какими глазами на вас уже поглядывает кавалер!

Этот довод, по-видимому, убедил Легри. Вскоре приор и епископ остались наедине.

– Монсеньер, – сказал отец Бонавантюр, – настает минута решительная. Неужели наши усилия, наши жертвы, чтобы упрочить счастье нескольких бедных созданий Божьих, поведут лишь к страшной катастрофе? Леоне нас просит о том; помолимтесь за него!

Глава двадцать шестая

Направляясь к парадному двору, где они должны были найти своих лошадей, Ларош-Буассо и Легри продолжали разговаривать вполголоса.

– Ссора между нами, Легри, – говорил барон в страшном волнении, – это черт знает что такое! Это не имеет смысла! Как вы нуждаетесь во мне, так я в вас. О чем вы думаете, переходя на сторону моих врагов? В тот день, когда они уничтожат меня, они легко справятся с вами. – Повторяю вам, барон, вы меня обманули. Я почти разорил отца для удовлетворения вашей расточительности; чтобы угодить вам, я соглашался на вещи самые унижительные, а вы мне низко изменяете в слове, когда я требую награды, мне обещанной и мне принадлежащей!

– И какой еще награды! – сказал Ларош-Буассо. – Руки владельницы Меркоара – ни более, ни менее! Да вспомни же наши условия, упорная ты голова! В случае если б я убил жеводанского зверя (а мне доказано ясно как день, что я его не убил), я обещал уступить мои права на молодую девицу, если уже буду иметь в своем владении наследство Варина. Теперь же я графом де Варина быть более не могу, разве только мой дорогой и возлюбленный кузен, поскакавший во весь опор к каменоломням Монфишэ, будет так умен, что сломит себе шею или даст волку себя истерзать!

– Ваш кузен? – повторил Легри, широко раскрыв глаза от изумления. – Что вы этим хотите сказать? Я вас не понимаю.

Ларош-Буассо передал ему историю Леоне и, не обращая внимания на восклицания своего поверенного, продолжал:

– Мои дела, по-видимому, в положении отчаянном, но я возьму свое, клянусь всеми чертями ада, хотя бы для того пришлось... Послушай-ка, Легри, я в тысячу раз охотнее отдам тебе богатую наследницу, чем уступлю ее этому дерзкому кузену. Примкни ко мне честно, по-прежнему, и все еще может пойти по твоему желанию. Отправившись тотчас к каменоломням, где, говорят, зверь кроется в настоящее время, мы еще можем рассчитывать на благоприятный для

нас случай. Вещь известная, – прибавил он тоном мрачным, – на охоте бывают необыкновенные приключения, странные ошибки.

– Ради самого бога, барон, – вскричал поверенный с испугом, – что вы хотите сделать?

– Трус, осел! – вспыхнул Ларош-Буассо, топнув ногой, но вскоре продолжал спокойнее. – Мы будем поступать, смотря по обстоятельствам. Мы должны быть неразлучны и воспользуемся первым удобным случаем, а тогда... Слушайте же, так как вы непременно этого требуете, я обещаю вам опять способствовать всеми силами вашему браку с пленительной девушкой, от которой мне приходится отказаться.

– Искренно ли это обещание, барон? Если бы я это думал...

– Даю честное слово дворянина, и, как бы низко я ни упал, подобному слову я еще не изменял никогда. Но вы мне будете покорны, не правда ли, – прибавил он с бешенством, которое едва мог сдерживать, – вы мне будете покорны, что бы я ни говорил или делал?

– Однако, барон, все же надо бы знать...

– Молчите – и в путь! Мы теряем время.

Легри не посмел возражать. Они уже были во дворе. По приказанию барона подвели двух оседланных лошадей. Однако Легри еще не совсем, по-видимому, решился на предприятие, бесспорно опасное, а быть может, и преступное, и потому медлил садиться на лошадь. Ларош-Буассо между тем заносил ногу в стремя, когда кто-то, говоривший с ним уже с минуту и не получая ответа, слегка коснулся его плеча. Барон обернулся взбешенный и увидел кавалера де Меньяка. Старый конюший держал под полой своего полукафтана две шпаги одинаковой длины. Он имел вид молодцеватый и свободный и стоял со шляпой на голове.

– Послушайте-ка, господин барон, – сказал он тоном довольно дерзким, – так не уезжают. Я вашим кузеном еще не сделался, и более чем когда-либо вправе пригласить вас на небольшую прогулку вместе со мной до опушки леса. Я там знаю местечко, где нам будет преудобно.

Барон не отвечал и стоял с неподвижным взором, как бы, не понимая, чего от него требуют. Наконец он сделал нетерпеливое движение и вскричал:

– Ступайте к черту, старый враль! Мне некогда слушать вздор; в другой раз я, пожалуй, вам дам удовлетворение.

Он хотел вскочить в седло, но кавалер удержал его за фалду.

– Если я и мелю вздор, милостивый государь, – сказал он с холодным гневом желчного темперамента, – у меня глаз еще верен, рука не дрожит. Итак, я приглашаю вас опять...

– Выпусти мою полу, старый дурак, выпусти или, невзирая на твои седые волосы...

Он занес руку, кавалер не шевельнулся.

– Теперь, милостивый государь, – сказал он, – вы более не можете отказать мне в удовлетворении, на которое я имею право.

Эта последняя капля, по-видимому, произвела на барона свое действие. Он задумался на несколько секунд.

– Совсем помешан, – пробормотал он, наконец, – ну, хорошо, покончим с этим делом; долго оно меня во всяком случае не задержит. Легри, брось лошадь и ступай с нами.

– Куда это, любезный барон?

– Куда угодно будет нас вести кавалеру. А секундант у вас есть, мосье де Меньяк?

– Вы очень добры, господин барон, – ответил кавалер, сняв шляпу и внезапно приняв свой обычный тон щепетильной учтивости, – я желал пригласить секундантом дворянина, и мог бы еще послать за маркизом де Гальефонтемом, но это нас задержало бы надолго. С вашего позволения, я позову егеря Контоа, который стоит вот там; он был солдатом, и, приняв в соображение, что мосье Легри простой мещанин, кажется, можно удовольствоваться егерем Контоа за неимением лучшего.

– Призывайте, кого хотите, черт вас возьми! – вскричал барон с нетерпением. – Только торопитесь.

Кавалер, обрадованный согласием, поспешил предупредить егеря, который очень остался доволен предпочтением, ему оказанным. Затем, не обращая внимания на толки слуг, наполнявших парадный двор, противники и секунданты направились вместе к воротам.

– Чтобы лошади были готовы, – приказал барон своим людям, выходя из замка, – мы вернемся через пять минут.

Достигли соседнего леса. В первой прогалине кавалер остановился.

– Не кажется ли вам, что здесь нам будет очень удобно? – спросил де Меньяк у Ларош-Буассо.

– Совершенно.

Старый конюший тотчас скинул с себя полукафтанье и жилет, потом подошел к барону и подал ему принесенные им шпаги, чтобы он выбрал, которую желает. Ларош-Буассо взял первую, которая ему попала под руку, и в свою очередь стал готовиться к бою. При первом выпаде кавалера Легри, удивленный его ловкостью и грациозной осанкой, пробормотал сквозь зубы:

– Гм! старый воин битвы при Фонтенуа не худо берется за дело. Ларош-Буассо, хотя искусный дуэлянт, встретит противника, достойного себя. Право, я не знаю, кому из двух желать успеха: старик на меня зол, но Ларош-Буассо становится товарищем опасным, не говоря о том, что ждать от него нельзя более многого. Пусть Бог или черт решает между ними, я готов на все!

Он не успел произнести этого великодушного желания, как шпаги противников скрестились с грозным звоном. Результат этой дуэли мы узнаем впоследствии, а теперь вернемся к Леоне и Дени, которых оставили скачущими по лесу.

Каменоломни Монфишэ, куда был загнан страшный зверь, находились посреди горной и лесистой местности, где Леоне в начале этого рассказа подвергнулся такой большой опасности. Но воспоминание это несколько не охлаждало пыл молодого человека; менее чем в четверть часа по выезде из Меркоарского замка он и его спутник приближались вскачь на взмыленных лошадях и сами едва переводя дух от быстроты, с какой летели к проходу, который стерегли Жервэ и несколько крестьян, вооруженных дубинами и ружьями. Проход этот был не что иное, как пролом в скале, устроенный некогда для проезда телег; две базальтовые глыбы находились по обе его стороны. Через это отверстие видно было довольно обширное пространство, окруженное остроконечными скалами и усеянное камнями и кустарником. Жервэ и его товарищи, постоянно настороже, держали на своре двух собак, которые ворчали, по временам поглядывая на каменоломни. Увидав Леоне и Дени, Жервэ обрадовался.

– Я вас ждал с нетерпением, – сказал он, пока всадники сходили с лошадей, – это хитрое животное приближалось к нам уже несколько раз, так что я стал побаиваться, как бы оно силой не прорвалось сквозь этот проход. К тому же начинает и темнеть, а если его не убить засветло, то можно быть уверенным, что волк у нас уйдет, как его ни стереги.

– Но теперь ты ручаться можешь, надеюсь, что он не выходил из западни? – спросил Дени.

– Конечно, посмотрите, как собаки рвутся и нюхают воздух, чуя близость зверя. Проклятый волк не более как в пятидесяти шагах отсюда!

– Хорошо, – сказал Леоне, – ты, Дени, оставайся с этими добрыми людьми и будь готов встретить волка, если бы он попробовал от нас ускользнуть. Я же один войду туда с Кастором; для обороны мне будет достаточно моего карабина со штыком и моего охотничьего ножа.

Дени слушал с изумлением, к которому примешивался страх.

– Простите мою дерзость, барин, – сказал он почтительно, – но я позволю себе обратить ваше внимание на опасность, которой вы подвергаетесь, идя совершенно один на грозного зверя, доведенного до отчаяния. С вашего позволения, я пойду с вами и вместе...

– Этого я не позволю, Дени, – возразил Леоне с твердостью, – я не хочу ничьей помощи в борьбе, которая мне, вероятно, предстоит. Никто не войдет в каменоломню, чтобы ни случилось. Вы меня поняли, надеюсь? Я вовек не прощу тому из вас, кто ослушается моего приказа! В таком только случае, если бы волк прорвался сквозь проход, вы можете стрелять по нему; до тех пор оставайтесь неподвижны и настороже.

Леоне обыкновенно обращался с подчиненными ласково, но на этот раз тон его был резок и повелителен. Со всем тем егеря заговорил опять с жаром:

– Я старый охотник, мосье Леоне, и мой долг предупредить вас об опасности.

– Довольно, – остановил его Леоне, – мой карабин заряжен?

– Я сейчас его зарядил сам двумя мерками пороха и двумя пулями.

– Хорошо.

Молодой человек удостоверился, что затравочный порох не отсырел, провел ногтем по огниву и, вытянув наполовину из ножен

свой охотничий нож, решил, что готов пойти на грозного противника.

– Не забудьте моих наставлений, друзья, – сказал он уже голосом кротким и почти веселым, – стерегите хорошенько ваш пост – и более я от вас ничего не требую.

В ту минуту, как он собирался идти, приказав спустить Кастора, собаку Годара, Дени сказал ему умоляющим тоном:

– Мой добрый барин, возьмите, по крайней мере, также ищейку. При всей своей трусливости она даст вам знать о приближении волка, и вы не будете застигнуты врасплох.

Леоне согласился, хотя не ожидал большой пользы от ищейки, и, предшествуемый двумя собаками, вошел в глубокую лощину, образуемую каменоломнями. Там царствовали мертвая тишина и неподвижность. Ничто не шевелилось посреди этих бесплодных скал и сухого хвороста, покрывавшего землю. Со всех сторон гора представляла гладкие отвесные стены, образуя собой как бы место боя, где отступление было невозможно, и неминуемая смерть ожидала побежденного. Полосы снега, местами растаявшего, резко отделялись от темного цвета вереска. Посреди ложбины была лужа, образованная дождевыми потоками; лужа эта замерзла, и синеватая ее корка пересыпана была белыми пятнышками. Над этим унылым пейзажем серое небо, еще более омраченное наступающими сумерками, раскинулось как бы траурным покрывалом.

Леоне медленно подвигался вперед шаг за шагом, зорко оглядываясь вокруг, вслушиваясь в малейший шорох, держа наготове свой тяжелый карабин. Он тщательно всматривался в каждое углубление, каждый репейниковый куст. Действительно, волк мог броситься на него внезапно и растерзать в клочки, прежде чем он успеет заметить его присутствие. По временам он останавливался, сдерживая дыхание. Собаки бродили вокруг него, но не подавали голоса. Ищейка выказывала особенное беспокойство; она часто возвращалась к хозяину с признаками опасности. Тогда он ее гладил и тихо поощрял голосом снова отыскивать след зверя. Другая собака, сильная и храбрая, выказывала менее нерешительности; но чутье ее, не такое тонкое, как у товарища, вынуждало ее полагаться на него в деле розыска следов. Впрочем, они были совершенно свежи; во многих местах на снегу виднелись широкие и глубокие следы, казалось, проложенные минуту назад.

Однако волк не показывался, и если бы стены, окружавшие эту местность, не были почти отвесны, можно бы предположить, что ему удалось через них перескочить. Но опасаться чего-нибудь подобного нельзя было никак. Скачок в двадцать или тридцать футов вверх для волка, как бы ловок он ни был, вещь невозможная. У него нет той удивительной эластичности в мускулах, которой отличаются пантеры, тигры и другие хищные звери из породы кошек. Итак, волк, несомненно, находился в каменоломне и мог появиться с минуты на минуту, чтобы выдержать бой или, быть может, начать его сам.

Более десяти минут Леоне бродил между камней и кустов, когда ищейка вдруг вернулась к нему с большим ужасом, чем выказывала до той поры, и в ногах у него искала убежища от угрожающей опасности. Бульдог Кастор, напротив, остановился и, вытянув свою сильную шею, огражденную ошейником с железными гвоздями, глухо заворчал. Все эти признаки доказывали несомненно, что хищный зверь находится вблизи; но молодой охотник, как зрения ни напрягал, ничего отличить не мог.

Наконец ему удалось открыть позицию грозного неприятеля. В тридцати шагах перед ним была лужа, о которой мы уже упоминали, а на краю ее сухой и пожелтевший тростник сильно колебался. Между стеблями тростника Леоне заметил две неподвижные блестящие точки, которые даже при дневном свете сверкали грозным пламенем. Ничего более не было видно, но охотник знал довольно: зверь скрывался в тростнике, готовый, вероятно, кинуться на него, как скоро он подойдет ближе.

Леоне остановился и медленно приложил карабин к плечу, но еще не стрелял. У него сильно билось сердце, в глазах темнело, голова начинала кружиться. Быть может, ему приходило на память в эту роковую минуту, что чудовище, находившееся от него в немногих шагах, пожрало восемьдесят три человека и тяжело ранило около тридцати; что оно одержало верх над двумя— или тремястами охотниками, которые его преследовали, и что вся Франция была встревожена из-за него. По счастью, прекрасный и улыбающийся образ любимой женщины рассеял эти мрачные мысли, кровь спокойнее потекла по жилам, кружение головы прошло, и спустя немного секунд все окружающие предметы приняли в глазах молодого человека свой настоящий и определенный вид.

Оттого ли, что расстояние ему казалось еще слишком большим, или оттого, что противник недостаточно был на виду, Леоне пошел вперед, держа карабин наготове. Собаки следовали за ним ворча, одна от злости, другая от страха. Но этот маневр молодого охотника не привел ни к какому результату, волк не трогался с места, и видны были одни его блестящие глаза. Наконец Леоне потерял терпение, остановился опять и прицелился в самый центр между двух светящихся точек: но тут роли переменялись мгновенно. Лютый зверь, увидав, что он открыт, отважно решился на бой. Его могучая голова с наостренными ушами, громадное тело с сероватой шерстью, тяжелый и длинный хвост внезапно показались из тростника, и, широкой своей грудью отстранив все преграды, он яростно ринулся на своих противников.

Леоне не оробел при этом внезапном нападении. Когда зверь был от него в десяти шагах, он хладнокровно прицелился в голову и спустил курок. Сильный выстрел большого карабина, повторенный нескончаемым эхом, произвел оглушительный шум, подобный грому, но не мог покрыть дикий рев. Сквозь дым от пороха Леоне увидел волка, силой удара повергнутого наземь и как бы пораженного смертельно. Уже он раскрывал рот, чтобы вскрикнуть от радости и позвать своих людей, но не успел.

Волк, весь окровавленный, встал опять на ноги, грознее прежнего. Боль, жажда мести удесятирили его отвагу, его силы. В один миг он повалил охотника. Тщетно Леоне старался ему противопоставить свой штык из стали лучшего закала, штык был сломан, как стекло, сам карабин измолот в щепки, и Леоне, опрокинутый зверем, так грохнулся на снег, что почти лишился чувств.

Гибель его казалась неизбежной, потому что защищаться он не был в состоянии, но верные союзники не покинули его.

Бульдог Кастор, который, как, вероятно, помнят, раз уже потерпел поражение, бросился на волка как бы с жаждою мести за прошлое и стал его рвать с ожесточением. Сама ищейка, ободренная ли видом крови своего врага или побуждаемая опасностью, которой подвергался ее хозяин, поборов свойственную ей робость, бесстрашно бросилась на волка и вцепилась ему в горло. Итак, прежде всего ему следовало справиться с этими новыми противниками.

Это отняло времени немного. Одного движения грозных челюстей было достаточно, чтобы переломить позвоночный столб несчастной ищейки, между тем как жестокие когти раздирали ей брюхо и разбрасывали далеко внутренности. Бедная собака испустила жалобный крик и сдохла. Оставался Кастор, который также схватил зверя за горло и впился в него зубами. Волк попробовал было от него избавиться обычными ему движениями головы, однако бульдог, наученный, вероятно, опытом, ловко избегал их каждый раз. Тогда они покатались наземь, раздирая и кусая друг друга с яростью невыразимой; но волк, несмотря на свои раны, сохранял преимущество, которое неминуемо должно было повлечь за собой окончательную победу.

Эта ужасная борьба происходила на бесчувственном теле Леоне; но оттого ли, что его беспрестанно топтали ногами, или от смутного сознания громадной опасности, он вскоре очнулся. Едва владея членами вследствие силы своего падения, ослепленный пылью и снегом, которые ему летели в лицо, он, однако, приподнялся на локте и вынул из ножен свой охотничий нож. В ту минуту, когда противники снова покатались на него, он с трудом открыл глаза и, собрав все силы для последней попытки к спасению, воткнул нож по рукоять в мохнатую массу, которая его душила. В эти же мгновения вдали послышался крик:

– Держитесь, мосье Леоне! Держи крепко, Кастор! Мы идем!

Более Леоне уже ничего не слышал. Какие-то железные зубья раздирали ему грудь, потом страшная тяжесть повалилась на него, сдавила ему дыхание, и он потерял сознание...

Приятное ощущение свежести и облегчения возвратило сознание Леоне. Вокруг него усердно хлопотали, оказывая ему помощь, Дени, Жервэ и еще несколько людей. Ему брызгали в лицо холодной водой из лужи, находившейся поблизости, расстегнули ему платье, чтобы он свободнее мог переводить дух. Очнувшись, он тотчас пришел в память.

– А зверь? – спросил он, – куда девался зверь?

– Убит, мосье Леоне, – ответил старый егерь, – убит действительно на этот раз; и не без труда, право!

В то же время он указал на громадного волка, всего в грязи и в крови, который лежал убитый возле истерзанных останков бедной ищейки; немного далее Кастор, в самом печальном виде и тяжело дыша, лизал свои раны. Грустное сомнение мелькнуло в уме Леоне.

– Дени, – сказал он, приподнимаясь на локоть движением машинальным, – ты меня ослушался и пришел ко мне на помощь. Вероятно, это ты убил жеводанского зверя?

Егерь улыбнулся.

– Взгляните на мое ружье, мой добрый барин, – возразил он, показывая свое ружье, совершенно чистое и неразряженное, – мне, право, смертельно хотелось пустить пулю в этого молодца, но вы так крепко обнялись, что это оказалось невозможно. Впрочем, к чему было тратить порох напрасно? Вы уже покончили дело со старым чертом, посмотрите сами!

И, приподняв труп волка-исполина, он показал Леоне его нож, воткнутый по рукоять в плечо. Лезвие так сильно воткнулось в мускулы между костями, что вынуть его можно было бы только с величайшим усилием. Смерть должна была быть мгновенной, и раны, от которых Леоне окончательно лишился чувств, вероятно, нанесены ему были издыхающим зверем в предсмертных судорогах. При этом несомненном доказательстве его победы Леоне не мог удержать порыва гордости и восторга.

– Благодарю Тебя, Господи! – воскликнул он. – Стало быть, правда, что я убил жеводанского зверя!

Немного позднее торжествующие охотники возвращались в Меркоарский замок. Леоне, весь помятый и в ушибах, шел пешком, опираясь на Дени. Некогда грозного зверя перекинули через спину лошади, и его страшная голова и длинные лапы с острыми когтями висели по обе стороны седла. Потом шел Жервэ, неся на руках бедного Кастора, который жалобно визжал от боли, хотя вид его убитого врага, раскачиваемого рысью лошади, порой еще, казалось, возбуждал его ярость. Шествие замыкалось крестьянами, которые громко выражали свою радость избавлению края от грозного дьявола.

Таким образом, достигли замка. Немного не доходя главных ворот, охотников догнала небольшая группа людей, настолько же молчаливых и грустных, насколько те были шумны и веселы. Состояла она из слуг, несущих на носилках бесчувственное тело, завернутое в плащ. За

ними следовало несколько человек, которых за наступающими сумерками нельзя было узнать в лицо. Леоне приказал своим людям остановиться и хранить молчание. Когда же носильщики с ним поравнялись, он спросил глухим голосом, указывая на тело:

– Кто это? Боже мой! Какое несчастье нас ожидает еще?

Носильщики или не слышали, или не хотели ответить; они молча прошли со своей печальной ношей, и вскоре исчезли под сводом ворот. Леоне еще не решался повторить своего вопроса, когда знакомый голос раздался возле него, и он очутился в объятиях приора.

– Мой милый Леоне, вы ли это? – сказал монах с глубоким чувством. – Хвала Всевышнему! Вы, по крайней мере, к нам возвращаетесь целым и невредимым!

– И не одну эту милость мне даровал Господь, мой добрый отец. Он мне послал победу над лютым зверем, опустошавшим страну. Но скажите ради Бога, кто этот несчастный, которого сейчас пронесли в замок?

– Человек, жизнь которого была греховна, и который умер, я опасаясь, без раскаяния. Меня уведомили слишком поздно. Он уже испустил последнее дыхание, когда я пришел на место боя. Да простит ему Верховный Судья его вины!

– Но вы мне все еще не называли его, преподобный отец.

– Нужно ли назвать? Вы теперь, сын мой, единственный представитель древнего и знатного рода Варина.

Леоне оставался несколько минут в задумчивости; в душе его шевельнулась невольная глубокая жалость к судьбе родственника, которого жизнь и конец были так печальны. Пока он предавался этим размышлениям, мимо него прошли два человека, из которых один говорил:

– Я исполнил только половину моего долга, мэтр Легри, наказав главное лицо, оскорбившее мою госпожу; но этим я не ограничусь. Я даю вам три дня на распоряжения для похорон вашего друга; по истечении же этого срока рассчитывайте на то, что я вас отколочу, как обещал, где бы вы мне ни попались.

Кавалер низко поклонился и ушел. Отец Бонавантюр взял под руку молодого графа и поспешно повел его к замку. Они приближались к внутреннему двору, когда кто-то вскричал:

– Леоне, мой милый Леоне!

Вслед за тем мадмуазель де Баржак выбежала на крыльцо. Молодой человек бросился к ней навстречу.

– Кристина! – вскричал он, – Бог даровал мне победу, и я прихожу требовать за нее награду.

Вместо ответа мадмуазель де Баржак вне себя от восторга упала в его объятия.

Спустя два месяца граф де Варина барон Жеводанский, начальник королевской волчьей охоты в Жеводанской провинции, сочетался браком в мендском соборе с высокой и могущественной девицей Кристиной де Баржак, графиней Меркоара и других мест. Народ приветствовал громкими кликами отважного охотника, избавителя страны от жуткого волка, опустошения которого должны были найти место на страницах истории королевства. Брак был совершен его преосвященством епископом аленским де Камби, при участии его преподобия дон-Бонавантюра, тридцать четвертого фронтенакского аббата, так как бедный престарелый аббат, игравший роль в этом рассказе, недавно умер и прежний приор был назначен на его место. Сестра Маглоар в своем костюме урсулинки сопровождала невесту в церковь и заменяла ей мать. А кавалер де Меньяк, так как он имел несчастье убить на дуэли ближайшего родственника жениха, принять официальное участие в торжестве не смог, хотя за ним была упрочена большая пенсия, которой он впредь ограждался от всякой нужды. Любуясь издали своей молодой госпожой, он бормотал про себя с невыразимым наслаждением:

– Нужды нет, я заставлял ее уважать как нельзя лучше, когда она находилась под моей охраной. Я убил одного и отколотил другого. Остальное довершит Господь!..